

LE MESSAGE

ВЕСТНИК

РУССКОГО ХРИСТИАНСКОГО
ДВИЖЕНИЯ

132

ПАРИЖ — НЬЮ-ЙОРК — МОСКВА

№ 132

TRIMESTRIEL

III-IV - 1980

III-IV 1980

ВЕСТНИК Р.Х.Д.

№ 132

LE MESSENGER

Périodique édité par l'Action Chrétienne des Etudiants Russes

Редакционная коллегия:

Франция: В. Аллой (зам. ред.), прот. Алексей Князев, И. В. Морозов

Америка: Архиеп. Сильвестр, прот. Александр Шмеман, прот. Иоанн Мейендорф, прот. Кирилл Фотиев, О. Раевская.

Ответственный редактор: Н. А. Струве.

ВЕСТНИК Р. Х. Д.

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Условия подписки на 1980 год | 180 Фр. или 40,— \$ |
| с целью поддержки | 250 Фр. или 60,— \$ |
| цена отдельного номера | 60 Фр. или 15,— \$ |

чеки выписывать на имя : **LE MESSENGER**

Подписчики, живущие во Франции, могут делать денежный перевод также и на текущий почтовый счет:

ССР - **LE MESSENGER** 23-601-57 U Paris

ИЗДАНИЕ

РУССКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Адрес редакции: Action Chrétienne des Etudiants Russes,
91, rue Olivier-de-Serres, 75015 Paris. France. Tél. 250-53-66.

LE MESSENGER

ВЕСТНИК

РУССКОГО ХРИСТИАНСКОГО
ДВИЖЕНИЯ

132

ПАРИЖ — НЬЮ-ЙОРК — МОСКВА

№ 132

TRIMESTRIEL

III-IV - 1980

Copyright © Le Messenger. Paris 1980.

COMMISSION PARITAIRE
N° d'inscription 620 16

К СТОЛЕТИЮ БЛОКА

Плоть, почти ставшая духом...
А. Ахматова

Если верно, что гения составляют две противоречащие, но не исключаяющие себя идеи или линии (Скот-Фицджеральд), то Блок подходит под это определение несомненно больше, чем кто-либо из символистов.

Блок был в то же самое время безумным до самоослепления *мечтателем*, и беспощадным до нестерпимой ясности *провидцем*. Беспощадная, порой даже жестокая трезвость, зоркость внутреннего зрения всегда, или почти всегда, сопутствовали его религиозной мечтательности, его романтическому идеализму.

Овеянный средневеково-немецкой романтикой, Блок возвел свою невесту до земного воплощения Вечной женственности, но знал, даже тогда, когда поклонялся Прекрасной Даме, что она в конце «изменит облик», «сменит черты» и ждал неминуемого падения.

В России, как никто из современников, Блок провидел «ясный лик», которому суждено оставаться светлым «навсегда». Но тогда же, предчувствовал грядущие «неотразимые» беды, знал, что Россия отдаст себя «чародею». Быть может Блок недооценил опасности, он верил, что новый татарский плен не исказит «ноуменального» облика России. Россия, как и Прекрасная Дама, пасть не могут. Искажению, извращению, падению подвержены только частные и частичные их воплощения. У Блока следует учиться любви к России, одновременно пламенной и трезвой.

Последняя несбывшаяся мечта: революция. Конечно, не та железная и бездуховная, что была задумана в иссушенном мозгу Ленина, а космическая, всеобновляющая, абсолютная. Воспевая Революцию, Блок, парадоксальным образом, ее не идеализировал, наоборот низвел до уголовщины: «Двенадцать» шагают во мраке, в грязи, в убийстве. В самой Революции положительного Блок ничего не нашел, кроме ветра, вихря, смерча. Но поставил во главе ее «женственный», «призрачный», отнюдь не евангельский образ Христа. Блок от него отмахивался, но другого не нашел. Своего, светлого ноумена у разрушительной Революции не

оказалось, пришлось ей придать не только чужой, но даже враждебный ей знак: таково одно из значений этой концовки, никого не удовлетворившей, ни автора, ни большевиков, ни их противников.

Подобно многим русским писателям, Пушкину, Лермонтову, Гоголю и др., Блок дописал свое творчество не чернилами и не стихами, а судьбой, т. е. смертью. За разочарованием в последней мечте последовало три года страданий и очищения.

В жизни своей грешивший «бесстыдно, непробудно», тем отчаяннее, что в молодости мечтал о «белом браке» («лаской ли грубой тебя оскорблю?»), Блок в умирании и смерти предстал как «дитя добра и света»: «Душа твоя невинна» (Гиппиус), «Святое сердце Александра Блока» (Цветаева), «Александра-лебедя чистого» — таким согласным славословием сопровождал «уходящего в ночную тьму» хор великих плакальщиц.

Стихи Блок, после смутных «Двенадцати» и горделивых «Скифов», «писать забыл». Но за пол-года до физической смерти оставил в виде завещания едва ли не самое высокое, что было когда-либо сказано об искусстве. Пушкинская речь Блока, как Пушкинская речь Достоевского, но в ином надмирно-трагическом ключе, вершина и завершение творческого пути: все призраки исчезли, все нагвавшие мечты рассеялись, осталась одна высшая, очищенная реальность: искусство. «Оно — единосущно и нераздельно». Прибегая к определениям халкидонского догмата, Блок полагает искусство вне досягаемости общества и государства, в ту область «где человек перестает быть человеком» и соприкасается с высшим началом бытия.

Умирая, Блок предчувствовал, что тот новый вид государства с его новыми чиновниками будет «изыскивать средства для замутнения самих источников гармонии», «посягать на ее тайную свободу», «препятствовать ей выполнять ее таинственное назначение». Уже отчуждённые, как бы загробные слова поэта, «умирающего, потому что ему дышать нечем», звучат грозным предупреждением духогасителям, и светлым исповеданием неумирания искусства.

Пушкинская речь Блока — прорыв и взлёт в область мистического ведения: она принадлежит к тем *ultima verba*, к тем последним словам, что, возвышаясь над временем, освещают путь человека.

Никита Струве

Богословие

СВЯТОЙ ПАВЛИН НОЛАНСКИЙ

Всего только трое святых удостоились в Православии имени «милостивый»: Св. Мартын Турский (память 12-го октября), св. Иоанн, патриарх Александрийский (память 12-го ноября) и св. Павлин родом из Бордо, епископ Ноланский (память 23-го января).

От берегов Гаронны до Кампании, от двора императора Грациана до могилы мученика Феликса, от светской роскоши до монашеской скудости — таков жизненный и духовный путь одного из самых привлекательных святых Западного христианства. Святость его соткана из нежности и дружбы.

Меропий Понтий Аникий Павлин родился в Бордо около 355 г. в богатой семье сенатора. Мягкость аквитанских далей, благосклонность неба и веселый нрав местных жителей с детства определили его характер. Вместе с императором Грацианом он учился у знаменитого поэта Авзония, чья христианская теплохладность предвещает скептицизм Монтеня. Павлин рано стал правителем Кампании: там он и был настигнут судьбой. Постройка дороги близ могилы мученика Феликса привела его на праздник в честь святого, в Ноле, 14-го января 379 г.: горячие молитвы народа приоткрыли ему сущность христианства.

После убийства его покровителя Грациана, в 383 г., Павлин вынужден был вернуться в Бордо, где, под водительством Авзония, он занимался поэтическим искусством. Под влиянием Амвросия Медиоланского, а также своей жены, испанки-аристократки Терезы, Павлин принимает крещение от святого Дельфиния, первого епископа города Бордо. Политические распри, окончившиеся убийством его брата и возбудившие много ненависти против него самого, заставляют его перебраться в Испанию. Там он вручает себя заступничеству Феликса: «Ты спас мою голову от меча, о честной отец, и богатство мое от конфискации...» В 393 г. Павлин решает продать все свое имущество, а на следующий год верующие Барселоны принуждают его принять священство. В то время он состоит в активной переписке с Евсевием Кремонским, с миланскими кругами и с блаженным Иеронимом, проживающим в

Палестине. В 396 г. (это год посвящения бл. Августина во епископа Иппонского), он переезжает в город Нола вместе с женой, строит там дом для бедных, где и поселяется. Он обслуживает часовню святого Феликса, которому посвящает ряд стихов и литургических гимнов. Вокруг Павлина образуется небольшая община, предающаяся молитве, аскезе, молчанию и, в первую очередь, изучению Священного Писания. В этой особенности чувствуется «благотворное влияние бл. Иеронима, согласно которому «святость без знаний нужна только самой себе: она строит Божью Церковь, но может ей и навредить, так как не умеет ее защищать».

Павлин интенсивно переписывается со всеми крупными святыми того времени: Августином и Иеронимом, Виктрикием из Руана, Дельфином и Амандом из Бордо, Сульпицием Севером, автором «Жития Мартына Турского». В Нолу приезжают повидаться с Павлином Мелания старшая и Никита, апостол Дациев.

Где-то между 409 и 413 гг. Павлин, помимо своей воли, становится епископом. В 410 г. готы опустошают город: Павлин работает пленником-садовником, о чем рассказывает в своих «Диалогах» св. Григорий Великий. Тереза умирает в 414 г. К тому времени авторитет Павлина простирается на весь итальянский епископат. Августин просит его содействия в осуждении Пелагия, а Галла Плакида, сестра императора Гонория, приглашает его в Равенну, чтобы рассудить вопрос о замещении епископской кафедры. В предсмертной болезни Павлину являются во сне великие священоцелители Запада, св. Мартын Турский, от которого он еще до крещения получил исцеление, и мученик Иануарий, покровитель Неаполя. Павлин преставился 22 июня 431 г. Мощи его находятся в церкви св. Варфоломея в Риме, куда он ежегодно ездил на праздник Апостолов.

Примерная семейная жизнь с Терезой, напоминающая святых Монику и Елену, отдача всего имущества, глубина и тонкость переписки и духовных творений — вот что отличает св. Павлина. Он был из тех кротких, что наследуют небесную землю. Духовная жизнь его имела венцом своим дружбу, о чем свидетельствуют столь многие. Для Павлина, как для Цицерона, «дружба основана на святой добродетели, содержит общую волю и превосходит родственные узы: она вечный и лучший дар Божества».

Жан Бесс

СЛУЖБА СВ. ПАВЛИНУ

составленная прот. Г. Петровым*

На великой вечерни, сие же и на малой.
На Господи воззвах поставим стихов 8.

Глас 6.

Днесь торжествуют мира концы
Память Святителя Великого,
И радуется вся вселенная,
Величающе ПАВЛИНА Божественного
Яко образ совершенного на земли жития.



Многоводная реко,
Чудес волнами шумящая
И милости струи источающая,
Явился еси Павлине.
Крепка, паче смерти, любовь твоя.
И яснее солнца твое милосердие.
Тем же, лучами твоими озаряемы, радуемся.



* Протоиерей Григорий Петров начал священнический путь в Курской губернии, под началом еп. Рыльского Павлина (Крошечкина). Еп. Павлин отметил высокий поэтический дар о. Григория и всячески поощрял его. До своего заключения в конце 30-х годов о. Григорий создал:

1. Благодарственный акафист «Слава Богу за все», напечатан в «Вестнике» № 120.
2. Службу св. Павлину Ноланскому.
3. Акафист св. Павлину Ноланскому.
4. Акафист Святому Духу (не найден).
5. Два заупокойных акафиста (не найдены).
6. Службу св. Мелетию Харьковскому (не найдена).
7. Акафист 40 мученикам Севастийским (не найден).

Еп. Павлина на его пути окружали люди больших духовных дарований. Одним из его сподвижников был архимандрит Таврион (Батозский). Супруга о. Григория, Зинаида Петрова, пережила мужа, погибшего в лагерях в 40-х годах. После войны она жила в г. Обояни Курской области, где и умерла в 60-е годы.

Авзония, славного ратора, ученик
Славу и премудрость мира откинул еси
И в горах Пиренейских уединился,
Глубину знаний твоих Христу посвятил еси,
Тем же писаньями твоими укрепляема
Церковь радуется.



Сокровище века златаго церковнаго
Был еси, Святителю.
В составлении песней духовных потрудился еси,
И множество благолепных икон написал еси.
Провидя же издалече духом веры
Грядущую ересь иконоборную,
Почитати святые образы и мощи всех поучал еси.

Глас 8.

Днесь почитаем память в рабству предавшегося.
И всего себя истощившаго ради страждущих,
Днесь призываем в помощь и по смерти бессмертнаго.
Аще и умре Святитель ПАВЛИН,
Но любовь его во веки не отпадет,
Почерпайте вси изобильно его милости.
Прииди к нам от небесных высот,
Посети наши скорби благодатию,
Миром и радостию и умилением обогащая,
И научи в терпении тебе подражати.

С л а в а, Глас той же.

«Аще кто хочет быти болий,
Да будет всем слуга»,
Глаголет Христос, учеником ноги омывая.
Так и Павлин верным проповедует:
Первее все имение бедным расточая,
И с супругою глад и лишения терпя,
Напоследок же и себя в рабство предавая,
Воистину возлюбив своих до конца,
Ты же, Господи, вложи нам подражати ему желание.

И н ы н е, догматик.
Паремии Святителя.

На литии стихиры, Глас 5.

Якоже звон колокольный,
Из глубины первых веков
Звучит богословский глас твой,
Святитель, свидетельствуя учение древних христиан.
Его же до днесь хранит нерушимо
Православная Христова Церковь,
Мы же с тобою в истинах веры утверждаемы
Христу благодарение возносим.



Мы ропщем в скудости,
Святитель же обнищал волею,
Мы ищем ясти изобилия,
Угодник же и последний хлеб раздаяше,
Мы страшимся скорбей и бед,
Сей же сам себе отдал в рабство,
Душу свою положивший за други,
И обители вечные у Христа обретый,
Святителю истинный, слава тебе.



Дажь нам твою любовь,
Дажь нам твое милосердие,
Веру несомненную и терпение,
Дажь нам спастися твоим путем.

С л а в а

Что есть сильнее любви?
Сие слово утвердил еси, Святителю.
Сам возжелав пострадати, да страждующим
Свободу даруеши.
Горького плена не убоялся еси,
Душу за овцы своя положив,
С Ним же ныне царствуеши в свете невечернем.

И — н ы н е

На стиховне стихиры, Глас 2

Днесь слагает Святитель ризы епископства,
И облачается в рубище раба,
И приносит новую жертву богоподобную,

Себе отдает в тяжкое рабство
Даруя избавление сыну вдовицы,
Днесь вопиет вдовица князю:
Возьми свободного и отпусти раба;
Верни мое чадо и поработи пастыря,
Дажь ми сына и прими отца,
Избави мя от сиротства и обогатися духовно,
Ибо предлагают ти нетленный бисер Христов.

С л а в а

Рабство твое, о ПАВЛИНЕ,
Свободы многим быть ходатайственно,
Ибо, прозорливостью твоею вразумлен,
Царь отпускает из горького плена
С тобою всех духовных чад твоих.

И — н ы н е

Мария Пресвятая,
От падений греховных сохрани нас,
Ты бо еси Голубица горелетная,
Чада свои под крыле собирающая.

Тропарь, Глас 3.

Правила веры несокрушимыя,
И образ милосердия Христова был еси,
Павлине, вся бо радости мира отринув
За угнетенных в рабство предался еси
Тем же любовью твоею озаряема,
Вселенная славит тя.

По 1-м стихословии седален, Глас 1.

Славу святых воспевати дерзаю
И добродетелем тех, увы, не подражаю,
Но ты, угодниче предивный,
Преобрази и просвети жизнь мою.

С л а в а и н ы н е

Владычице и мати моя Пресвятая,
Мене, грешного сына,
От вечные погибели спаси.

По 2-м стихословии седален, Глас 4.

Будут имущие жены, яко не имущие,
Глаголет апостол,

Сие слово к тебе приложимо,
Святителю, тем же ублажая высоту жития твоего,
Вопием ти: дух целомудрия подаждь нам.

Слава и ныне

Чистая Дево, очисти сердца наша,
И возвыси умы, омрачении смрадом страстей.

По полиелею седален, Глас 2.

Благодатный угодниче Божий,
Научи нас за други душу полагати,
Гонений и уз не бояться, но дело Божие
Трезвенно совершати.

Слава и ныне

Воздвигни мой ум, обрадованная, к Небесному Царю.
Да плотское мудрование отложив,
Горе сердце мое вознесу.

По Евангелии стихира, Глас 6.

Яко же звоном цветочных колокольцев
Возвести тебе Господь, сие и ты, угодниче,
Исполнение молитвы твоея,
Даждь откровение нашему духу,
Яко услышано моление наше.

КАНОН, Глас 3.

Песнь 1. Ирмос: Воды древле...

Яко же ты сам потрудился еси
В писании песен духовных,
Тако и ныне нас умудри
Воспети Твои подвиги, Святителю.
В житии своем соблюл еси верность Господеви,
Рабства и нищеты не убоаясь,
Умножи убо и нам веру,
Да и не смущается сердце наше.
Ослабеваем дерзновением,
Упования твердаго не имамы,
На твое же взирающе дивное житие
Духом обновляемся, Святителю.

Богородичен.

Владычице мира, Святых благая собеседнице,
Возглаголи сердцам нашим утешение.

Песнь 3.

Ирмос: Иже от несущих...

Купно со святителем Павлином
Да почтется и супруга его Тарасия,
Яко великая жена христианская,
Обратившая мужа своего ко спасению,
Не имея своих чад
Воспитал еси убогих и сирот:
Научи и нас о бесприютных детях пеших
И разумети скорби сиротливых душ.
Посмеяния друзей не убоялся еси,
Поносивших тя за отречение от блеска мирского,
Укрепи и нас без смущения
Спасительное дело Христово совершати.

Богородичен.

Молитвами бессеменно родшая Тя,
Спасе, постави рабу Твоему
Слово Твое и страх Твой,
Да спасуся.

Седален, Глас 7.

Странноприимец был еси, Святителю,
Воззри убо и на мя обнищавшего,
Сокровище добродетелей расточившего,
И прими милостиво в вечные кровы,
Утомленного странствием земным.

Слава и ныне.

Радуйся лестнице, иже Иаков виде,
К Небесному Отцу нас приводящая,
Богомати Пречистая.

Песнь 4.

Ирмос: Положил еси к нам твердую любовь...

Хочет враг нас, яко пшеницу, рассеяти,
Но ты, добрый деятель Христов,
Собери в небесные житницы наследие Твое.
Яко же во дни пленения и прочих бед
Был еси утешитель паствы Твоя.

Сие и нас печалию помраченных
Просвети надеждою на Бога.
Превыше Иова воссиял еси нищетою добровольною,
Он бо и на гноище свободен пребысть.
Ты же волею рабство приял еси,
Да Христа приобщаеши навеки.

Богородичен.

Воссиявшее миру великое солнце — Христа
Сподоби нас, Владычице,
Животворящих и бессмертных лучей Его.

Песнь 5.

Ирмос: К Тебе утреннюю...

Многажды отдавал еси бедным
Последний хлеб из дому твоего:
Научи и нас подражать твоему примеру.
Не восхотел еси радоваться со счастливыми,
Но, памятуя скорби убогих страдальцев земли,
Сих участь предпочел еси:
Нищету, неприютность и рабство.
В письмах поучал еси пламенно
О пользе молитвы за усопших.
Ныне помолимся Святителю
О скончавшихся близких наших.

Богородичен.

О светоносная Дево! В час исхода моего
Отверзи ми двери Небесного Царства,
Да идеже Господь мой, тамо и аз,
Слуга неключимый, вселюся.

Песнь 6.

Ирмос: Бездна последняя...

Ты еси супружества о Господе венец,
Ты и отречения монашеского образ:
Тем же и монаси, и мирстии
Чтим твою память с любовью.
Кто тя достойно воспоет, дивный ПАВЛИНЕ?
Не обретаем ангельских гласов.

Да восхвалим человека небесного.
Ныне совершил еси подвиг твой
И зриши Бога лицом к лицу:
Очисти и наши сердца
Да убежим от ноши сомнений и неверия.

Богородичен.

Владычице мира...
Ослабевшую душу мою
Умудри к созерцанию Божественных видений.

Кондак, Глас 8, или из Акафиста.

Возвещал еси усердно, Святителю,
О силе ходатайства святых за мир,
Ныне писанное Тобою делом яви,
Яко великий угодник Божий,
Возвесели сердца зовущих.
Радуйся, Павлине, Святителю Милостивый.

Икос, Глас той же.

Ангел утешитель и немощных кроткий
К небесам путеводитель был еси в житии твоём,
Святителю, душу свою за спасение униженных
Положил еси, тем же ароматом добродетелей твоих
Услаждаемы, величаем тя хвалебно:
Радуйся, благоуханное миро смирения,
Радуйся, добрыми делами Отца прославимый,
Радуйся, любовью скорбных согреваяй,
Радуйся, Образе Христоподрожательного жития,
Радуйся, Божию славу жизни своей проявивый,
Радуйся, ПАВЛИНЕ, Святителю Милостивый.

Песнь 7.

Ирмос: Якоже древле...

Ты был еси, Отче, садовник искусен,
Твоими молитвами яви мя
Яко цвет благоуханен,
Насажден в садах рая пресветлаго.
Обрет сокровище нетленное — Христа,
Ты पहले в горы уединился еси:
Вразуми и нас безмолвие любить,

Да в тишине ума и сердца узрим Бога.
Ты вся познания мирския,
Всю мудрость Господу посвятил еси,
Научи и нас вся дарования своя
Во славу Его единого обращаться.

Богородичен.

Владычице, Надеждо ненадежных,
Не даждь до конца погибнуть ленивому
Рабу, но силою благодатною исцели
Расслабление воли моя.

Песнь 8.

Ирмос: Нестерпимому огню...

Среди нашествия варварского и нестроений
Извел еси корабль паствы твоя
В тишину Христову, тако и с нами сотвори:
Умоли Христа Бога о Церкви,
Ересьми, неверием и распрями обуреваемой,
Даждь пастырем силу и мудрость
Право правити Слово Господней Истины,
Вопиют к Тебе священных соборы,
И монашествующих полки,
На твердом камени веры Христовой
Утверди сердца, тьмою бед уstraшенных.

Богородичен.

Светоносным Омофором Твоим,
Пречистая, Церковь Сына Твоего
Всегда охраняй от искушений и непосильных бед.

Песнь 9.

Ирмос: Новое чудо...

Ты еси чистоты светильник
И воистину друг Божий,
Исторгни нас из блата страстей
И сладостию духовной напитай.
Ты еси врач согрешающим,
Ты еси Пастырь премудрый,
Управи наше мятежное житие

К обители святыни и покоя вечнаго.
Многажды восхвалял еси
Тайну Святыя Евхаристии,
Пробуди в суетных душах наших
Жажду Святаго Причастия.

Богородичен.

Преблагословенная, Чистая,
Пребуди со мною на всяк день же и час,
Да радостен буду, и не впаду в сети
Отчаяния и нечестия.

Светилен.

Яко светило неугасяемое и по смерти показался еси,
Святителю, благоуханием мошей Твоих целебных
И красотою великих чудес.

Слава и ныне.

Спаси, Христе Боже, люди Твоя,
И страну осени тишиною,
За молитвы Матери Твоея и
ПАВЛИНА милостиваго.

На Хвалите, Глас 4.

Тако вопиет Святитель верным:
Дерзайте, чада моя,
Аще и далече время почиваю,
Но духом неразлучен с любящими мя
И призывающих с верою зрю,
Непрестанно молюсь о душах ваших.



Тако глаголет угодник молящимся,
Яко же при жизни моей,
Слыша вопль скорбей и нищеты,
Ускорял за ны помощь,
Сице и ныне не могу зрети страданий человеческих
И гряду всех утешити
Благодатию Божественных милостей.

Глас 8.

Святителю отче, ПАВЛИНЕ,
Яко же Илия возносимый,
Даде благодать свою Елисеови:
Сице да опочиеет и на нас
Твоя неисчерпаемая сила духовная,
Благодатно славящих память Твою.

Слава.

Святителю отче ПАВЛИНЕ,
Яко же человек нося ароматы
Сам благоухания исполняется,
Тако с тобою молитвенно соединившейся
Да исполнимся твоих добродетелей миром,
И наслаждение вечное унаследуем.

И ныне.

Явилася еси купина пламенеющая
С человеки соединившая огонь Божества,
Страсти наша очищающая,
Пламень Божественного умиления.
Тем же ты вси роди ублажаем
Всеблаженная.

*
**

АКАФИСТ

СВЯТИТЕЛЮ ПАВЛИНУ, ЕПИСКОПУ НОЛАНСКОМУ

Кондак 1.

Избранниче Божий, Святителю Павлине, пастырей славное украшение и страждущих светлая отрада. Нищих богатство и в горькой нужде сущих утешение. Узников надеждо и грешных исправление. Озари нас лучами любви Твоея. Радуйся, ПАВЛИНЕ, Святителю Милостивый.

Икос 1.

Ангеле утешителю скорбящих и немощных кроткий к небеси путеводитель был еси в житии твоём, Святителю. Душу свою за

спасение униженных положил еси. Тем же ароматом добродетелей твоих услаждаеми, величаем тя хвалебно:

Радуйся, свирель, к небесам призывающая.
Радуйся, добрыми делами Отца прославляяй,
Радуйся, любовью скорбных согреваяй.
Радуйся, образе христоподражательного жития.
Радуйся, Божию славу в жизни своей проявивый.
Радуйся, ПАВЛИНЕ, Святителю Милостивый.

Кондак 2.

Отверзи тебе небо и свет невечерний исполни душу твою, егда, наставляемый супругою и Святителем Амвросием Медиоланским, ты отвергл еси мрак языческих страстей и в купели крещения духом узрел еси красоту лица Божия, воспев: Аллилуиа.

Икос 2.

Разум, наукою и обилием знаний блистающий, Христу посвятил еси. С высоты почести и славы к вольной нищете Его ради снисшел еси. И величие философа в крайнее смирение праведника изменил еси, вдохновляя звати тебе:

Радуйся, дивное явление силы и духа,
Радуйся, чудо возрождающей благодати.
Радуйся, образе нравственного преображения.
Радуйся, обновляяй души верных.
Радуйся, озаряяй их Евангельскою красотой,
Радуйся, и нас во Христа облакаяй.
Радуйся, ПАВЛИНЕ, Святителю Милостивый.

Кондак 3.

Силою таинственною влеком, по возрождении водою и духом, ты уединился на некое время в Пиренейских горах. И там в тишине беседовал с Единым, Истинным и Вечным и взывал еси радостно Нетленному Жениху твоея души: Аллилуиа.

Икос 3.

Свыше славного Авзония, учителя твоего, прочих друзей зовущих ти возвратиться к богатству, славе и радостям тленного мира, ты отвечал еси, яко сладостнее тебе унижение со Христом и смирение Его, и не страшно посмеяние человеческое:

Радуйся, презреваемый славу временную,
Радуйся, обнищавый произволением.
Радуйся, купино пламенеющая огнем богообщения,
Радуйся, в пустыне углубившийся в тайны Евангелия.
Радуйся, озеро, отразившее ясный облик Христа,
Радуйся, благодатное реко живые воды.
Радуйся, ПАВЛИНЕ, Святителю Милостивый.

Кондак 4.

Бури житейския удалився и волнений губительных мира сего избежав, обрел еси мир невозмутимый у Христа. Приведи и нас к тихой пристани упокоения в Боге, где сокровенная сладость поющих: Аллилуиа.

Икос 4.

Зряще высокое твое житие, христиане града Барселоны понудиша тя принять служение пресвитерское, зовуще:

Радуйся, пустыне облекшийся силою свыше,
Радуйся, мир богативый дарами духа.
Радуйся, тайн веры смиренный служителю,
Радуйся, Евхаристии сладкогласый ублажителю.
Радуйся, кротостию строгость растворяяй,
Радуйся, безгневия и смирения обиталище.
Радуйся, ПАВЛИНЕ, Святителю Милостивый.

Кондак 5.

Устрашився славы человеческия, тайно удалился еси с блаженною супругою твоею во град Нолу; там жизнь проведя в скудости и трудах, служа бедным, призревая сирых и болящих, в смиренной безвестности для мира, воспеваем есте: Аллилуиа.

Икос 5.

Видя бедного просяще, повеле еси супруге твоей отдати последний кус хлеба. Она же не даде. И се прииде весть о потоплении корабля с пшеницею, посланного тебе от друзей, тогда рекл еси жене: «Аще бы не пожалела еси последнего хлеба, не погубил бы Господь корабля». Сему наставлению внимая, зовем ти:

Радуйся, милостивый до самоотречения,
Радуйся, щедрый и в крайней нужде.
Радуйся, через веру супруги Христа познавый,

Радуйся, с нею путем добра достигнувший райских высот,
Радуйся, образе благословенного супружества,
Радуйся, наставниче спасительного в мире жития.
Радуйся, ПАВЛИНЕ, Святителю Милостивый.

Кондак 6.

Проповедуя тайны веры и словом и посланием, ты потщался еси украшати Божия храмы изображением святых икон, глаголя: «Яко сие есть превосходный путь учения веры и благочестия». Тако назидал еси мудрых и не книжных, подвизая всех пети: Аллилуиа.

Икос 6.

Воссиял еси радостию егда сподоби тя Господь со святителем Амвросием обрести нетленное тело мученика Назария и цельбоносные кости святителя Кельсия, во благоухании знамений и чудес. Ныне же и сам ты чудо твориши всем призывающим тя:

Радуйся, молитвениче о нас усердный,
Радуйся, врачу лукавых совестей.
Радуйся, греховных страстей умирителю,
Радуйся, исцелителю тяжких болезней.
Радуйся, бездно чудес и милостей,
Радуйся, слуга нищих и убогих.
Радуйся, ПАВЛИНЕ, Святителю Милостивый.

Кондак 7.

Уста блаженного Августина прославиша тя, яко писателя и отца церкви просвещенного, обратившего сокровища познаний во славу Бога, даровавшего их тебе. Ты отреклся еси от света, во еже объяти величие Креста и смиренно взывать: Аллилуиа.

Икос 7.

Удивляясь богатству дарований твоих и высоте добродетельного жития, христиане града Нолы избраша тя во Епископа области своея. Ты же, прими от Христа виноградник духовный, плоды его во сте крат умножил еси и цветы святыни обильно возрастил еси, подвизая звати тебе:

Радуйся, глубоко богословия,
Радуйся, православия светило,
Радуйся, теплый молитвениче за умерших,

Радуйся, мудрый наставниче живых.
Радуйся, кроткий вразумителю заблудших,
Радуйся, любвеобильный учителю верных.
Радуйся, ПАВЛИНЕ, Святителю Милостивый.

Кондак 8.

Страны родные от вандалов опустошения, градов разорение, тяжкое рабство духовных чад, вопли детей и вдовиц горестно переживал еси, Святителю. Но смятеся святая душа твоя, выкупая пленных, питая гладных, утешая скорбных, всех поучал еси бодренно зывати: Аллилуиа.

Икос 8.

Весь был еси любовь, границ не имущая, сего ради избавляя от пленения сына вдовицы, вместо него сам в рабство отдался еси. Мы же, прославляя такое неслыханное милосердие, возглашаем ти:

Радуйся, яко с тобою воистину Христос,
Радуйся, чистейшая Евангельская лилия.
Радуйся, победная песнь торжествующей любви,
Радуйся, образ давый всем временам и народам.
Радуйся, яко вся преклоняются пред величием твоим,
Радуйся, источай нам потоки милосердия твоего.
Радуйся, ПАВЛИНЕ, Святителю Милостивый.

Кондак 9.

Всячески смирился еси, Святителю. Из владыки рабом, из епископа садовником сделался, труждаяся, терпя позор пленения, предавая себя за спасение ближних, в глубоком унижении добре потрудился еси Господу твоему, взывая Ему: Аллилуиа.

Икос 9.

Не может град укрытись сверху горы стоя, не скрыся и величие святителя ПАВЛИНА от поработившего его князя. И егда же тот увидел, яко прозорливый садовник его — Епископ есть, то со страхом дарова ему свободу, ублажая сице:

Радуйся, пастырю добрый,
Радуйся, душу свою полагая за овцы.
Радуйся, жилище Святого Духа,
Радуйся, праведниче не от мира сего.

Радуйся, кротости звездо лучезарная,
Радуйся, пророческих даров тайниче.
Радуйся, ПАВЛИНЕ, Святителю Милостивый.

Кондак 10.

Спасти хотя порабощенных и страждущих во узах, паки яви угодник Божий величие души своея, егда желавшему наградити его князю рече: «Единого прошу, отпустите со мною всех пленных из области моя». И, прияв согласие, возопи с радостью Богу: Аллилуиа.

Икос 10.

«Се аз и дети, яже даде ми Господь», взываша Святитель со всеми пленники здрав и радостен возвращайся. Яко Иосиф Прекрасный порабощением своим всей братии свободу даруяй и вдохновляя глаголати:

Радуйся, заключенных освободителю,
Радуйся, страждущих утешителю,
Радуйся, слабых заступниче,
Радуйся, во всех нуждах помощниче.
Радуйся, милостей Божиих ходатаю,
Радуйся, наше упование и отрадо.
Радуйся, ПАВЛИНЕ, Святителю Милостивый.

Кондак 11.

Воистину был еси великий купец, Святителю, ценою всех благ земных и жертвою жизни своея обрел еси бесценный бисер Христа и приял еси сокровища на небеси, идеже тля не глит и татие не крадут. Тамо вечная слава осеняет поющих: Аллилуиа.

Икос 11.

Светоносный пастырю. Ты и на смертном одре не забыл еси убогих своих, но, прияв Святые Тайны, озаботился еси об одежде для бедных, и тогда спокойно сомкнувшись очи твоя. От умиленных сердец прими похвалу сию:

Радуйся, любвию в Боге пребываяй.
Радуйся, почиваяй во славе нетления,
Радуйся, грешные души озаряяй благодатию.
Радуйся, пламенное сердце, наши скорби носящее,
Радуйся, Светило великого христианского духа.
Радуйся, ПАВЛИНЕ, Святителю Милостивый.

Кондак 12.

Благодатию исполненный, в старости глубокой яко пастырь, обретший заблудших овец, яко добрый деятель стада Христова, ты радостно отшел еси в вечный покой, усладився Телом и Кровию Христа. Испрося и нам такую кончину и добрый ответ пред лицом Судии, Ему же вся тварь поет: Аллилуиа.

Икос 12.

Взыскуя небесного града, странник и пришелец был еси на земли, нищий произволением. Ныне же достиг светоносных сеней Иерусалима небесного, ликуй в немерцающей славе, приемля от нас таковые хвалы:

Радуйся, обретый отечество вечное,
Радуйся, и веселися в чертогах света.
Радуйся, и созерцай желанного Господа,
Радуйся, и молися Ему за ны грешные.
Радуйся, и введи чад твоих в горнюю радость,
Радуйся, и вечно ликуй на брачной вечери Агнца.
Радуйся, ПАВЛИНЕ, Святителю Милостивый.

Кондак 13.

О, Пречудный Святителю ПАВЛИНЕ. Дажь нам идти сладостным путем твоя любви, да будем едины со Христом, яко лучи со источником света, и в Боге обрящем бессмертную радость, поюще: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа (трижды).

ТАИНСТВО ВОСПОМИНАНИЯ

«...и Я завещаю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство, да ядите и пиете за трапезой Моею в царстве Моем».

Лк. 22,29:30

I.

С возгласением ангельского славословия «Свят, Свят, Свят» — писал я в конце прошлой главы, молитва благодарения исполняет себя как восхождение Церкви на н е б о — к престолу Божьему, в славу Царства небесного.

Но вот, обняв собою все творение, весь мир видимый и невидимый, явив Церковь, как небо на земле, молитва благодарения — на этой высоте, из этой полноты богообщения, знания и радости, как бы сама себя претворяет в воспоминание одного события: — той Т а й н о й В е ч е р и, которую в ночь, когда отдавал Себя Христос на страдание и смерть, совершил Он с учениками Своими.

В литургии Златоуста эта часть евхаристической молитвы, в литургической науке так и называемая в о с п о м и н а н и е ἀνάμνησις звучит так:

«Вместе с этими блаженными силами,
«Владыко Человеколюбче,
«И мы вопием и глаголем:
«Свят еси и пресвят
«Ты, и едиnorodный Твой Сын, и Дух Твой Святой,
«Свят еси и пресвят,
«И великолепна слава Твоя,
«Столь возлюбившего мир Твой,
«Что отдавшего Сына Твоего едиnorodного,
«Дабы всякий верующий в Него,
«Не погиб, но имел жизнь вечную.
«Он, придя,
«И исполнив все, ради нас совершившееся,

* Глава из книги о Литургии. Предшествующие главы см. в «Вестнике», №№ 107, 108-110, 111, 112, 113, 116, 119, 124, 130. Главы эти печатаются здесь без ссылок и примечаний, которые войдут в издание этого труда отдельной книгой.

«В ночь, в которую Он был предан,
«Вернее же, Сам Себя отдал за жизнь мира,
«Приняв хлеб в пречистые Свои и непорочные руки,
«Благодарив и благословив, освятив, преломив,
«Дал святым Своим ученикам и апостолам, говоря:
«Приимите, ядите, сие Тело Мое,
«За вас ломимое во оставление грехов.
«Также и Чашу, после вечери, говоря:
«Пиите от нее все, это Кровь Моя Нового Завета,
«Которая за вас и за многих изливается
«Во оставление грехов.
«Итак, вспоминая эту спасительную заповедь
«И все ради нас совершенное:
«Крест, гроб, тридневное воскресение,
«На небеса восхождение, одесную седение,
«Второе и славное паки пришествие,
«Мы все, что Твое
«От всех, кто Твои
«Тебе приносим
«О всех и за вся.»

В чем же смысл этого в о с п о м и н а н и я, место его не только в молитве благодарения, но и во всей совокупности Божественной Литургии, которая, как говорил я выше, молитвой этой совершается и исполняется?

II.

На этот вопрос, несмотря на сотни, написанных в ответ на него, трактатов, ни академическое богословие, ни литургическая наука, не дают, увы, удовлетворительного ответа. Здесь еще раз вскрывается недостаточность того метода, о котором я уже неоднократно говорил и который состоит в **расчленении** евхаристической молитвы, да, в сущности, и всей Литургии, на части, изучаемые и объясняемые затем вне связи их с другими частями, без отнесения их к целому. И именно в объяснениях Евхаристии как **вспоминания**, недостаточность эта особенно очевидна, ибо здесь раскрывается до какой степени «редукционизм», присущий этому методу, сужает, а потому, в пределе, и искажает, понимание не только самого этого «момента», но и всего таинства Евхаристии. На «редукциях» этих, которые уже столетиями воспринимаются как чуть ли не самоочевидные, нам и нужно остановиться в

первую очередь, ибо, не преодолев их, не «пробиться» нам к подлинному, в самом опыте Церкви заложенному, смыслу Евхаристии, как **таинства воспоминания**.

Первая из них состоит в понимании и определении **воспоминания**, как «тайносовершительной» **ссылки** на установление Христом, за Тайной Вечерью, таинства Евхаристии, т. е. претворения хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы. Таким образом воспоминанию здесь приписывается сила этого претворения, «действенности» таинства. По отношению к таинству воспоминание есть «причина» его действенности, причиной же действенности самого воспоминания является **установление** Евхаристии на Тайной Вечери.

В «чистом» виде такую редукцию мы находим в латинском учении о пресуществлении евхаристических даров **установительными словами** Христа, т. е. словами, произнесенными Им на Тайной Вечери и повторяемыми священником, совершающим таинство: «сие есть Тело Мое», «сия есть Кровь Моя». А, поскольку слова эти определяются как «тайносовершительные» и, следовательно, как, одновременно, и необходимые и достаточные, к ним, в сущности, и сводится евхаристическое воспоминание о Тайной Вечери.

В таком крайнем виде эта редукция отвергается как православными, так и протестантскими богословами. Отвергается, однако, как именно и всего лишь, **крайность**. Ибо суть ее: — **сведение** воспоминания к установлению — остается единственным и, повторяю, как бы самоочевидным, контекстом при объяснении этой части молитвы благодарения. На православном Востоке, например, несмотря на согласное утверждение богословов, что не «установительными словами», а **эпиклезой**, т. е. призыванием Св. Духа, совершается преложение даров, уже давно возникла и повсеместно утвердилась практика особого **выделения** именно установительных слов. Так, при общепринятом **тайном**, т. е. «про себя», чтении предстоятелем молитвы благодарения, только эти слова, а не слова эпиклезы, произносятся в с л у х. Так, при произнесении их, предстоятель (или диакон) рукою указывает сначала хлеб и, затем, чашу, как бы подчеркивая особенность, исключительность именно этого момента. И, наконец, на произнесение каждой из двух установительных формул — над хлебом и над чашей — собрание отвечает торжественным **Аминь**, словом всегда имеющем в богослужении именно «совершительный» смысл.

Что же касается протестантского богословия, то, хотя оно отбрасывает вообще, как недолжную и чуть ли не «магическую»,

всякую объективизацию предложения евхаристических даров и ставит реальность, совершающегося в Евхаристии, изменения их в зависимость не от литургических формул и обрядов, а от личной веры причащающегося, само «отбрасывание» это имеет место **внутри** все той же редукции, ибо касается оно вопроса не о связи, как таковой, между Тайной Вечерью и Евхаристией, а об «актуализации», о «действенности» этой связи в Церкви.

В чем же недостаточность, ущербленность этого подхода, в чем причина определения его нами, как редукции? В том, конечно, что бесконечно важный — для нашей веры, для нашей жизни — вопрос об евхаристическом воспоминании Тайной Вечери и, это значит, о связи Евхаристии с Тайной Вечерью, в подходе этом сведен к вопросу **как**, а не **что**: о том, **как** «действует» в Евхаристии установление ее на Тайной Вечери, а не о том, **что** совершил Христос этим — последним до предательства, креста и смерти — актом Своего земного служения.

Иными словами, редукция здесь состоит в подмене главного вопроса производным. Произшла же эта подмена, вне всякого сомнения, в связи с другой, гораздо более глубокой, редукцией, которая, хотя она и вытекает из того же «расчленительного» метода, касается богословского истолкования уже не только Евхаристии, а и всего спасительного дела Христова. Это — присущее схоластическому богословию во всех его разновидностях, отождествления **жертвы**, принесенной Христом за нас и нашего ради спасения — с Голгофой: с Крестом, страданиями и смертью. Поскольку же, по согласному учению Церкви, в Евхаристии Церковь «смерть Господню возвещает, воскресение Его исповедует», поскольку также несомненна связь Голгофы с Тайной Вечерью, совершенной Христом «прежде Своего страдания» (Лк. 22,15), к Голгофской жертве относит, к ней почти исключительно сводит школьное богословие свое истолкование и Евхаристии. Согласно этому истолкованию, Христос на Тайной Вечери установил Евхаристию, как сакраментальное воспоминание жертвенного Своего заклания на Кресте, приятия на Себя грехов мира, искупленных Им Своими страданиями и смертью. Принесенная на Голгофе единой, жертва эта вечно «актуализируется» в Евхаристии, на наших алтарях, как за нас и для нас принесенная и приносимая.

На Западе, как известно, такое сакраментальное отождествление Тайной Вечери и Евхаристии с Голгофской жертвой привело протестантов к отрицанию вообще жертвенного характера Евха-

ристии, как несовместимого с учением об единственности, неповторимости и «достаточности» жертвы принесенной Христом ἅπαξ — т. е. единожды и навсегда. У нас же, православных, хотя и без крайностей, присущих латинскому «прототипу» этого истолкования, оно прочно вошло в наше школьное богословие, отразилось отчасти и на самих обрядах и молитвах Литургии а, главное, в значительной мере окрасило собою те **символические** ее объяснения, о которых я неоднократно говорил в первых главах этого исследования.

Наконец, последнее, что нужно сказать об этих «редукциях», это то, что привели они, и в богословии и в самой литургической жизни Церкви, к почти полному отрыву одного от другого, учения об Евхаристии, как **жертве** и учения о ней, как о таинстве **причащения**. В нашем школьном богословии два эти учения как бы просто сосуществуют, но без внутренней связи между собою. Что же касается нашей богослужебной практики, несомненно отражающей богословие, то в ней Евхаристия-жертва и Евхаристия-причащение воспринимаются в двух совершенно разных «ключах». Так, например, в Евхаристии-жертве — как учат верующих и богословы и пастыри и даже наставники «духовной жизни» — можно, а выходит так, что даже и должно, участвовать не причащаясь: присутствием, молитвой, принесением просфоры, принятием антидора, или же даже просто «заказав» одну или несколько литургий... Можно же потому что в сознании и благочестии церковных людей причащение давно уже не связано с Евхаристией как жертвой, подчинено совсем иному «закону» — закону индивидуальных «духовных нужд»: освящения, помощи, утешения и т. д. и, соответственно с этим, вопросу о личной «подготовленности» или «неподготовленности».

Все эти редукции, повторяю, начало свое имеют и укоренены в том богословии, в той литургической науке, которые в основу своего изучения и истолкования Евхаристии кладут не *lex orandi*, не закон церковной молитвы во всей его целостности, в соподчинении в нем всех, составляющих евхаристическое священнодействие, частей, а, напротив расчленение ее при помощи априорных, т. е. вне самой Евхаристии, вне ее «самосвидетельства», найденных критериев.

III.

Справедливости ради, надо признать, что за последние десятилетия в изучении Евхаристии произошли значительные и в общем положительные сдвиги. Этому способствовало, с одной

стороны, т. наз. **литургическое движение** с его пристальным вниманием к раннему, до-схоластическому пониманию Церкви и места в ней Евхаристии. С другой же стороны, новое, углубленное изучение связи христианской литургической традиции с иудейскими ее корнями. Труды таких ученых как G. Dix, O. Culmann, J. Jeremias, J. Daniélou и многих других, расширили наше знание религиозных форм позднего иудаизма (*Spätjudenthum*), внутри которого родилось христианство, родилась Церковь и зазвучала проповедь Евангелия: — Благой вести о пришествии в мир, для его спасения, обещанного Богом Мессии и об исполнении в Нем, всех пророчеств, всех обетований.

Так мы знаем теперь, что Тайная Вечеря, при своей абсолютной единственности, о чем мы будем говорить ниже, по **форме** своей была традиционной религиозной трапезой с предписанными обрядами и молитвами и что все эти предписания Христос исполнил. И мы знаем также, что эти предписания, эта «форма», и именно потому что Христос, исполнив их — отнес их к Себе, к Своему спасительному делу, стали первичной, основной «формой» Церкви, ее самосвидетельства, ее самоисполнения в мире.

И однако само по себе, знание это, сколь бы ни было оно полезным, нужным, тоже не может дать нам **целостного** ответа на вопрос, поставленный в начале этой главы — о смысле того **воспоминания** Тайной Вечери, что издревле составляет неотъемлемую часть молитвы благодарения. Больше того, освободив нас с помощью исторического исследования от редуций **схоластических**, оно грозит нам новой, на этот раз — **исторической**, редуцией. Эта последняя состоит в сознательном или бессознательном убеждении, что исторический метод не только способен, сам по себе, раскрыть смысл и содержание Евхаристии, но что только он и может это осуществить. В современном «историзме», поскольку он претендует на полноту знания, а он, увы, претендует на нее, мы, таким образом, имеем дело с тем же, что и в схоластике, рационализмом, т. е. с уверенностью в том, что человеческий разум сам в себе имеет гарантию своей непогрешимости. Но нужно лишний раз доказывать, что на деле никакая, самая что ни на есть «научная», история никогда не бывает до конца «беспредпосылочной», но всегда, как в вопросах своих, так и ответах, зависит от, пускай часто и бессознательных, убеждений «вопрошающего», т. е. историка? В том, что касается Христианства, лучшим доказательством этого является то нагромождение «научно-исторических» истолкований ранней Церкви, ее веры и ее жизни,

которым отмечена была эпоха торжества «историзма», торжества его, как именно «редукции». Ибо именно такой «редукцией» объясняется то, что каждая из этих теорий, самоуверенно провозглашавшая себя последним словом науки, вскоре развенчивалась следующей, столь же самоуверенной и столь же обреченной.

Поэтому, признавая безоговорочно всю несомненную пользу, больше того — абсолютную необходимость, исторического исследования в литургическом богословии, о чем, надеюсь с достаточной ясностью, я писал в моем **Введении в литургическое богословие**, я считаю неправильным и вредным то сведение Литургики к **истории** богослужения, что заменило собою прежнее пленение ее богословской схоластикой. Я убежден, например, что этой исторической редукцией, в первую очередь, объясняется беспомощность, растерянность, разногласия «литургистов» в глубочайшем литургическом кризисе, что разразился в наши дни внутри христианства. Им словно нечего сказать в ответ на всевозможные литургические эксперименты, производимые с целью «приблизить» богослужение к «нуждам», «идеям» и даже «требованиям» современного мира, т. е., попросту говоря, растворить его в современности. Сказать же нечего им потому, что «растворив» богослужение сначала в истории, они сами, в сущности, подвели основание под растворение его теперь в современности, лишили смысла сам вопрос о вечной и неизменной сущности Литургии, о значении ее — для Церкви, для человека, для мира. А тем самым и реакцию на все эти эксперименты отдали в руки бесплодного, литургически безграмотного, «интегризма».

IV.

Все это нужно было сказать, чтобы снова **оправдать** — на этот раз по отношению к евхаристическому **воспоминанию** — метод, лежащий в основе всего этого исследования и который, по моему глубокому убеждению, один только и соответствует и отвечает как сущности, так и цели, литургического богословия. На вопрос о смысле этого воспоминания, о смысле литургии, как **таинства воспоминания**, целостного ответа мы должны искать в самой Евхаристии. Это значит — в непрерывности, в тождественности того **опыта** — не личного, не субъективного — а именно **церковного**, который в евхаристическом священнодействии воплощен и в каждом его совершении исполняется.

Здесь нужно с всей силой оговорить, что **целостный** ответ не означает — **весь** ответ, **все** знание, им раскрываемое. **Всего**

ответа ни на один настоящий вопрос нам знать не дано и не только в силу нашей ограниченности, а потому что неисчерпаема глубина Божественной тайны, Божественного **смотрения** о мире и человеке, и, потому, неисчерпаемо, ни здесь, на земле, ни в вечности, и наше искание, наше вопрошание. Да, мы уже теперь, в этой земной жизни, призваны к участию в небесном таинстве, к приобщению небу. Но знание наше все еще **отчасти**, «ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится... Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу: теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно как я познан...» (1 Кор. 13,9-12).

Но вот, и в этом вся глубина, вся радость христианской веры и всего опыта Церкви, **отчасти** это — от **целого**, к нему отнесено, о нем свидетельствует, его светом светит, его силою действует. Если не дано нам в «мире сем» знать **всего** ответа, то дарован нам в Церкви, которая «в мире сем, но не от мира сего», путь целостного к нему приближения и в нем — возрастания. Путь же этот — во вхождении в опыт Церкви и в приобщении к нему, прежде всего, в том **таинстве таинств**, в котором, каждый раз, что совершает его Церковь, дарована, пускай никем и никогда не могущая быть целиком воспринятой, полнота этого опыта. А именно это прикосновение к ней и рождает в нас желание всегда и с т е е — более полно, более целостно, более совершенно, приобщаться к ней и постигать ее.

V

Первое же, что в свете евхаристического опыта раскрывается нам о литургическом воспоминании Тайной Вечери, это то, как раз, что, будучи частью благодарения, оно не только от благодарения неотделимо, из него не «выделяемо», но лишь по отношению к нему, внутри его, являет нам свой подлинный смысл.

О благодарении мы знаем уже, что им исполняется смысл Евхаристии, как восхождения Церкви к небесному престолу, как таинства Царства Божьего. Знаем также и то, что к восхождению этому направлена, ведет, вся Литургия последовательным осуществлением себя, как таинства собрания, таинства входа, таинства Слова, таинства приношения и, наконец, таинства благодарения. Знаем, наконец, что в этом смысле вся она — **воспоминание** Христа, вся — таинство и опыт Его присутствия: Сына Божьего, сшедшего с небес, и воплотившегося, чтобы в Себе нас на небо возвести. Это

Он «собирает нас в Церковь», Он претворяет собрание наше во вход и восхождение, Он «отверзает наш ум» в слышание Своего Слова, Он — «приносящий и приносимый», делает Свое приношение нашим, а наше — Своим, Он исполняет наше единство, как единство в Его любви, и, наконец, Он, Своим благодарением, нам дарованным, возводит нас на небо, открывает нам доступ к Своему Отцу...

Что же все это значит, как не то, что **вспоминание**, в которое теперь, достигнув этой цели, исполнив собою восхождение Церкви на небо, претворяет себя благодарение, и **есть** сама **реальность** Царства? Царства, которое мы потому и можем **вспоминать**, и это значит — осознавать как **реальное**, как присутствующее «среди нас», что его тогда, в ту ночь, за той трапезой, явил и завещал Христос?

«И Я завещаю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство, да ядите и пиете за трапезой Моею в Моем Царстве (Лк. 22,29:30). В ночи падшего, греху и смерти порабощенного, мира Тайная Вечеря явила неотмирный, Божественный свет Царства Божьего: вот вечный смысл и вечная реальность этого единственного, ни с каким другим несравнимого, ни к какому другому несводимого, события.

И именно этот смысл Тайной Вечери раскрывается в евхаристическом опыте Церкви, его познает она самым своим восхождением в ту небесную реальность, которую на земле, единожды и навсегда, явил и даровал Христос на Тайной Вечери. И когда, подходя к причастию, мы молимся: «Вечери Твоея тайныя, **днесь**, Сыне Божий, причастника мя приими, это отождествление того, что совершается **днесь**, с тем, что совершилось **тогда**, именно и в полном смысле слова **реально**, ибо **днесь** мы собраны в том же Царстве, за той же трапезой, которую **тогда**, в ту праздничную ночь, Христос совершил с теми, кого «до конца возлюбил».

«До к о н ц а возлюбил» (Ин. 13,1). И в евхаристическом опыте и в Евангелии Тайная Вечеря есть **конец** *τέλος* т. е. завершение, увенчание, исполнение любви Христовой. Той любви, что составляет сущность всего Его служения, проповеди, чудес и которую теперь Он отдает Сам Себя, Себя как Саму любовь. От начальных слов: «желанием возжелал Я есть пасху эту с вами» (Лк. 22,15) до исхода в Гефсиманский сад, все на Тайной Вечери — и умовение ног и раздаяние ученикам хлеба и чаши и последняя беседа — не только о любви, но **сама Любовь**. И потому Тайная Вечеря есть *τέλος* завершение, исполнение **конца**, ибо яв-

ление того Царства Любви, ради которого мир был создан и в котором имеет свой *τέλος*, свое исполнение. Любовью создал Бог мир. Любовью не оставил его, когда отпал он в грех и смерть. Любовью послал в мир Сына Своего Единородного, Свою Любовь. И вот теперь, за этой трапезой, являет и дарует эту Любовь как Царство Свое, а Царство Свое, как «**пребывание**» в Любви: «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас, **пребудьте в любви Моей**» (Ин. 15,9).

VI

Таков, следовательно, ответ самой Литургии, евхаристического опыта Церкви, на первую из указанных нами «редукций», ту, которая евхаристическое воспоминание Тайной Вечери толкует, как ссылку на установление таинства, само же установление тем самым сводит к дарованию Церкви власти и силы претворять хлеб и вино евхаристического приношения в Тело и Кровь Христовы.

Именно в свете сказанного вскрывает толкование это всю свою недостаточность, все свое несоответствие опыту Церкви. Недостаточность не того, что оно утверждает: — **реальность** Тела и Крови Христовой в евхаристических дарах, а того, что исключает, чего, будучи оторванным от целостного опыта Церкви, не видит, не слышит, и, потому, **не знает**. А исключает оно, как раз, самое главное: евхаристическое **знание** в Тайной Вечери — завершительного явления Царства Божьего и, потому, — **начала** Церкви, начала ее как новой жизни, как таинства Царства.

Между тем именно в претворении Христом, за Тайной Вечерью, **конца в начало**, Ветхого Завета в Новый, сущность того, что называем мы бледным и немощным словом «установление», словом, которое одним своим «звучанием» тянет нас вниз, к юридическим, всего лишь — институционным, редукциям. Нет, не «власть» и не «право» предлагать хлеб и вино **установил** на Тайной Вечери Христос, а **Церковь**. Установил, завещав ученикам и всем «верующим по слову их», Царство Свое, как **пребывание в Его любви**. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Новая, вечно новая, заповедь эта потому, что она — Сам Христос, сама Любовь Божия, нам даруемая, чтобы мы **ею** любили друг друга: «...как Я возлюбил вас и вы любите друг друга» (Ин. 13:34). А этот Новый Завет во Христе, Любви Божией, и есть Церковь.

Да, установление Евхаристии совершилось на Тайной Вечери, но не как «другое» установление, отличное от установления Церкви, ибо установление Евхаристии, как таинства Церкви, вос-

хождения ее на небо, самоисполнения ее за трапезой Христовой, в Царстве Его. Ибо «связаны» между собою Тайная Вечеря, Церковь и Евхаристия не этой земной, «причинно-следственной» связью, к которой так часто сводится «установление», а связаны своей общей и единой **отнесенностью** к Царству Божьему. К Царству, **явленному** на Тайной Вечери, **дарованному** Церкви и **вспоминаемому** — в его присутствии и действительности — в Евхаристии.

И потому, наконец, только по отношению к этой связи — как ее исполнение, ее действительность, раскрывается нам подлинный смысл самой глубокой и радостной тайны всей нашей веры: предложения в Евхаристии наших даров в Тело и Кровь Христовы. Тайны, о которой, как о **таинстве Св. Духа**, предстоит нам говорить в следующей главе.

VII

До этого, однако, мы должны остановиться на ответе, даваемом самой Евхаристией, евхаристическим опытом Церкви, на вторую «редукцию»: на отождествление воспоминания Тайной Вечери с воспоминанием крестных страданий и смерти Христа, и, следовательно, на истолкование Евхаристии, как таинства, прежде всего, Голгофской жертвы.

Скажем сразу, что, лежащая в основе этой «редукции», связь между Тайной Вечерью и вольными страданиями Христа для Церкви всегда была несомненной, удостоверяемой не только всем ее литургическим преданием, но, в первую очередь, самим Евангелием. По Евангелию Христос нарочито совершает Тайную Вечерь «прежде страдания Своего» (Лк. 22,17) и зная, что пришел час их (Ин. 13,1). Свою прощальную беседу с учениками, в которой дает Он им Свою новую заповедь, и которую начинает еще за вечерью, Он продолжает и завершает на пути в Гефсиманский сад («встаньте, пойдем отсюда» Ин. 14,31), так что сам этот исход, восхождение ко кресту явлены нам, как завершение Тайной Вечери. И о связи этой, повторяю, свидетельствует и сама евхаристическая молитва, которая воспоминание о Тайной Вечери неизменно связывает с воспоминанием о Кресте.

Таким образом, речь идет не о связи этой самоѣ по себе, а об ее богословском истолковании. Оправдывает ли все сказанное о ней, тот подход к Евхаристии, что в евхаристическом воспоминании видит и его толкует как **средство** сакраментальной актуализации Голгофской жертвы? И правильно ли, из этого подхода вытекающее, понимание Тайной Вечери, как акта, которым Хри-

стос прежде Своего страдания, в предвидении Своей Голгофской жертвы, прообразовал ее, установив ее сакраментальную «форму», дабы спасительные плоды этой жертвы могли всегда подаваться верующим в таинстве?

И вот, в свете всего сказанного выше об евхаристическом опыте и «знании» Тайной Вечери, на эти вопросы мы не только можем, но и должны ответить отрицательно. Подход этот неправилен и неправилен опять таки в ту меру, в какую определен он все тем же **выделением** евхаристического воспоминания, отрывом его от целостности священнодействия, о котором мы знаем уже, что оно **все** к воспоминанию направлено, **все** к нему, как к своему завершению, приводит.

Ведь, в том, как раз, и весь смысл, вся бесконечная радость этого воспоминания, что воспоминает оно Тайную Вечерю не как «средство», а как явление и, больше чем явление, — присутствие и дар самой **цели**: того Царства, для которого создан Был мир, к которому призвал и предопределил человека и которое «в последние дни» явил в Сыне Своем Единородном: Царства любви Отца к Сыну, любви Сына к Отцу и дара Духом Святым этой любви верующим: «Я в них, и Ты во Мне, да будут совершенны во едино... да любовь, которую Ты возлюбил Меня в них будет и Я в них» (Ин. 17,26).

Потому мы и назвали Тайную Вечерю событием завершительным, что, будучи явлением цели, она есть явление **конца**. Конец же этот — Царство Божие «не от мира сего», а потому **неотмирно**, хотя и совершившееся в «мире сем», явление его. «Я уже не в мире» говорит Христос за Тайной Вечерью (Ин. 17,10). И потому что Он уже не в мире и «неотмира», та слава, которую в эту ночь, за этой трапезой, являет и дает Он ученикам («и слава, которую Ты дал Мне, я дал Им» (Ин. 17,22), Тайной Вечерью завершается земное служение Христа и об этом свидетельствует Сам Христос в Своей прощальной беседе и первосвященнической молитве: «Ныне прославился Сын Человеческий и Бог прославился в Нем» (Ин. 13,31). «Я **прославил** Тебя на земле, **совершил** дело, которое Ты поручил Мне исполнить» (Ин. 17,4).

Но тогда все то, что совершает Христос **после** Тайной Вечери и что **после нее** воспоминает евхаристическая молитва, и в молитве этой, и в вере и опыте Церкви, раскрывается, как **следствие** этого явления Царства, как первая, решающая и спасительная **победа** его в мире и над миром.

Христос был распят «миром сим» — его грехом, злобой, богоборчеством. В земной истории, в нашем земном времени, **инициатива** Креста принадлежала греху, как принадлежит она ему и сейчас, в каждом из нас, когда нашими грехами мы «снова распинаем в себе Сына Божьего и ругаемся Ему» (Евр. 6:6).

Если же стал Крест, орудие позорной казни, священнейшим **символом** нашей веры, надежды и любви; если не устает Церковь прославлять его непостижимую и непобедимую силу, видеть в нем «красоту вселенной» и «врачество твари» и свидетельствовать, что «прииде Крестом радость всему миру», то потому, конечно, что тем же Крестом, который явил, воплотил, саму сущность греха как **богоборчества**, грех этот был побежден; потому что крестной смертью, в которой смерть, воцарившаяся в мире, торжествовала, казалось, свою окончательную победу, сама смерть была разрушена; потому, наконец, что из глубины этой крестной победы воссияла радость воскресения.

Но что же претворило и вечно претворяет Крест в эту победу, как не Любовь Христова, не та же Божественная Любовь, которую, как саму сущность и славу Царства Божьего, явил и даровал Христос за Тайной Вечерью? И где же, как не за Тайной Вечерью, совершилась та полная всецелая самоотдача этой Любви, что — в «мире сем» — сделала **Крест**: предательство, распятие, страдание, и смерть — **неизбежным**?

Именно об этой связи между Тайной Вечерью и Крестом, о связи их, как явления Царства Божьего и его победы, свидетельствует и Евангелие и церковное богослужение, особенно же изумительные, по глубине своей, службы Страстной Седмицы. В них Тайная Вечеря все время **отнесена** к той ночи, которая окружает ее со всех сторон и в которой особенно ярко сияет свет праздника Любви, что в «горнице большой, усталой», как бы от века предуготованной, совершает Христос с учениками Своими. Это — ночь греха, ночь, как сама сущность «мира сего». И вот, она сгущается теперь до предела, она готовится поглотить и этот последний, сияющий в ней, свет. Уже «князи людстии собравшася вкупе на Господа и на Христа Его». Уже заплачены тридцать серебряников, цена предательства. Уже выходит, вожжами своими возбужденная, мечами и дрекольями вооруженная, толпа на дорогу, ведущую к Гефсиманскому саду.

Но тьмой этой — и это бесконечно важно для церковного понимания Креста — омрачена и сама Тайная Вечеря. Знает Хри-

стос, «рука предающего Его с Ним за столом» (Лк. 22,21). И именно с Тайной Вечери, из ее света, **«приняв кусок»**, в эту страшную ночь выходит Иуда, а за ним, вскоре, Христос. И если в службах Великого Четверга, дня нарочитого воспоминания Тайной Вечери, радость все время переплетается с печалью, если опять и опять вспоминает Церковь не только свет, но и омрачившую его тьму, то потому, что в двойном **исходе** — Иуды и Христа, из того же света — в ту же тьму, — видит, знает Церковь **начало** Креста, как тайны греха и тайны победы над ним.

Тайны греха. Ибо исход Иуды — это предел и завершение того **греха**, который начало свое имеет в раю и сущность которого — в отпадении любви человеческой от Бога, в выборе этой любовью себя, а не Бога. Этим отпадением начинается, им изнутри определена вся жизнь, вся история мира, как мира **падшего**, как «мира сего», во зле лежащего, как царства «князя мира сего». И теперь, в исходе Иуды, апостола и предателя, эта история греха — ослепшей, искаженной, отпавшей любви, любви, ставшей **воровством**, ибо «для себя» ворующей жизнь, данную для общения с Богом — приходит к концу. Ибо в том мистически-страшный смысл этого исхода, что **тоже** из **рая** выходит Иуда, из рая бежит, из него изгоняется. Он был на Тайной Вечери, его ноги умыл Христос, в свои руки принял он хлеб Христовой любви, ему в этом хлебе отдал Себя Христос. Он видел, он слышал, он руками своими осязал Царство Божие. И вот, подобно Адаму, исполняя Адамов первородный грех, доводя всю страшную «логику» греха до ее предела, он Царства этого **не захотел**. В Иуде «мир сей», его богоборческое хотение, его падшая любовь, оказались сильнее. И хотение это, в силу все той же страшной логики не могло не стать — последовательно, неизбежно — хотением **богоубийства**. После Тайной Вечери Иуде **некуда идти**, как в тьму богоубийства. Когда же совершится оно и исчерпанным окажется это хотение, и им «живущая» жизнь, Иуде **некуда** будет выйти как в самоуничтожение и в смерть...

Тайны победы. Ибо во Христе, Который Своей самоотдачей явил на Тайной Вечери Свое Царство и славу его, в ночь «мира сего» выходит **само это Царство**. После Тайной Вечери Христу **тоже некуда больше идти**, как на эту встречу, на смертельный поединок, с Грехом и Смертью. Потому что не могут просто «сосуществовать» два эти Царства — Царство Божие и Царство «князя мира сего». Потому что для того, чтобы разрушить владычество греха и смерти, вернуть Себе Свое творение, украденное у Него

дьяволом и спасти мир, отдал Бог Сына Своего Единородного. Таким образом, самой Тайной Вечерью, явлением на ней Царства любви, **обрекает** Себя Христос на Крест. Крестом Царство Божие, **тайно** явленное на Вечери, **входит** в «мир сей», и входом этим само себя претворяет в борьбу и победу.

IX

Таково знание, таков изначальный опыт Креста в Церкви, засвидетельствованный всем ее литургическим преданием, прежде же всего — евхаристическим **воспоминанием**.

«Итак — продолжает молитва благодарения —
«вспоминая спасительную эту заповедь,
«и все, ради нас бывшее:
«крест, гроб, тридневное воскресение,
«на небеса восхождение, одесную седение,
«второе и преславное паки пришествие...»

Это перечисление, в котором — подчеркнем это — Крест не выделен, не противопоставлен другим, воспоминаемым в нем, событиям, а вместе с ними составляет как бы один восходящий ряд, есть, таким образом, воспоминание единой победы, одержанной во Христе Царством Божиим над «миром сим». Победы, осуществляющейся, однако, в последовательности побед, каждая из которых исполняет себя в последующей, есть акт победного продвижения к тому **концу**, когда Христос «предаст Царство Богу и Отцу... да будет Бог все во всем» (1 Кор. 15:24,28).

Соединяет же все эти победы воедино, претворяет их в единую победу, жертвенная любовь Христа, единая **жертва**, всеми ими Христом целостно приносимая.

Вот тут, по отношению к этой единой и всеобъемлющей жертве Христовой, и вскрывается «ущербность» того отождествления жертвы, приносимой за нас Христом, **только** с крестным страданием и смертью, что присуще школьному «расчленительному» богословию.

Ущербность эта укоренена, конечно, в первую очередь в одностороннем, «юридическом» понимании самой идеи жертвы, как акта **искупительного**, соотносительного со злом и грехом, как их искупление, и потому акта, по самой сущности своей, «требующего» страдания, а в пределе — и смерти. Понимание это, однако — и мы говорили об этом уже раньше, в главе, посвященной Евхаристии как **таинству приношения** — именно односто-

роннее и, в односторонности своей, ложное. В сущности своей, жертва связана не с грехом и злом, а с **любовью**, есть самораскрытие и самоосуществление любви. Нет любви без жертвы, ибо любовь, будучи самоотдачей **другому**, полаганием жизни в другом, совершенным послушанием другому, и есть жертва. Если же в «мире сем» жертва действительно и неизбежно связана со страданием, то это не по своей сущности, а по сущности «мира сего» во зле лежащего, сущности его как отпадения от любви.

Обо всем этом мы говорили раньше и нам нет надобности повторять это здесь. Для нас важно лишь то, что в евхаристическом опыте Церкви, в опыте **Евхаристии как жертвы**, жертва эта обнимает собою всю жизнь Христа, все Его служение или, еще лучше сказать **есть** Сам Христос. Ибо Христос, совершенная Любовь, есть потому и совершенная Жертва. Жертва не только в спасительном Своем служении, но, прежде всего, в предвечном **Сыновстве** своем, как самоотдачи в любви и в совершенном послушании Отцу. Да, мы можем не боясь впасть в противоречие с классическим учением о **всеблаженстве** Божием, возводить жертву к Самой Троичной Жизни, больше того — само всеблаженство Божие созерцать в совершенстве Пресвятой Троицы как совершенной самоотдачи Друг Другу Отца, Сына и Святого Духа, как совершенной любви и, потому, совершенной жертвы.

Эту предвечную жертву приносит Сын Отцу, претворяя ее послушанием Отцу в самоотдачу **за жизнь мира**. Приносит Своим вочеловечением, принятием человеческой природы, становясь на веки веков Сыном Человеческим. Приносит, принимая крещение Иоанново и в нем беря на Себя весь грех мира. Приносит Своею проповедью и чудесами. И это приношение исполняет в явлении, и даровании ученикам Своим за Тайной Вечерью Царства Божьего, как Царства совершенной самоотдачи, совершенной любви, совершенной жертвы.

Но, потому, что совершается приношение это в «мире сем», потому, что встречает оно с самого начала сопротивление **греха** во всех его проявлениях — от крови младенцев, избитых Иродом, от неверия и малoverия мира до иступленной ненависти книжников и фарисеев, потому все оно, тоже с самого начала, есть **Крест**: страдание и его прятие, нравственное брение и его преодоление, **Распятие** в глубоком смысле этого слова. «И начал ужасаться и тосковать» — это сказано о последнем борении, последнем изнеможении, в ночь предательства в Гефсиманском саду. Но сами ужас этот и эта тоска, ужас — от греха, окружающего

Христа, тоска — от неверия «Своих», к которым пришел Он, присущи всей жизни, всему служению Христа. И недаром в дни предпразднества Рождества, готовясь к радостному празднованию Боговоплощения, Церковь совершает некое прообразование Страстной седмицы, в самой этой радости созерцает, изначально и неизбежно вписанный в нее, Крест.

Как все земное служение Христа есть принесение — в «мире сем», «нас ради человек и нашего ради спасения» — предвечной Жертвы любви, — так все оно, в «мире сем», есть Крест. Завершенное как радость, как дар Царства Божьего на Тайной Вечери, оно завершается на Кресте как боре и победа. То же приношение, та же жертва, та же победа. И, наконец, Крестом, и как Крест, это приношение, эта жертва и победа, передаются, даруются нам, сущим «в мире сем». Потому, что мы «в мире сем», потому что в «мире сем» и, прежде всего, в нас самих, только Крестом совершается восхождение в радость и полноту завешанного нам Царства.

Х

Только Крестом... Действительно, все то, что в этой главе, и не в ней одной, а и всем этим трудом, я пытаюсь сказать заведомо немощными и недостаточными словами — о сущности Церкви, как восхождения на небо, в радость Царства Божьего и об Евхаристии, как таинстве этого восхождения, сами слова эти о радости и полноте, были бы поистине словами **безответственными**, если бы не были они отнесены — самой Церковью, в самой Евхаристии — ко **Кресту**, как к единственному пути этого восхождения, как к средству нашего в нем участия.

«Крестом Господа нашего Иисуса Христа для меня мир распят и дела мира» (Гал. 6,15). Нужно ли доказывать, что в этих словах ап. Павла выражена вся сущность христианской жизни, как следования за Христом? **Мир распят для Меня:** если следование за Христом есть ответная любовь на Его любовь, ответная жертва на Его жертву, то в «мире сем» оно не может не быть подвигом постоянного отвержения мира в его самости и гордыни, в «хотении» его, как «похоти плоти, похоти очей и гордости житейской». **Я распят для мира:** а эта жертва не может не быть моим распинанием, ибо «мир сей» не только вне меня, но, прежде всего, во мне самом, в том ветхом Адаме во мне, смертельная борьба с которым новой, дарованной мне Христом жизни, никогда не прекращается в земном нашем странствии.

«В мире будете иметь скорбь» (Ин. 16:33). Эту скорбь имеет, это страдание познает всякий, кто хотя бы в самую малую меру, следует за Христом, любит Его и Ему себя отдает. Это крест — страдание. Но сама эта скорбь, любовью и самоотдачей, претворяется в радость, ибо познается, как сораспятие Христу, как принятие Его Креста и, потому, участие в Его победе. «Мужайтесь, Я победил мир» (Ин. 16:33). Это крест — радость, «которой никто не отнимет от нас» (Ин. 16:22).

Вот почему евхаристическое **вспоминание**, будучи воспоминанием Царства Божьего, явленного, завещанного на Тайной Вечери, есть, тем самым и, неотделимое от него, воспоминание Креста, Тела Христова, но за нас лопотного, Крови Христовой, но за нас изливаемой. Вот почему **только Крестом** дар Царства Божьего претворяется в приятие его, а явление его на Евхаристии — в наше восхождение на небо, в наше участие в трапезе Христовой в Царстве Его.

XI

Таинство собрания, таинство приношения, таинство возношения и благодарения и, наконец, воспоминания. Единое таинство Царства Божьего, единой Жертвы Христовой любви. И потому таинство явления, дара нам нашей жизни, как жертвы. Ибо нашу жизнь Христос в Себе принес и отдал Богу. Для жертвенной жизни, жизни — любви, был создан человек. Ее потерял — ибо нет иной жизни — в отпадении своей любви от Бога. И ее, эту жертву как жизнь, и жизнь, как жертву, явил Христос в самоотдаче Своей любви, ее даровал, как восхождение в Царство Божие и причастие Ему.

Об этой Жертве, во Христе ставшей **нашей**, об ее всеобъемлющей полноте, свидетельствуют, ее выражают слова, которыми завершается евхаристическое **вспоминание**:

«Твоя от Твоих

«Мы Тебе приносим

«О всех и за все...»

И этими завершительными словами **конец** претворяется в **начало**. В то вечное начало, ибо вечное обновление всего, которое являет и исполняет Своим пришествием Утешитель Дух Святой.

«ПУТИ РУССКОГО БОГОСЛОВИЯ» о. Г. ФЛОРОВСКОГО*

Книга «Пути Русского Богословия» протоиерея Георгия Флоровского, плод его огромной эрудиции и выражение церковно-исторического мировоззрения, справедливо признается — и, вероятно, всегда будет признаваться — его главной научной заслугой. Книга была написана в последние предвоенные годы в Париже и явилась завершением работы над полной историей православного Предания, начиная с раннего христианства и кончая нашей эпохой. Его книги «Восточные Отцы Четвертого Века» и «Византийские Отцы», т. е. первая часть его главного труда, вышли за несколько лет до «Путей Русского Богословия» и в свое время могли считаться замечательным введением в святоотеческую мысль с православной точки зрения. Однако, ни по оригинальности подхода, ни по новизне содержания, ни по объему информации книги о. Георгия об отцах древней Церкви не обладают той силой и исчерпывающей глубиной, с какими написаны «Пути». От древних отцов Флоровский воспринимал нормы и критерии суждения, а обращаясь к истории русского Православия, он прилагал эти нормы к живой реальности, к опыту той культуры, к которой он сам принадлежал и к которой принадлежим все мы.

О. Георгий родился в 1893 году в семье одесского протоиерея, ректора одесской семинарии, но учился в светских школах. В новороссийском университете (в Одессе) он окончил историко-филологический факультет, но изучал также историю философии и естествознание. Студентом он был блестящим и, как многие другие в годы войны и революции, искал осмысления реальности на путях философии. В 1920 году он был утвержден в звании приват-доцента, но тогда же эмигрировал. В Праге, где нашли приют многие представители русской интеллигенции, он защитил магистерскую диссертацию о Герцене.

В области богословия Флоровский был блестящим самоучкой. Не обладая формальной богословской подготовкой, он не только погрузился в изучение отцов Церкви, но и приобрел известность как патролог. Постепенно вырабатывавшееся у него мировоззрение было не спекулятивно-философским, как у большинства религиоз-

* Статья является предисловием к переизданию книги о. Г. Флоровского «Пути Русского Богословия» издательством ИМКА-ПРЕСС.

ной интеллигенции, попавшей за границу, а богословски-традиционным. На этом пути у него установилась, довольно, впрочем, непродолжительная связь с «евразийством», в котором его, по-видимому, привлекало настороженно-отрицательное отношение к Западу и западно-европейской философии. В 1926 г. он принял приглашение на кафедру патрологии в только что образовавшемся в Париже Богословском Институте. В преподавательский состав Института вошли как профессора дореволюционной духовной школы (А. В. Карташев, еп. Вениамин Федченков), так и видные представители «вернувшейся в Церковь» интеллигенции (о. С. Булгаков, В. В. Зеньковский и др.). Среди них Георгий Васильевич занял особое место, трудно определяемое с точки зрения обычных стереотипов. Он был солидарен с коллегами в стремлении к оживлению православного богословия и к участию в экуменических встречах с инославными, но всегда находился в оппозиции к доминировавшему тогда религиозно-философскому движению, связанному с «софиологией» Владимира Соловьева. В 1932 году он был рукоположен в священный сан митрополитом Западно-Европейским Евлогием (Георгиевским).

Годы преподавания в Париже оказались самыми плодотворными в жизни о. Георгия: именно тогда он опубликовал две книги об отцах и «Пути Русского Богословия». Для того, чтобы всецело понять смысл его литературного творчества в эти годы, можно вспомнить одно из наиболее частых замечаний о. Георгия на его лекциях по патрологии: «Отцы Церкви, — говорил он, — чаще всего богословствовали для опровержения еретиков. Отправляясь от «неверного» выражения христианского благовестия, они находили «верные» слова, при этом не «создавая» Истину, — которая и является Истиной только в силу своей божественности, — а выражая и объясняя ее». В таком подходе состоит основной психологический метод Флоровского в его критике русской культуры. Консервативный подход к богословию у о. Георгия был, однако, совершенно чужд всякого мракобесия. Будучи историком, он всегда отвергал тупое поклонение прошлому как таковому. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть его анализ русского старообрядчества в «Путях». Его основной заботой было не идолопоклонство прошлого, а проблемы настоящего. Психологическим импульсом, вдохновлявшим Флоровского при написании его книг, было отвержение так называемой «софиологии» во всех ее видах, особенно в трудах ее главных представителей, В. С. Соловьева, С. Н. Булгакова и о. П. Флоренского. Русская софиология пред-

ставлялась ему разновидностью немецкого идеализма, своеобразным гностицизмом и вообще незаконным использованием философии для выражения христианских догматов. По-видимому Флоровский и начал заниматься св. отцами именно потому, что «софиологи» пытались представить свою мысль традиционной, а свое пользование философией — освященным примером отцов. Для Флоровского же, ни разу не вступившего в открытую печатную полемику со своим старшим (и уважаемым) коллегой, о. Сергием Булгаковым, основной смысл занятий патристикой заключался в том, чтобы найти верный ключ к соотношению между светской философией и богословием. Этот ключ, с его точки зрения, был неверно определен софиологами, но может быть найден в примере греческих отцов, т. е. в христианском эллинизме, отказавшемся от чуждых христианству начал, осудившем своего же родоначальника Оригена и сумевшем преобразиться изнутри, стать воистину христианским. «Отечественная письменность, — писал о. Георгий, — есть не только неприкосновенная сокровищница предания... Отечественные творения являются для нас источником творческого вдохновения, примером христианского мужества и мудрости... (путем) к новому христианскому синтезу, о котором томится и взыскует современная эпоха. Настал срок воцерковить свой разум и воскресить для себя священные и благодатные начала церковной мысли». («Восточные Отцы Четвертого Века», стр. 5; ср. также заключительную главу «Путей».

«Пути Русского Богословия» являются трудом монументальным и могут служить основным библиографическим справочником по истории духовной культуры в России. Автор не ограничивается изучением чисто богословских произведений, но охватывает всю литературу, имеющую отношение к православию. Несмотря на то, что за последнее десятилетие появилось множество исследований по древнерусской — допетровской — литературе, взгляды и оценки Флоровского почти никогда нельзя назвать устаревшими. С ними можно не соглашаться, но их нельзя просто отбросить за ненужностью. А главы о старообрядческом кризисе, о латинствующей киевской школе семнадцатого века, о «Западном пленении», захватившем всю официальную церковность после Петра, и, наконец, исчерпывающий анализ русского богословия и религиозной мысли в предреволюционной России являются единственным и незаменимым оценочным справочником.

Н. А. Бердяев писал, что заглавие книги Флоровского должно было бы быть «Беспутья Русского Богословия». Действительно,

во всем огромном количестве авторов и писателей девятнадцатого века, рассмотренных в книге, только немногие, например, А. С. Хомяков (отчасти) и особенно митрополит Филарет (Дроздов), находят положительную оценку. Не отрицая ни ума, ни таланта, ни способностей отдельных авторов и всегда рисуя яркую картину каждой эпохи, о. Георгий ко всем и ко всему прилагает раз навсегда им принятую святоотеческую или византийскую нормативность, которая для него является единственно православной.

Здесь не место обсуждать вопрос о том, прав ли был Флоровский в своем подходе к истории русской религиозной мысли. Конечно, не во всем прав. Так, православный богослов может поставить вопрос, не слишком ли узко Флоровский понимает святоотеческое предание. Если критиковать русское православие во имя «византизма», не следовало бы также подвергнуть критике и сам византизм? Равнозначен ли он Священному преданию как таковому? А литературовед или историк мысли может в ряде случаев не согласиться со справедливостью отдельных — всегда острых и интересных — портретов, нарисованных автором.

Но подобные вопросы можно ставить всегда, по поводу любой значительной книги, особенно исторической. Неоспоримая и поистине огромная заслуга о. Георгия заключается в целостности его труда и в самом его критическом подходе. В наши дни русская Церковь и сама Россия постепенно восстают из пепла революционного пожара, который, казалось, разрушил все культурные основы. Необходимо строить заново. Но что это будет за постройка? Сама идея возврата к каким-то религиозным ценностям прошлого в защите почти не нуждается: она очевидна для большинства мыслящих людей. Но именно поэтому существует опасность как безрассудного поклонения прошлому, так и невежественного отвержения самого главного в нем. Необходимо критическое осмысление истории, низлагающее предрассудки и определяющее истинные ценности. Такая критика невозможна без предварительного определения иерархии ценностей. Именно это мы и находим в «Путях» Флоровского. Для тех, кто согласен (или почти согласен) с его иерархией ценностей, его книга будет еще долго служить основным руководством для изучения русской Церкви, русского богословия и русской духовной культуры. Те, кто эту иерархию не приемлет, должны будут достичь уровня Флоровского в знании источников, иначе их отказ следовать его путем будет неубедительным.

Летом 1939 года, вскоре после окончания работы над книгой,

о. Г. Флоровский был в Белграде, где его застало начало войны. Склад издательства был сожжен немецкими бомбами, и книга стала библиографической редкостью. Проведя в Югославии годы войны, о. Георгий позднее оказался в Праге у брата, но в конце концов ему удалось вернуться в Париж. Поскольку кафедра патрологии была занята (архимандритом Киприаном Керном), он преподавал нравственное богословие, а в 1948 году, по приглашению митрополита Американского Феофила, переехал в Нью-Йорк, где стал профессором, а затем и деканом Св. Владимирской Духовной Академии.

Сразу убедившись в том, что Православие в Америке уже давно стало «американским», т. е. соответствующим американским академическим нормам и требующим системы духовного образования на английском языке, о. Георгий — несмотря на всю свою «русскость» и укорененность в русской среде — ревностно и успешно принялся за преобразование школы, которое и было в значительной мере достигнуто в течение его пребывания ее главой (1948-1955). Одновременно он, как признанный и авторитетный православный богослов, принял активное участие в университетской жизни Америки, читая лекции и печатая статьи. Крупных исследований он, однако, больше не писал. В экуменическом движении его признавали почти единоличным и самодостаточным голосом Православия. В этом качестве он, будучи членом исполнительного комитета вновь организованного Всемирного Совета Церквей, стал одним из основных его создателей.

Признанным авторитетом он стал не только в церковных и экуменических кругах. Слависты и историки России, знакомые с «Путями», признали его исторические заслуги и исключительную эрудицию. Это позволило ему, когда он покинул пост декана Св. Владимирской Академии, занять кафедру в Гарвардском Университете, а после отставки продолжить преподавание в Принстоне. Ему было присвоено несколько почетных степеней, он был постоянным участником многих научных и академических съездов. Скончался о. Георгий в Принстоне 11 августа 1979 года. Его отпевание было совершено в церкви св. князя Владимира в Трентоне, где он часто служил, при участии многочисленных коллег и учеников.

Новое издание «Путей Русского Богословия» — лучший памятник о. Георгию. Эта книга уже имеет и несомненно будет иметь в будущем важное значение в чаемом всеми нами Православном Возрождении.

АЛЭН БЕЗАНСОН

СМЕШЕНИЕ ЯЗЫКОВ*

Идеологический кризис Западной Церкви

III. ЛИБЕРАЛИЗМ, СОЦИАЛИЗМ, КОММУНИЗМ

Когда Гиббон противопоставлял «беспорядочное» стремление папистов к свободе» «**противоестественной**» склонности протестантов к рабству», он имел в виду не разницу в сути, но реальное положение вещей, связанное с определенными историческими обстоятельствами.

Мы понимаем под **свободой** политический, социальный и экономический режим, который победил в Англии XVIII века, а затем установился во Франции и в остальной Западной Европе в XIX веке. Вопрос, на который надо ответить, — это вопрос о том, почему в том же XIX веке Церковь не поняла и не приняла этого режима.

Краткий обзор прошлого позволит нам прояснить вещи. Режим этого типа подготавливался еще в недрах феодального строя, со времен Людовика Святого, Великой Хартии Вольностей, в городских общинах Фландрии и Италии. Ростки этого режима — равноправное соглашение между свободными лицами, правовое состояние, установление рамок для переговоров и арбитражей, личные привилегии, право собственности и т. д. — культивировались римской Церковью, и поскольку это не было для нее чем-то чуждым, Церковь содействовала их росту. Этот рост был прерван переменами, связанными с концом Средневековья, очень серьезным кризисом, испытанным Церковью в XIV и XV вв. и требовавшим срочной реформы. В Риме думали сначала, что эта реформа должна осуществляться в той же оправе, что и в XII и XIII веках, — в оправе гуманистической, юридической, «либеральной» в том ренессансном смысле этого слова, какой мы связываем с именами Эразма, Рабле, Мора, Рафаэля. Вместо этого реформа Церкви приняла катастрофический оборот, выразившийся в расколе, в ереси, вспышках войн и резни.

* Alain Besançon. La confusion des langues, Paris 1980. Начало см. «Вестник», № 131, стр. 55-80 (перевод на русский язык осуществлен в Самиздате).

Посреди этого бедствия Рим должен был искать опору не в том, что было самым «передовым» в Европе, не на тонком, хрупком и шатком острие христианского гуманизма (Поул, Мор, Карранца, Эразм, Лефевр д'Этапль), но в том, что еще крепко держалось и помогало отвоевывать потерянные позиции, — в том грубом и архаичном христианстве пограничных областей, которое встречало понимание у испанских Габсбургов, австрийских Габсбургов и насаждалось ими в их владениях.

«Либеральный» идеал не исчез совершенно в католической Европе. Им были отмечены первые шаги Ордена иезуитов. Он поддерживался и в тех промежуточных зонах, где светская власть находила для себя выгодным отстаивать свою независимость от Рима, а именно, в Венецианской республике и особенно во Французском королевстве. Но несмотря на это, подземное и медленное вызревание плода современного либерализма происходит почти исключительно в протестантских странах, в прирейнских кальвинистских городах, в реформистской Голландии, в диссидентской Англии, в пуританской Америке.

По ту сторону линии Лондон — Амстердам — Женева либерализм не антирелигиозен. Поэтому когда католическая Церковь внедряется в эти страны, она сможет — как в Голландии, в Германии, в Англии, в Соединенных Штатах — вступать с либерализмом в соглашение. В протестантских странах католическая Церковь не претерпевает того разучреждения, какое выпадает на ее долю в католических странах. Совсем наоборот: господствующий либерализм был благоприятным моментом, позволяющим ей обрести устойчивую институализацию по образцу протестантских Церквей, которые успели утвердиться раньше нее и теперь относятся к ней с терпимостью. В этих странах (к которым можно здесь причислить, по другим мотивам, Ирландию, Бельгию и даже Польшу) Церковь находит для себя выгодным использовать либеральные структуры или даже соединяться с ними с тем, чтобы выкроить себе место рядом с другими Церквами и перед лицом государственной власти. Это ей легко удастся, и эта зона очень быстро становится наиболее благополучной, лучше всего укорененной, наиболее уверенной в себе частью вселенской Церкви. Благоприятные последствия этого не иссякли еще и по сегодняшней день. В этих странах происходила медленнее всего «дехристианизация». Церковь не сложилась здесь в замкнутое общество, в секту, в партию. Внутри нее не получили развития тенденции нигилизма, презрения к порядку, антисоциальности.

Но по другую сторону этой линии Церковь была тесным образом связана со старыми режимами и деспотическими монархиями. Эта связь укреплялась еще и потому, что либерализм здесь был представлен не религиозным нео-эразмианством протестантского мира, но гораздо более агрессивным Просвещением, которое одновременно ополчилось и против Старого режима, и против Церкви, причем именно в Церкви видело своего главного врага и открыто выражало намерение изгнать ее из общества с тем, чтобы потом вовсе уничтожить. Так было во Франции, в Италии, в Испании, то есть в основном массиве католического христианства, над которым возвышается башня римского престола.

Нам может показаться, что до коммунизма здесь далеко. Но нет: антилиберальная традиция папской власти будет иметь два последствия, содействующих, по-своему, его приближению. Первое из них: привычка помещать коммунизм в один ряд с либерализмом и социализмом как двумя видами одного и того же зла. Рассматривая эти три явления как три волны, наступающие на ее крепость (каждая последующая волна все опаснее), папская власть, по эту сторону стены, склонна их смешивать, приписывая им одно и то же происхождение и одну и ту же природу. Это не совсем так, и мы еще вернемся к этой теме.

Другое последствие — более тонкое. У папской власти не было непосредственного опыта отношений с либерализмом, если не считать голландских, английских и американских окраин католического мира. Она не располагала досугом для размышления о природе политического, социального и экономического конфликта, каковой неотделим от либеральной традиции. Хотя папская власть давно сумела приспособиться к конфликту между государями и между нациями, выработала *jus pacis et belli*,* сформулировала оправдание справедливых войн, она еще не выработала соответствующего закона для конфликтов, постоянно присутствующих внутри современных обществ. Напротив, захваченная врасплох натиском либерализма, она никак не может отказаться от идеи органического общества, в котором вообще не должно быть никаких противоречий. Отсутствие конфликтов не есть черта исторической реальности старых режимов, но это — черта антилиберальных идеологий XIX века, господствовавших в католических кругах. И господствовавших также в социалистических кругах.

* Закон мира и войны (лат.).

Освежив в памяти эти факты, перейдём к существу вопроса. Легче всего это сделать, сравнив две знаменитых энциклики: «*Rerum Novarum*» (1891) и «*Quadragesimo anno*» (1931).

Признаюсь, я со страхом раскрыл первую из них. Я опасался найти под покровом величественного цитеронова красноречия, присущего произведениям этого жанра, — скудоумие и банальность. Ничуть не бывало. Оказалось, что это — вполне разумное применение к условиям современности, характер которой наконец постигнут, вечных начал Аристотеля, римских юристов, святого Фомы. Словом, это впечатляющий урок естественного права, а значит, и столбовая дорога к подлинному либерализму.

Существует гражданское общество, где отношения между людьми, точнее, между классами, должны регулироваться на основе взаимного соглашения. Общественная власть следит за тем, чтобы трения улаживались законным путём. Политические партии должны иметь возможность свободно вести полемику, на собственном опыте убеждаясь в справедливости правила *suum cuique* (каждому — своё), поэтому они пользуются автономией и могут конституироваться в качестве «частных обществ». «Пускай государство опекает эти общества, основанные на законном праве; но пускай оно не вмешивается в их внутренние дела и не касается скрытых пружин, кои приводят их в действие». Это означало не что иное, как легализацию профсоюзов и рабочего движения. Правда, Лев XIII не удержался от того, чтобы вставить в свой документ фразу, единственную, быть может, о которой стоит пожалеть: «Епископы, — говорится в энциклике, — со своей стороны поощряют эти усилия и оказывают им своё высокое покровительство». Выходит, что автономия ограничена, хотя её и поощряют.

«Гражданское общество, которое запретило бы частные общества, нанесло бы удар самому себе, так как все публичные и частные общества берут происхождение в одном и том же принципе — естественной общительности человека». С каким наслаждением читаешь эти, столь редко произносимые и такие благородно-классические, предложения. Или еще вот это: «Право индивидуальной собственности проистекает не из человеческих законов, но природных. Публичная власть не может, следовательно, их отменить. Она может только умерять пользование этим правом и согласовывать его с общим благом». Тут хотелось бы цитировать все подряд.

Хотелось бы также подчеркнуть, что новизна «*Rerum No-*

varum» заключается более всего не в ее решениях, но в предлагаемом ею методе. Лев XIII указывает, что соединение Церкви с либеральным обществом и христианское оздоровление этого последнего могут быть осуществлены на путях двух предшествующих возрождений: возрождения XII века, наполовину удавшегося, и возрождения XVI века, наполовину упущенного, — через возврат к гуманистическому духу естественного права. Так, идя путями традиции, Лев XII присоединяется к интуиции отцов французского либерализма — Шатобриана, Констан, Гизо, Токвиля, полагавших, что равенство положений и конфликт интересов могут быть удержаны в пределах порядка и умеренности лишь в присутствии религиозного духа. На связанное с этим последним естественное право была бы возложена задача разрешения внутренних конфликтов, имманентных этому новому обществу, и, равным образом, конфликтов на границе между духовным и мирским, светским и клерикальным, профанным и священным. Вот почему этот же папа предпринимает, с другой стороны, попытку выдвинуть святого Фому на роль общезначимого ученого, сделать его нормой учения. Но если томизм берется не как удавшийся пример уравновешенного естественно-правового воззрения (*jusnaturalisme*), если ему не придан дух понимания того, что остается вне его, если, напротив, он отвердевает в идеологическую систему, противопоставляемую какой-то другой идеологии, искомого эффекта не достичь. Вместо того, чтобы быть **общезначимым** (*commun*) и способствовать объединению, томизм оправдывает сегрегацию.

В энциклике «Сорок лет спустя» звучит другой язык. Хотя Пий XI постоянно отдает должное своему августейшему предшественнику, учение претерпевает серьезную перемену направления. В самом деле, точка зрения классического естественно-правового воззрения, *a priori* превосходящая рамки любой социологической теории и любой политической программы, значительно обесценивается из-за того, что здесь присутствует теория общества и, что еще хуже, теория хорошего общества. Эта теория берет происхождение, главным образом, в немецкой ветви социального католицизма. К 1870 г. у монсеньера Каттлера, вестфальского аристократа и епископа Майнцского, родилась положительная теория о том, чем должно быть христианское общество. Постулируется, что социальный вопрос может быть решен лишь построением такого общества; эта теория, тем самым, прорывает как с либеральным индивидуализмом, так и с социализ-

мом централизованного государства. Это — проповедь общества, построенного на корпоративных началах, романтические корни которого (консервативная версия романтизма) очевидны. Проповедь «органического общества» получила значительное развитие в Австрии, приняв антисемитскую окраску при знаменитом бургомистре Люгере. В эти годы папская власть действительно начинает прислушиваться со вниманием к тому, что происходит в Германии. Положение французской Церкви шатко, отношения с итальянским государством натянуты. Испанская Церковь не может служить достаточной базой для католической политики. Остается Австрия и, еще более, католическая Германия в центре, которая представляется наиболее серьезной, наиболее современной и наиболее удавшейся частью универсальной Церкви. Но решения, предлагавшиеся немецким социальным католицизмом, небезопасны.

Первое неудобство заключалось в том, что в столь торжественном документе папа поручился за социологическую теорию, спорную, как и всякая теория, и вследствие этого приобщился преходящему мировоззрению, с каковым Церковь как мир непреходящий заинтересована себя не связывать. Например: «Эта концентрация власти и ресурсов, являющаяся отличительной особенностью современной экономики, — естественный плод конкуренции, свобода которой не имела ограничений...» Или еще: «Это накопление сил и ресурсов влечет за собой борьбу за обладание могуществом, и происходит это трояким образом: прежде всего, ведется борьба за экономическое господство; затем спор о политической власти, ресурсы и могущество которой будут использованы в экономической борьбе; наконец, конфликт выносится на международную арену...» В этих формулах довольно отчетливо отражается консервативное антимиропомазанничество прошлого века, и в основных чертах этот анализ не отличается от анализа социалистического, хотя папа, с другой стороны, и оспаривает социализм. В этом анализе отражаются также некоторые темы, характерные для Муссолини. Таким образом, не удивительно, что папа, сам того не сознавая, воспроизводит здесь дух книги Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма».

Вторая ошибка состояла в том, что энциклика устанавливала симметрию между «либерализмом» и «социализмом»: оба они рассматривались как нечто плохое. Тем самым либерализму, являвшемуся просто тенденцией экономической мысли XIX века, приписывалась полнота, которой у него на самом деле не было,

и этим словом было обозначено целое, охватывающее сразу и экономический, и политический режим. Социализму также приписывалось единство, которым он не обладал: как будто в 1931 году можно было собрать в некое целое английский лейборизм, французский социализм, немецкую социал-демократию и т. д. Такая дихотомия была просто-напросто ложной. Проповедовать же некий режим, равноудаленный от этих двух режимов, якобы поделивших между собой всю планету, означало поддаться соблазну утопии. В действительности Церковь традиционно выступает за установление справедливости внутри существующего режима; она еще никогда прежде не выступала за установление режима несуществующего.

Но эта проповедь была не просто утопией: проповедовать режим, который был бы отличен от режимов, существующих не в реальности, но лишь в воображении тех, кто поименовал их «либерализмом» и «социализмом», было равносильно сверхутопии. Церковь тем самым помещала свой идеал на *no man's land*.^{*} Понятно происхождение этого ложного шага. Предлагаемый режим — это корпоративный строй, объединяющий в единых организациях хозяев и рабочих, нечто, напоминающее Италию при Муссолини, Австрию при Дольфусе, Португалию при Салазаре. Цель состоит в том, чтобы «положить предел конфликту, разделяющему классы, и вызвать к жизни и поощрять сердечное сотрудничество профессий». В итоге отрицается как раз то, что конфликт по существу есть неотъемлемый элемент политического общества. С этой точки зрения реальный либерализм (английская консервативная партия, умеренные правые во Франции) и реальные социал-демократии не противостоят друг другу. Именно поэтому между ними существует немало промежуточных (центристских) политических формул. Они различаются по модальностям конфликта, правилам игры, по природе социального поля, подлежащего устройению, и, наконец, по размерам приходящейся на каждую партию доли *sum cuique*. Но мечта о некоем органическом обществе, в котором не существовало бы конфликта или где конфликт поддавался бы автоматическому урегулированию, неизбежно предполагает умаление автономии, то есть свободы налично существующих партий. Это означает также, что требования о справедливости адресуются не лицам, а организациям, или, как скажут позднее, «структурам». Но ведь

^{*} Ничейная земля (англ.).

не существует «справедливых структур». Есть только лица, совершающие или не совершающие несправедливость.

Третья погрешность была связана с глобальным и неточным представлением о «социализме» и состояла в том, что большевистский коммунизм был помещен в одном ряду с социал-демократиями. В энциклике воздастся должное социал-демократиям за их отказ «от враждебных действий и от взаимной ненависти» и за готовность к «обсуждению интересов в рамках закона». Тем не менее в упрек им ставится их «антихристианская природа». Но таким образом папская энциклика оставляла точку зрения естественного права, в пределах которого нечто может быть справедливым, не являясь формально христианским, и соскальзывала в политическое августинианство с его идеей «христианского общества», каковое должно быть иным по своей сущности, чем другие общества. В результате упускалось из виду различие между природой социал-демократии и природой коммунизма, и этот последний объявляется преемником социал-демократии. Коммунизм рассматривается сквозь призму теории, которая симметрично противопоставляет друг другу завершение либерализма в монополистическом капитализме или империализме, с одной стороны, и завершение социализма в большевизме, с другой. Это не соответствует реальному положению вещей.

Следует заметить, что шаг в сторону корпоративизма, на который папская власть подталкивалась окружающей ее католической Европой, испытавшей первый удар мирового кризиса, в общем был довольно сдержанным и осторожным. Правило естественно-правового воззрения хотя и было потревожено, не было отвергнуто. Папская власть, по мере возможности, сдержанно относилась к пламенным начинаниям французского католицизма, от де Местра, Ламеннэ и Сийона до французского «Католического действия». Она даже с грехом пополам сопротивлялась паполатрии этих бывших галликан. Тысячелетняя юридическая традиция папской власти, ее каноническая функция издания законов предохраняла ее от романтических увлечений. А с другой стороны, папская власть сопротивлялась — с упорством, которое многих поражало, но в котором была заключена мудрость, — разучреждению. Она уступила всю свою территорию, за исключением сорока гектаров в Ватикане, но не уступила самого принципа территории. Она сохранила свое земное тело.

Было бы неверно утверждать, что Церковь не увидела опасности большевизма. Его появление потрясло ее, как удар хлы-

стом. В период между войнами она осудила его с твердостью и ясностью, на какую были способны немногие мирские и духовные власти. В этой же энциклике 1931 г. Пий XI объявляет: «там, где коммунизм захватил власть, он продемонстрировал такую дикость и нечеловечность, в какую трудно поверить и в которой есть что-то сверхъестественное, о чем свидетельствуют страшные массовые убийства и разрушения, уже совершенные им в огромных странах восточной Европы и Азии». Но одно дело что-то констатировать, другое — понять.

Анализ коммунизма в энциклике Пия XI «*Divini Redemptoris*» (1937 г.) замечателен во многих отношениях. Наиболее проникательна его интуиция о том, что большевистский коммунизм есть некое извращение христианского учения, интуиция, выражающаяся в нескольких формулах: «Побудительная сила коммунистической доктрины есть подделка искупления для униженных». «Коммунизму внутренне присуще извращение: поэтому никоим образом нельзя сотрудничать с ним, когда мы хотим спасти от разрушения христианскую цивилизацию и социальный порядок». Вот почему папа уподобляет его дьявольскому вторжению и цитирует евангелиста Матфея, как шестьюдесятью годами ранее Достоевский цитировал евангелиста Марка: «Дьявол этого рода может быть изгнан только молитвой и постом». Наряду с этим, однако, папа предлагает еще одно средство противодействия. И это средство — корпоративизм, отождествляемый с социальной доктриной Церкви. Последнее средство несомненно менее эффективно, чем первое. Неточно утверждать, что общество «доводится до крушения принципами либерализма» и видеть в либерализме главного виновника, ответственного за порождение коммунизма, поскольку в 1937 г. было ясно, что коммунизм добивается успеха в странах, где экономика и общество никогда не развивались в условиях либерализма.

Нельзя было бы ожидать, чтобы уже к тому времени папская власть смогла дать полный анализ явления, которое сбивало и сбивает с толку весь мир. Вызывают восхищение некоторые, довольно тонкие, замечания. Например такое: «Когда отвергают закон и Бога, его давшего, это не проходит безнаказанно; именно по этой причине коммунисты не сумели выполнить своих экономических планов: и они никогда не смогут их выполнить». Или еще такой уместный вопрос: «Как получается, что эта доктрина, давно преодоленная научно и полностью опровергнутая повседневным опытом, смогла так быстро распространиться во всем

мире?» Но в то же время несколько неточностей и неправильная постановка вопроса приносили плохие плоды. По-прежнему сохраняется тенденция симметрично противопоставлять друг другу социализм и капитализм. Таким образом большевизм представляется просто как ухудшенный вариант социализма, тогда как он — нечто совсем другой природы.

Он, тем самым, соотносится с социальным вопросом, как будто стоит только урегулировать по справедливости социальный вопрос — и корни большевизма будут подрезаны. Конечно, папа хорошо видел, что у коммунистов вышеназванная справедливость есть лишь средство и что они используют в своих целях несправедливость вовсе не для того, чтобы на самом деле найти лекарство. Однако надо было бы отметить более определенно, что побудительной силой большевизма является некое интеллектуальное обольщение, в основании которого кроется поиск спасения. Иначе говоря, большевизм надо было рассмотреть метафизически, а не социологически.

В этом плане папа удовлетворяется тем, что осуждает коммунизм за его атеизм; значит, еще раз коммунизм помещается в один ряд с либерализмом и социализмом, каковые также осуждаются на том же основании. Но тем самым упускается из виду специфичность коммунизма. Более того, это означало, что противопоставление «справедливое/несправедливое», свойственное естественному праву, подменяется другой парой — «христианский/атеистический», что предполагает постулирование некоего христианского общества, понятие которого невозможно даже определить и которое рискует прорасти различными утопиями «христианского мира». Но если мы сами помещаем себя в какой-то мере в ирреальном, тем легче мы теряем из виду фундаментальную пару, единственную, какую надо держать в уме, когда встает вопрос о коммунизме. Эта пара — «реальность/ирреальность», или, в другой плоскости, «истинное/ложное». В действительности не существует коммунистического общества, но есть коммунистическое господство над обществом, выживающим по мере возможности. Поэтому неточно утверждать, что при коммунизме «всякая власть и всякое повиновение имеет своим главным и единственным источником общество» или что коммунисты «заботу об очаге и детях возлагают на гражданское общество». Это неточно по той простой причине, что дети как раз изымаются из гражданского общества и само оно лишается легального права на существование. Если фактически соглашаться с тем, что коммунизм

действительно существует, то он, как всякая существующая вещь, призывается под власть божественного закона, и, следовательно, всегда остается надежда на то, что он может быть христианизирован. Это иллюзия, которую Пий XI, конечно, не разделяет; но она не пресекается в этой энциклике в своем корне. Поэтому она и расцветет впоследствии.

Коммунистическое обольщение начинается с того, что обещает спасение, совершаемое через рациональное — и исключительно рациональное — открытие некоего имманентного механизма в вещах, механизма, который одновременно и освящается, и приводится в действие доктриной. В этом смысле коммунизм принадлежит к типу древних гностических учений, относительно которых у Церкви есть очень древний опыт. Но тогда единственный вопрос, который остается задать, — это вопрос о том, является ли этот гнозис истинным или ложным, причем истинность или ложность должны анализироваться не только на уровне феноменов (научном), но также и на метафизическом уровне. Так вот: он ложен, и именно по этой причине коммунизм не может воплотиться в реальности. С этой точки зрения вопрос о том, является ли коммунизм атеистическим — имеет второстепенное значение, поскольку коммунизм подлежит церковному осуждению **в первую очередь** не за свой атеизм, но потому, что его радикальная ложность представляет угрозу человеческим существам, за которые Церковь ответственна, о которых она по меньшей мере заботится (независимо от того, христиане они или не христиане) и природный статус которых она должна защищать. Были и религиозные гностические течения, и даже такие (например, богомилы и катары), которые называли себя христианами: и тем не менее, в эпоху, когда духовная власть располагала мирской властью, эти течения не воспринимались как менее опасные. Как сформулировал П. Руло, коммунизм ложен не потому, что он атеистичен, он атеистичен потому, что ложен. Если бы он оказался «религиозным» или «христианским», он не был бы менее ложным, и его «христианство» стоило бы не больше, чем его сегодняшний атеизм.

Пойдем дальше и осмелимся сказать, что атеизм — это, возможно, то в ленинизме, что является в нем наилучшим или, по крайней мере, наименее плохим. В самом деле, ведь это единственное место, где ленинизм не лжет. В ленинизме все является ложью — его видение прошлого, будущего, настоящего, его научные и его исторические предпосылки — все, за исключением

того, что он атеистичен и хочет уничтожить религию. Посмотрим на его источники: источники его атеизма относятся к до-романтическому периоду. В этом пункте он наследник материалистического, механистического, критического XVIII века, то есть такого стиля мысли, который с трудом поддавался гностической обработке. Романтический гнозис хочет быть религиозным, и для того, чтобы он преломился в сторону антирелигии, надо было дожидаться левых гегельянцев и Маркса, вновь обратившихся к просветителям. Это еще счастье, что гнозису случилось застыть именно здесь.

До сих пор ленинистский коммунизм не заявил претензий на христианство. Но ему могло бы открыться, что в его интересах отказаться от этой дорогостоящей откровенности и интегрировать христианство так же, как он якобы уже интегрировал науку и философию. Тогда порча достигла бы апогея — того, что в книге Даниила названо «мерзостью запустения». Идол — в храме. Со стороны Церкви было благоразумно присмотреть за этими так называемыми «диалогами» между коммунистами и христианами. От них ждать нечего, кроме решающего прогресса идеологии, на который сама она уже не способна своими собственными силами, хотя многие усердные религиозные люди и пытаются ей в этом помочь.

В 1937 году «диалогов» не было. Коммунизм был недвусмысленно осужден. Но он не был понят во всей глубине, и, к несчастью, природа его была такова, что осуждение могло быть эффективным, лишь если бы оно вытекало из его понимания.

Но пятью днями ранее папа издал другую энциклику, о «положении католической Церкви в германской Империи»: «Mit brennender Sorge». Так Церковь встретила нацистский вызов.

IV. НАЦИЗМ

О коммунизме Церковь судила, в общем, со стороны, потому что коммунизм в конечном счете пришел к власти за границами католичества. Приход к власти нацизма затрагивал уже немецкую Церковь, одну из наиболее славных и значительных Церквей католичества. По этому вопросу мы располагаем книгой Гюнтера Леви, хорошо документированной и достаточно беспристрастной; при чтении она производит тем более убедительное впечатление, что ее автор во всем придерживается умеренных позиций. Отно-

шение Церкви к евреям, как нам показалось, является в этой истории тем элементом, который связан с наибольшими последствиями.

Наивно ожидать, чтобы Церковь для многих, состоящая из людей, и людей грешных, в столь исключительный период вела бы себя безупречным образом. Легко возмущаться, глядя на события ретроспективно. Надо, чтобы обвинители представили доказательства того, что в сравнимых обстоятельствах они повели бы себя лучше; чтобы осуждение преступлений прошлого не оправдывало бы спокойного равнодушия к сегодняшним преступлениям. Во всяком случае, возмущение свидетельствовало бы о недостаточном чувстве истории. Немецкая Церковь вела себя ничуть не лучше и ничуть не хуже, чем любая другая институция внутри немецкой нации. Не следовало бы ожидать чего-то иного, потому что так обстояло дело всегда и везде и так — если не хуже — будет обстоять в будущем.

Как и в библейские времена, был **остаток**, иначе говоря, среди океана малодушия — островки храбрости. Гюнтер Леви приводит воспоминание о праведнике, настоятеле Лихтенберга, принявшем свою веру настолько всерьез, что он пошел на смерть вместе с невинными. Тот факт, что в тот же самый момент кардинал и архиепископ Берлинский рекомендовал крещеным евреям приходить на самую раннюю мессу, с тем чтобы таким образом они не смущали и не задевали своих арийских братьев, — этот факт должен вызывать меньше удивления, чем предыдущий.

Важно понять, посредством какого приспособления процветающая, ученая, добродетельная Церковь пришла к такому состоянию. Ответ очевиден: потому что она этого не замечала. После прихода к власти Гитлера и быстрого обращения в нацизм большей части немецкого населения происходит проникновение нацистов-католиков в приходскую среду, в среду мирян, священников. Но сопротивляться этому наступлению было нелегко: перед его лицом и мысль, и политика немецкой Церкви были слишком уязвимы. В действительности физическому вторжению в Церковь нацистской орды с давних пор предшествовало вторжение (или, по меньшей мере, парализующее мозги влияние) идеологии, мало-помалу утверждавшей свои схемы, свой язык и свой способ постановки вопросов.

Религиозная мысль Германии — возможно, в еще большей степени, чем французская мысль, — пошла на союз с романтизмом в борьбе против своих либеральных врагов, франк-масонов,

вольнодумцев, среди которых было немало евреев. Поэтому она была плохо подготовлена для сопротивления соблазнам, которые были представлены почвенными, национальными, народно-общинными течениями, со временем подкреплявшимися «научным» аппаратом. Старинный анти-иудаизм мало-помалу превращается в антисемитизм, в расовом смысле этого термина. В своих знаменитых проповедях по поводу воцарения Гитлера в 1933 году кардинал Фаульхабер отметил, что Церковь «ничуть не возражает против стремления сохранить, по возможности, в чистоте национальные черты народа, не возражает против такого поощрения его национального духа, которое придает особый смысл кровным связям, освящающим его единство». Значительная часть клира — и даже высшего клира — в конце концов бессознательно приемлет деление человечества на арийцев и неарийцев как нечто само собой разумеющееся. Например, Монсеньер Грёбер (в 1939 г.) говорил: «Никакой народ не может избежать столкновения между собственной национальной традицией и марксизмом, который противопоставляет себя национальным связям и проводником которого являются, главным образом, еврейские агитаторы и революционеры». Этот же епископ в одном из своих пастырских посланий допускал, что Христа нельзя превратить в арийца, но утверждал, что Он существенно отличался от евреев своего времени. И Монсеньер Хильффрих: «Христианская религия в своем истоке не связана с природой этого народа, т. е. на нее не оказали влияния расовые черты евреев».

Коль скоро эта концепция мира принималась как данность, как некая объективная рациональная основа, исходя из которой предстояло определять себя в моральном плане, воля Церкви оказывалась уже не свободной: она была предопределена той искажающей схемой, внутри которой она была замкнута. Церковь тем самым считала как бы естественным, что Государство пытается уберечь Германию от еврейской опасности, но зато она, — связанная с этим Государством лояльностью в основных принципах, в том числе в данном вопросе, — просила, чтобы Государство вело себя умеренно и прилично по отношению к евреям. Она требовала нацизма с человеческим лицом. Понятно, разумеется, что каждая капитуляция, на которую Церковь шла, чтобы уладить положение, не обострять без нужды вопроса и т. д., вскоре влекла за собой еще более постыдную капитуляцию.

Это — парадигма, имеющая значение при любом идеологическом режиме. Если противопоставление «еврей — ариец» заме-

няется противопоставлением «капитализм — социализм» и Церковь попадает в обстоятельства, которые приводят ее к согласию с такой постановкой вопроса, ей не останется ничего другого, как просить, чтобы власти вели себя благопристойно по отношению к «буржуа» или к тем, кого власть обозначит в качестве таковых. С тем же успехом.

Прежде, чем перейти к окончательному решению, хотелось бы на мгновение покинуть место событий, с тем чтобы взглянуть с более общей точки зрения на четыре главных действующих лица нашей истории: христианина, еврея, коммуниста и нациста.

Коммунизм во многих отношениях может рассматриваться как *perversa imitatio*, карикатура христианства. Он обещает всеобщее спасение — выход из всех ситуаций и спасение для всех народов. Его средство экспансии — распространение слова. Он распространяется, главным образом, через обращение. Структура партии напоминает структуру гностических, манихейских церквей или церкви катаров, с жестким разделением между посвященными и простыми сторонниками: посвященные обладают всеми правами и несут наиболее тяжелые обязанности, в то время как простые сторонники, будучи на службе у посвященных, распоряжающихся ими по их усмотрению, не имеют никаких прав, но несут более легкие обязанности. Возможно, что эта партия, когда о ней мечтали до Ленина в кругах народников, и имитировала более или менее осознанно сатанинский облик Ордена Иезуитов — модель, содержащуюся в черной антииезуитской легенде. Нужды в такой имитации не было, потому что «гностическая» составляющая большевизма спонтанно вырабатывает такую структуру. Главный, первородный враг коммунизма есть, таким образом, то, перевернутой фигурой чего он является, а именно Церковь — и, как кажется, Церковь католическая скорее, чем Церкви протестантские, менее иерархичные, или чем Церкви православные, менее универсалистские. Именно поэтому Церковь рано осознает свой антагонизм к коммунизму, пусть даже поначалу это осознание скорее инстинктивно, чем продуманно.

У иудаизма не было тех же оснований, чтобы остерегаться. Евреи центральной Европы, наполовину отошедшие от уже давно расшатанных общин, могли связывать свои надежды с движением, обещавшим им, наряду со спасением, полную эмансипацию. Коммунизм нес разрушение того, что они приучились ненавидеть: преследующего их христианства, дискриминирующих старых режимов, а также, во многих случаях, ярма их собственных законов

и тягот их собственной среды. Вот почему в двадцатых годах столько евреев впуталось в большевизм, дав новый повод для антисемитизма и, в частности, для христианского антииудаизма. Евреи не предвидели, что этот коммунистический универсализм потребует от них сначала явного разрыва с их собственным народом, затем окажется чреват исключительным отношением именно к этому народу, от которого его члены отреклись или не отреклись. Иначе говоря, наступление коммунизма сначала предполагает уничтожить Церковь как своего главного врага, затем — Синагогу как корень и исток Церкви.

Под тем же углом нацизм может рассматриваться как *per-versa imitatio*, карикатура иудаизма. Он представляется как освобождение народа, которому присуще избрание. Его цель — завоевание земли, оправдываемое этим избранием, и средство его экспансии — война. Он не намеревается кого-либо обращать, но дает народу (членами которого становятся по рождению и иногда через усыновление) средство для самоорганизации и победы под водительством вождя, указанного Провидением. Поэтому его прямым, прямо провозглашаемым врагом является еврейский народ, избранности которого он завидует и которую он оспаривает.

У нацизма в Германии было много источников, христианских и нехристианских. Среди специфически религиозных мотивов, содействовавших тому, что столько христиан спуталось с ним, надо обратить внимание на вклад маркионизма. Противопоставление Ветхого Завета Новому, Бога Моисея Богу Иисуса — соблазн, державшийся неподалеку от Церкви, начиная с ее самых отдаленных истоков. В современную эпоху этот соблазн, возможно, был наиболее настойчив именно в романтической Германии. Здесь — одна из тех редких точек, где сходятся традиция, идущая от Канта, и традиция, идущая от Гегеля. Вот почему нацистские власти открыто предлагали ослабленным и запуганным Церквам отрезать еврейский корень, вырвать у Израиля его избранность. Надо ли после этого удивляться тому, что некий Монсеньер Гильфрих пришел к утверждению, что христианство не должно рассматривать как еврейское произведение: «С тех пор, как наши предки его приняли, оно находилось в самом тесном союзе с германским духом». Однако для нацизма характерна стремительность эволюции, и, уничтожив Синагогу как своего главного врага, он перешел вскоре к нападению на Церковь как привитую ветвь, прививок Синагоги. В ответ на настойчивый запрос немецких епископов Пий XI и издал «*Mit brennender Sorge*».

Нет смысла долго задерживаться на этой энциклике, быстро устаревшей ввиду наступивших событий. Принимая во внимание эти последние, хотелось бы отметить три ее черты.

Первая — это недвусмысленное осуждение маркионизма в русле того направления, в котором уже высказывались многие немецкие епископы. «Кто хочет, чтобы из Церкви и из школы была удалена библейская история и мудрость Ветхого Завета, тот хулит имя Бога, хулит спасительный план Всомогущего, делает узкую и ограниченную человеческую мысль судьей божественных замыслов об истории мира». Эта тема разворачивается в полной мере.

Можно задаться вопросом о том, не лишилось ли это теоретическое осуждение маркионизма какой-то доли своей подлинности, коль скоро оно не сопровождалось осуждением его практики, то есть недвусмысленной защитой народа, сохранившегося от библейских времен, чтобы свидетельствовать о Ветхом Завете. Ведь в этой замечательной и действительно смелой энциклике евреи просто-напросто не упоминаются. «Миф Крови и Расы», конечно, подвергнут осуждению (хотя «никто не думает, конечно, преграждать пути, который должен вести немецкую молодежь к образованию подлинной этнической общности»), но антисемитизм как таковой не осуждается и даже не называется. Несомненно, этот пропуск, это молчание Пия XII является — в ретроспективе — наиболее поразительной чертой этого текста.

Третья черта — это определенный взгляд на нацизм. Так же, как «*Divini Redemptoris*» не видела разницы между большевизмом и социализмом, точно так же «*Mit Brennender Sorge*» не замечает по существу такой же дистанции между фашизмом и нацизмом. Обе энциклики склонны еще более очернить то, что само по себе уже плохо. Верно, что в условиях того времени Церковь уже имела опыт соглашений с фашистскими режимами, среди которых она жила. Под фашизмом я понимаю не ту сатанинскую сущность, в которой фашизм объединяют с нацизмом, как это всегда делали коммунисты, мало-помалу вынудив к тому же и других. Фашизм — это тот полу-популистский, полу-националистический режим, который правил в Италии, в Португалии, в Испании, в Венгрии, который был авторитарным, но не был тоталитарным, который имел «вождей», но по сути дела не выработал своей идеологии, режим, с которым Церковь могла вполне законно заключать соглашения. Соглашение того же типа папа подписал и с Гитлером, и оно сразу же было грубо нару-

шено. Здесь папа еще раз столкнулся с идеологическим режимом, который, в силу неверно избранных категорий, папа смешивал с тираническими или деспотическими режимами; с такими режимами Церковь была знакома с самых древних времен, теперь же речь шла о чем-то совсем другом. Так было и с большевизмом, и опять-таки это было связано с идеологией.

Мы подошли к эпохе «окончательного решения». По поводу известного «молчания Пия XII» я удержусь как от возмущенных, так и от апологетических оценок. Представляются бесспорными два факта, но между ними, к сожалению, нет сколько-нибудь отчетливой связи. Первый факт: на фоне пассивного малодушия и активной злонамеренности многих было немало христиан — среди них священники и епископы, и даже сам папа, — приходивших на помощь преследуемым; они делали это, рискуя и порой жертвуя жизнью. Это было особенно характерно для французской Церкви. Другой факт: папа, до которого наверняка доходили слухи о том, что происходит в Освенциме, хранил в течение всей войны полное молчание и не осмелился осудить происходящее перед мировой общественностью.

В оправдание этого приводят обычно два довода, от которых нам теперь легко отмахнуться, но которые следовало бы взвесить всерьез. Первый довод состоит в том, что папа заботился о безопасности Церкви или Церквей. Решение о том, что стоит предпочесть — риск разгрома или компромисс, — является решением политическим. Глядя ретроспективно, кажется правдоподобным предположить, что если бы торжественное осуждение было произнесено в 1943 или 1944 гг., это не повлекло бы за собой ответных акций, выходящих за рамки известного грубого обращения, может быть заключения в тюрьму, почетной высылки, неудобств, связанных с выселением римского персонала, неприятностей обыска. Кто может это знать? Во всяком случае, тогда этого никто не знал.

Второй довод: сознавая коммунистическую опасность, папа не хотел предпринимать ничего, что могло ослабить Германию, страну, которую он любил и высоко ценил. В обильной литературе о молчании Пия XII тот факт, что молчание было мотивировано страхом перед коммунистической угрозой, антикоммунизмом, рассматривается в общем как отягчающее обстоятельство. Однако сегодня ясно, что по сравнению с нацизмом коммунизм — дело куда более значительное, более серьезное в смысле опасностей для всего человечества. Каким бы отвратительным ни был

нацизм, нельзя упускать, что — только в период между 1933 и 1945 гг. — коммунизм Сталина по многим пунктам побил все рекорды по уничтожению людей. Нельзя упрекать папу в том, что он сознавал это более отчетливо, чем Рузвельт, де Голль или Черчилль. Остается лишь неясным, было ли молчание папской власти об окончательном решении наилучшей антикоммунистической политикой.

Примечательно то, что на папу взваливают тяжелую ответственность за это молчание. Пусть так, но разве лучше вел себя Рузвельт, который был информирован не хуже и ничем не рисковал? А сделала ли огромная и процветающая американская еврейская община все, что было в ее власти? Нет, и следует подойти к этой истории трезво: мы не можем поместить себя в атмосферу безумной эпохи, безумие которой уже отличается от нашего. Все дело только, однако, в том, что папа оставался папой, а жертвами стали евреи. Это обстоятельство сильно сказалось впоследствии на положении Церкви.

(продолжение следует)

Литература и жизнь

Инна ЛИСНЯНСКАЯ

КОВЧЕГ

1.

Сквозь сон я чувствую плечом
То птицу, то зверька и даже
Сквозь сон толченым кирпичом
Я оттираю медь от сажи —
Дверные ручки и мою
Мучительницу-керосинку,
И всё о юности пою,
Пою и плачу под сурдинку,
А копоть, мягко воспарив
Под самый потолок ночлега,
Витают, словно негатив
Когда-то виденного снега,
Не вижу неба и земли,
Не вижу моря и не слышу,
Да и не вспомню, как пришли
Под эту временную крышу,
И сколько дней и сколько лет
Прошло в вялотекущей сваре,
Меж нами праведников нет
И всякой твари не по паре,
Пьет брат угрюмо, и сестра
От скуки ненавидит брата, —
И далеко нам до утра,
И далеко до Арарата.

2.

Творцы и потребители утопий,
Витийствуем и не подозреваем,
Что этот мир — потоп, и что в потопе
Мы до сих пор всем миром пребываем.

Скрипит луны космическая шляпка,
Расшатана и Звездная Телега,
А наша белопенная голубка
Еще не выпущена из ковчега.

МАГДАЛИНА ПЕЛА:

«Я к тому добра,
Кто не мной утешен,
Я тому сестра,
Кто премного грешен.
Заповеди чту,
Избегаю правил,
Я ль не дочь тому,
Кто нам крест оставил»...

Пахло от окна
На дворе московском
Горечью вина
И горящим воском,
Кудри на плечах
Золотили тело,
При одних свечах
Магдалина пела.

*
**

Напрасно выбили
Из рук моих вино! —
Я сладость гибели
Предчувствую давно.
Но не цыганская
Влечет меня толпа,
А каторжанская
Мерещится тропа.
Средь снега вешнего
На третью на зарю
Я обрусевшего
Христа на ней узрю.
Магдальским мирром

Здесь не пахнет и в жару,
Оленьим жиром
Я ступни Ему натру,
Власы распустятся,
Прильнут к Его ступне, —
Ужель отпустится
Мое бесовство мне,
И с успокоенным
Я упаду лицом,
Когда конвойные
Прошьют меня свинцом.

*
**

Есть у меня лампада
И дерево и Русь,
Где я живу, как надо,
И мыслить не берусь.

Кусочек мироздания
Пылает с двух сторон,
По краскам угасанья
Я вижу — это клен.

А как на ладан дышит
Страна во цвете лет
Увидет и опишет
Эпический поэт

И подтолкнет страдальца
И жертву к алтарю...
А я на всё сквозь пальцы
Или сквозь сон смотрю.

*
**

Я в зеркало гляну, бывало, —
По горлу прокатится дрожь —
Там черная совесть зияла
Глазами моими, и все ж

Покамест опалы и смерти
Страшилась я пуще зеркал,
Глагол, как младенец в конверте,
Дремал и пустышку сосал.

Баюкало снежное поле,
Укачивал южный камыш:
Дремли да не думай о воле,
Дремли, а не то угодишь...

И вдруг я забыла о страхе
И ведаю, что меня ждет,
Но горло, готовое к плахе,
Открыто и вольно поет.

Нет-нет да приснится конвойный
И чей-то затылок в строю,
Но утром почти что спокойно
Я зеркалу в очи смотрю.

*
**

В мире людном — в доме одиноком —
Раскрываются окна весны,
День сплошным протекает потоком,
Ночь дробится на звезды и сны.

Но никто никогда не узнает,
Не узнает никто никогда,
Чья звезда, как свеча, оплывает,
Чью звезду заливают вода.

А с моей ничего не случится,
И никто никогда не поймет,
Что чужая страна мне не снится,
А родная заснуть не дает.

ПРОЩАЛЬНАЯ ПЕСНЯ

Но прости-прощай!
Хлебом не страшай,
Я ведь шла не для
Твоего рубля.
Я ведь шла к тебе,
Как судьба к судьбе,
Как к ребру ребро,
Как к крылу крыло,
Да не приросло
Одиночество
К одиночеству.

*
**

...Но разве это новость для других
И разве это для тебя догадка?
Однако и при взрывах мировых
И в тихих заводах миропорядка

Всего труднее быть самой собой, —
Сестрой дождя, подругой снегопада,
И знать, что между небом и землей
Тебе иных посредников не надо.

*
**

Нет безлюдных домов, есть бездомные люди.
Как сказать! Посмотри хоть на это село!
Толстый иней на окнах лежит, словно студень
И сугробы на каждый забор намело.

Не залетят петух, не залает собака,
Даже тени покинули эти места,
Только память глядит, существуя двойко —
Сверху в виде звезды, снизу в виде креста.

*Из Узла II,
« Октябрь Шестнадцатого »*

62

(31 октября)

В этот четверг старшей дочери Ольге исполнится 21 год. Немало! Не будь она царской дочерью — уже могла бы выйти и замуж. Но, обречённая на дворцовый и династический плен, она может иметь только тайную воображаемую привязанность, не открытую даже матери. Тем более, что Ольга очень несочувственно относится к каждому наставлению, дует на строгость, изо всех четырёх дочерей она наиболее упряма и с переменчивым, неуловимым настроением. Ей особенно кажется скучным слушать, как воспитывали прежде, она может вспылить и резко ответить, глядя при этом в глаза. Но и — осанка у неё какова, при росте, золотокудрых волосах, голубых глазах, — с 16 лет она стала шефом одного из гусарских полков, очень этим гордилась, особенно — выехать верхом в гусарской форме. Ученье давалось ей легко, но оттого она и ленилась, и не была слишком образована.

Долго государыня не допускала мысли, что дочери — взрослые, но вот уже спорить нельзя, старшие две — взрослые.

Когда освобождалась она от терзательных государственных забот, от поспешности написать, передать, принять, распорядиться, — она постоянно, помногу и даже с мучительным страхом думала о будущем своих дочерей. Какая судьба их ждёт? Кто их сужены? В какие страны придётся им уехать навсегда? Жизнь — загадка, и будущее скрыто завесой. А главное: дано ли будет им найти такую безоглядную, непрерывную любовь и такое счастье, какое Александра сама испытывала с ангелом Ники уже 22 года? Увы, такая любовь всё большей редкостью становится в наши дни.

И — в каком мире придётся им жить? После нынешней войны — будут ли существовать идеалы или люди останутся тепе-

решними сухими материалистами? Что за эпоха! Людские впечатления чередуются чрезвычайно быстро, машины и деньги уничтожают искусство. Ни в одной стране не осталось ни крупных писателей, ни музыкантов, ни художников, а у тех, кто считает себя одарёнными, — испорченное направление умов.

В их ближайшей узкой семье была и другая Ольга — сестра государя. И после длительных её настояний согласились теперь разрешить ей развод с Петей Ольденбургским, — и она выходит замуж за его адъютанта, ротмистра кирасиров, — как раз в эти дни, в эту пятницу, произойдет их скромное венчание в маленькой киевской церкви над Днепром, поставленной на том месте, где прежде был идол Перуна. Большие сомнения у государыни были относительно этого брака: ещё одно морганатическое пятно на династию, где три-четыре уже стоит крупных. Но и — кому не жаждалось личного счастья? И с каким сердцем отказать?

Девочки были воспитаны Александрой Фёдоровной (оттого она много лет не могла успеть на помощь государю в его делах). Сама воспитанная при небольшом, небогатом дворе, в знании цены деньгам, в бережливости и трудолюбии, — она упорно проводила это и с дочерьми: платье и обувь переходили от старших княжён к младшим, и ограничивались игрушки, — такая система нужна была самой матери для душевного равновесия. (Она и сама-то не была увлечена роскошью и могла носить платья годами, ей напоминали, что надо шить новые.) Александра Фёдоровна оберегала своих дочерей от дружбы с пустыми барышнями знати, также и от других великих княжён, двоюродных и троюродных сестёр, чьё воспитание казалось ей несносным (и так прорезались новые борозды обиды в династии). Сама зная много ручной работы, хорошо владея машинным шитьём и вышиваньем, мать старалась передать навыки дочерям, не разрешала им сидеть сложа руки. Правда, по-настоящему всё перенимала, владела талантом рукодельницы, имела ловкие руки одна Татьяна. Она шила блузы себе и сёстрам, вышивала, вязала, и она же часто причёсывала мать, что было нелегкой работой. И всегда была за делом. Она и во многом напоминала мать: редко шалила, была сдержана, горда, скрытна, но и лучше всех понимала внушения и сама напоминала сёстрам волю матери, за что те дразнили её «гувернанткой». Любящая, терпеливая девочка, она будет утешением родителей в старости.

Воспитанная при скудном гессенском дворе в приложении рук, государыня в России удивлялась, как барышни высшего

света ничем, кроме офицеров, не интересуются. Стала она создавать общества рукоделия — для дам и барышень, работать вещи для бедных, — но им эти общества быстро надоели и рассыпались. Зато устраивала государыня — то в Царском Селе школу нянь, то в царском парке — дом для инвалидов японской войны, где учились ремёслам, то в Петербурге — школу народного искусства, где девушки со всей России обучались кустарному делу. (Тут было и убеждение её, что сила трона — в народе, а через развитие народных искусств удастся ближе узнать страну, крестьян, губернии и быть в действительном единении со всеми.) В Крыму она строила на свои деньги санатории для туберкулёзных, устраивала базары в их пользу, сама для них с дочерьми вышивала и сама на них продавала, выстаивая по много часов кряду на своих слабых больных ногах.

Когда грянула эта ужасная война, — государыня сразу деятельно принялась за систему лазаретов, госпиталей и санитарных поездов, многие из них сооружая на собственные средства, в том числе — ближайший к себе лазарет в Большом дворце Царского Села, названный «Собственным Ея Величества лазаретом». Деятельная Татьяна возглавила свой отдельный санитарный комитет, в помощь беженцам. Тогда же вместе с двумя старшими дочерьми и Аней Вырубовой прошли курсы сестёр милосердия военного времени, учились у хирурга, проходили практику рядовыми сёстрами в своём лазарете — снимали с раненых кровавые бинты, обмывали, участвовали в перевязках, помогали при операциях, — Александра Фёдоровна подавала и инструмент, не боялась крови, гноя, рвоты, и не смущалась, что при этом утрачивает царственный ореол. Она научилась и быстро менять застилку постели, не беспокоя больных, и делать перевязки посложнее (и перевязывала сама себя), — и была высоко-горда, заработав диплом сестры и нашивку красного креста.

Из них четырёх капризной Ане госпитальная работа быстро надоела, она стала отнекиваться, да через полгода сама попала в катастрофу и в госпиталь. У обеих девочек пошла настоящая регулярная работа уже третий год, особенно успешная у Тани (на этих днях назначена впервые давать сама хлороформ). Александру же Фёдоровну истинно тянуло к перевязочной и хирургической, она радовалась, когда могла там поработать, это её успокаивало. Но изрядно она поработала только в первый, 1914 год, да немного этим летом: предел поставило собственное здоровье. То не выстаивали её ноги длинных операций, то она лежала при-

кованная болезнями, прошлую зиму даже четыре месяца подряд, лазарет Большого дворца не могла ни разу и посетить. А ведь ещё должна была она объездить с инспекцией и множество других госпиталей (где их только ни устраивали — в банках, в театральных залах), и по другим городам, и санитарных поездов.

Но и с этим бы всем справиться было ещё не так трудно, — а надо было сохранять силы для государственных забот и решений.

Однако же и какое это счастье, когда в управлении государством можно пользоваться советами и многоопытностью Человека, посланного Богом! Благодарно получать плоды Его духовного зрения и на каждый важный шаг испрашивать Его благословение. И в одной французской книге тоже прочла Александра: «Государство не может погибнуть, если его повелитель направляется Божьим человеком».

А послано было Его узнать — сперва через спасения сына. От младенчества проступила жуткая болезнь Алексея, великая радость рождения наследника сразу была огружена постоянным трепетным страхом. Не только малый порез был страшен ему, но ударился ли он рукой, ногой о мебель — появлялась огромная синяя опухоль как знак внутреннего кровоизлияния, и мальчик должен был долгие дни лежать. Мать сама его купала, не выходила из его детской, забывая, что она ещё и царица. Все детские игры и шалости были ему от начала запрещены: никакого велосипеда, тенниса, ни даже беготни. Как у всякой матери болит детское за своё, — так болел у Александры каждый ушиб и каждая неудача сына. А мучительней всего было постоянное сознание своей перед ним вины: все эти страдания — она невольно принесла ему сама! Знала она об этом пороке своего рода: её родные — дядя, сын королевы Виктории, и маленький брат, умерли от этой болезни, и несколько племянников страдали ею же. Знала, но всегда человек надеется, и надеялась Александра, что — пронесёт. И была за что-то наказана, — нет, мальчик наказан был.

Страшные с ним бывали случаи, и в них самое страшное, что порой терялись, отказывались лучшие, привычные доктора. И вот тут-то появился Святой Человек, — и довольно было его прикосновения, а иногда только взгляда или слова — и мальчик начинал выздоравливать. И уже было твёрдо известно матери: если только Он посетит сына — сын поправится. А четыре года назад Алексей неудачно прыгнул в лодку в Скерневицах — и три недели был между жизнью и смертью, три недели кричал от боли, лёжа

с поднятой ногой, которую нельзя было выпрямить. Лицо его стало восковое, крошечное, с заострённым носиком, и доктора Фёдоров и Деревенко склонялись, что состояние его безнадежно. И сам мальчик, в 8 лет, уже понимал, просил: «Когда я умру — поставьте мне памятник в парке, в Царском Селе». Это всё случилось в Польше, а Друг — в Сибири был в это время, и как последний крик послали ему телеграмму, — и он ответил телеграммой: «Болезнь не опасна, как кажется, пушай доктора его не мучат». И — всё! И сразу за телеграммой наследник стал поправляться! Разве не Чудо?

А прошлой осенью Алексей поехал с отцом в Ставку (с ужасом она отпускала сына, но и нельзя было обречь государя в Ставке на жуткое одиночество), — а там вдруг началось кровотечение из носа, настолько непрерывное, что доктора не могли остановить. Пришлось государю тотчас покидать Ставку и гнать царский поезд домой. Привезли, перенесли, мать на коленях стояла у кровати, — кровотечение неотвратимо продолжалось, вот так и должен был он изойти до конца теперь! Но тут вызвали Григория Ефимовича, он вошёл в комнату, широко перекрестил наследника — «Не беспокойтесь, ничего более не надо!» — и уехал. И кровотечение прекратилось на этом. (И большого — не было с того дня.)

Так и знали теперь, Друг и сам говорил: «Если меня близ не будет — не выживет наследник».

Будь это всё в Европе — искали бы докторов, сверхдокторов (хотя — знаменитых не любила Александра, и скромного Евгения Боткина предпочитала его прославленному брату Сергею). Но в каждой местности на земле лечатся люди тем, что есть в местном обиходе — где полярным мхом, где полевой травой, где водорослями. В обиходе же России всегда были ещё — странники, Божьи люди. Именно в России есть такие люди, не непременно священники, но называемые старцы, которые обладают благодатью Божьей и чью молитву Господь особенно слышит. Именно такого — странника, старца, Божьего человека, и послала православная Россия, простой народ — для спасения их сына, а может быть и трона. Для чего ж и быть православному царю, если не общаться и не слушать вот таких людей из глубины народа! И обрела его императорская чета почти тотчас после потери своего первого Друга, мсьё Филиппа: те же сёстры-черногорки, великие княгини, позвали государыню познакомиться у них дома с этим Божьим человеком. Государыня взглянула — и поверила в него, в этот

вид, который нельзя придумать, в котором нет ничего деланного: высокий рост, и немного пригорблен, в русской рубахе и сапогах, исхудалое, даже измождённое бледное лицо, пронизывающие, испытующие и властные серо-голубые глаза, косматые пучки бровей, косо уложенные волосы, иконная строгость и уверенная сила. Особенно поражала уверенность его высказываний как имущего власть. Он был — как ожившая народная картинка: святой человек из народа, не символический, не собирательный, а живой, до которого можно было дотронуться рукой и слушать, — а говорил он, полуграмотный, ещё от того ярче, говорил так необычайно, как императрице не приходилось слышать, рассказывал интересно и рассуждал духовно. Он знал много из Священного Писания, а своими ногами исходил Россию, многие лавры и монастыри. Он воспитался в молитве, постах, — а мяса и молочного вообще уже не ел.

Со встречами и с годами государыня всё более убеждалась, что это и есть тот избранник Божий, который спасёт их династию, ставшую под угрозу. Сила Его молитвы была обширна, она помогала не только здоровью наследника. И не только оберегала на войне — каждого, за кого Он молился. И не только оберегала Его молитва самого государя на всех его путях (в эту войну государыня сообщала Другу заблаговременно тайны передвижений государя, секреты маршрутов, — чтобы направленной и достижимой была молитва, она старалась получить Его благословение на каждую поездку государя. Когда же ездил чета во враждебную Одессу, — Друг так усердно молился, что еле спал). Но обширней того: Его благословение и Его неустанная дённая и ночная молитва возносилась — за всё православное воинство, чтобы небесная сила была с ним, чтобы ангелы были в рядах наших воинов. И когда на фронте складывалось особенно серьёзно или предполагалось большое наступление, как на Юго-Западном, — государыня открывала Ему новые приказания Ставки, чтоб Он особенно обдумывал их и молился. Прошлой зимой Он очень досадовал, что начали наступление, не спросив Его: Он советовал бы подождать: Он всё время молится и соображает, когда придёт удобный момент, чтоб не терять людей без пользы, как Брусилов. Он всегда советует не так упорно наступать: при большей терпеливости прольётся меньше крови. Мешали нашим войскам затяжные туманы, — Аня телеграфировала Другу с просьбой о солнечной погоде (и Он, в телеграмме из Сибири, обещал её). Всей императорской семье и самому государю Он дарил об-

разки и иконы, а этим летом, когда государыня ехала в Ставку; послал икону и генералу Алексееву. (И если Алексеев принял её искренно, с подобающим настроением, то Бог, несомненно, благословит его военные труды.) И даже вот когда обдумывали, дать ли согласие на развод государевой сестре Ольге, — то и здесь за первым советом обращалась государыня к Другу.

Тревожной было, когда Он уезжал в Сибирь, много спокойней, когда в Петрограде, и можно встретиться или передать, спросить через Аню. А когда что-либо совершалось против Его желания, — сердце Александры обливалось кровью, в тоске и страхе.

А как он выражался! А какие прелестные телеграммы он слал — и как много мужества и мудрости они придавали!

«Чем бы дерево нечестивое не срубили — всё-таки падает. Никола с вами дивным явлением всегда творит чудеса».

«Колодец глубок, а у них верёвки коротки».

«В испытании радость светозарнее, Церковь непобедимая».

«Злой язык грош, похвальба копейка, радость у престола».

«Свет Божий над вами, не убоимся ничтожества».

«Никогда не надо слишком заботиться, Бог поможет и так».

«Будьте святы, как я свят».

Трудно передать, что́ он говорит, слова бессильны, нужно воспринимать сопровождающее их душевное настроение, так разлитое в его воспоминаниях о Палестине. А сколько он раздаёт бедным! каждая получаемая им копейка идёт на них. Он великодушен и добр ко всем, каким был Христос. На него даже многие епископы смотрят снизу вверх. (Государыне ужасно не нравилось, когда некоторые зовут его «Распутин», она отучала близких от этой привычки.)

Друг ночей не спит, готовя государю советы. Он умеет всматриваться в глубокое будущее, и поэтому можно положиться на Его суждения. Он говорит, что всегда надо делать то, что Он говорит, — этого хочет и Господь Бог. И сколько же трезвых, верных советов Он давал за эти годы, и особенно за военные! Отговаривал от вмешательства в боснийско-герцоговинский конфликт: нужно дома дела приводить в порядок. На колени опустился перед государем — удержать от вступления в Балканскую войну: враги только и ждут, чтобы Россия там завязла. И от этой теперешней, ужасной, удерживал: из-за Балкан не стоит миру воевать, и Сербия окажется неблагодарной, — и может быть удержал бы, если б не лежал раненый в Сибири. (И присылал удержи-

вающие телеграммы, а государь рассердился и откинул.) И не идти через Румынию к Сербии, и не призывать ратников 2-го разряда, и не призывать старше 40 лет, зато кроме русских призывать и татар, хорошо им однако всё объяснивши, и государю не посещать Львова и Перемышля — рано (и действительно пришлось, посетив, вскоре снести позор отдачи их). Сколькое бы текло в войне лучше, если бы слушались всех советов Друга! И Он же предложил устроить в один день по всей стране крестный ход и моление — и вскоре откат войск остановился. И Он же, не доверяя Николаше, велел государю брать Верховное Главнокомандование и никогда не уступать другим, которые знают меньше его. И несколько раз был против созыва Думы, — и никогда она не приносила ничего доброго. А когда открывали её в феврале Пятнадцатого, это Он придумал: чтоб Государь внезапно появлялся там и этим бы их обезоружил. Он всегда предупреждал, что ответственное министерство будет гибелью всего. И это Он догадался: что надо опубликовать сведения о растрате казённых денег Земгором (полтора миллиарда, сердце болело у государыни, сколько можно было лучшего сделать самому государству на одну четверть этой суммы), — Бог вдохновлял Его на все эти здравые идеи. А оставаясь близок к простонародью, Григорий видел многое глазами простого человека и тоже давал важные советы: не повышать трамвайную плату с пятака на гривенник; не запрещать раненым солдатам ездить в трамваях; в хлебных лавках велеть развешивать хлеб заранее, чтобы не было хвостов; и дрова в столицы до заморозков везти водою.

Уверенно предвещал Друг, что наступает слава царствования. Что близятся лучшие времена, и скоро война переломится к лучшему. И саму царицу радостно убеждал, что появление её, как и наследника, на фронте приносит счастье войскам, — и потому велел ей чаще ездить в Ставку, и видеть сами войска на смотрах, и больше ездить по городам и госпиталям.

И стыдно было государыне, что за всё это благословение, свет и радость, доставляемые Другом, не могла она выполнить его малой просьбы: не брать в армию его сына, ратника 2-го разряда, а уж если неизбежно брать, — то принять его в Сводный Гвардейский полк, на охрану царскосельского дворца.

Но для приятия всей мудрости Друга, его советов и указаний, надо было постоянно общаться с Ним — письмами, телеграммами (или новейшим средством телефона) и часто видеться. Однако, это было совсем не просто для императорской четы. Великосвет-

ская среда и образованное общество воспринимали бы такое общение с насмешками и зложелательством. И стесняясь гласности, как будут чесать все эти языки, встречи с Другом приходилось делать полуприкрытыми, даже тайными. Цари живут совсем не свободно — гораздо связанней своих подданных: они не имеют права на интимность! Всякий приём идёт через цепь придворных, а те могут разносить. И когда, несколько раз в году, царская чета принимала Григория Ефимовича у себя во дворце, — то проводили Его не в большую официальную приёмную, а боковым входом, в кабинет государыни. (Но через прислугу это разносилось ещё хуже, чем принимали бы Его в самом парадном зале.) Трижды целовались по русскому обычаю — и садились беседовать. Всегда это бывало — по вечерам, и приходил Алексей в голубом халатике, тоже посидеть до своего сна. Много говорили о его здоровье и о всех заботах императорской четы, и беседовали о Божественном, и Друг наполнял их упованиями и надеждой, и развлекал рассказами о Сибири. (На самом деле Он обижался: Он желал открытого приёма у царя и гордился, когда телеграммы ему посылала не Аня, но не боялись послать прямо от государевой четы.) В отсутствие государя государыня не приглашала Друга во дворец из-за крайнего злоязычия людей. (Например, родили такую сплетню, какой здравый ум может поверить! — будто Григорий Ефимович получил назначение от Фёдоровского собора зажигать лампадки во всех комнатах дворца.) А видется и спрашивать надо было часто! — в грозное лето прошлого года едва не через день, — и выхода не было, как встречаться у Ани в «маленьком домике», стоящем отдельно, но в Царском же Селе, — иногда по своей просьбе, иногда по Его вызову, ездить незаметно туда, а с Ним бывала иногда жена, а то и дочери, если приезжали из Сибири. Приходилось туда же иногда ездить и государю, когда Друг хотел непременно видеть его, изредка и без Ани государыня встречалась с Ним там, и там же иногда принимали кандидатов в министры, познакомиться, или Друг приводил кого-нибудь из епископов — и всегда бывал возвышенный умиротворяющий разговор. Иногда для встречи Друг приходил и в лазарет к государыне, — вот так приходилось и в царском положении обманывать злые подозрительные глаза! Иногда Он давал сведение в газеты, что уезжает в Сибирь, а сам оставался. Каждый раз перед поездкой в Ставку государыня должна была получить благословение Друга, без этого она даже не решалась ехать. А в этом году на великом посту вся импера-

торская семья и Друг вместе подошли к причастию в одном храме.

Но злословие — воздух этого мира. И об этом Святом человеке распространяли сплетни и лжи как о самом большом злодее, и даже родная сестра государыни верила этим сплетням — и на том сёстры расстались навсегда: враги нашего Друга — наши собственные враги. (Даже бывшего царского духовника епископа Феофана государыня отлучила за это.) Неизбежно было Ему стать жертвой зависти тех, кто хотел бы, но не удалось приблизиться к трону. Как всякий святой, Он должен был пострадать за правду, прежде всего от клеветы. Его возненавидели и обливали потоками лжи. То клеветали, что будто бы Он пьянствует! — Святого старца объявили развратником, похотником и связали этот разврат с царскою семьёй до таких мерзостей, будто он имеет вход в спальни великих княжён! Сочинили ложный протокол о якобы скандале в ресгоране, за что пришлось уволить шефа корпуса жандармов: если б это было всё так, почему ж не позвали тотчас полицию, чтобы застигнуть на месте? Да, наш Друг, как делали в старину, одинаково целует всех, и мужчин и женщин. Почитайте апостолов — и они целовали в виде приветствия. (Только над письмами разжалованного обозлённого Илиодора государыня дрогнула один раз — они показались ей правдоподобными. Но она отогнала, возмутясь сама собою.) И ещё нагородили на Божьего человека, что Он связан с немцами! — не имеет пределов зломыслие и глупость, но они очень выгодны революционерам.

Всё же для проверки государыня посылала Аню в родное село Григория — Покровское, за Тюменью. И подтвердилось всё лучшее: неводами ловят рыбу, как апостолы, притом распевая псалмы и молитвы, и огромные иконы развешены по двухэтажной избе. Впрочем, местный священник, конечно, не любит Григория, и среди односельчан Его не считают выдающимся.

Государыня много размышляла о Друге. Что ж, пророк не бывает признан в своём отечестве. Где есть слуга Господа — лукавый всегда старается вкропить зло. Он живёт для своего государя и для России и выносит все поношения ради нас. И сколько уже Его молитв было услышано! Над Россией не будет благословения, если её повелитель допустит, чтобы человек, посланный Богом на помощь нам и непрестанно молящийся за нас, — подвергался бы в нашей стране преследованиям. Бог не простил бы нам нашей слабости. И как только на Него начинают

больше нападать, — так все дела в государстве идут хуже. Григорий! Если и все на Тебя восстанут, — я никогда от Тебя не отступлюсь.

За последний год, с тех пор, как государь был чаще в Ставке, а ей досталось управляться в Петербурге одной, — Друг и прямо помогал в выборе министров и в руководстве ими. Распознавать сразу человека — составляет остроту, тяготу, а иногда и проклятье царского ремесла. Но Друг владеет этим качеством в совершенстве. Он имел длительные, хорошие, приятные беседы со Штурмером (и велел ему каждую неделю приходить к государыне с докладом), обедал то с министром финансов, то с министром торговли и промышленности. (Всё более они приучались, что по главным вопросам надо посоветоваться с Григорием.) Один раз, например, когда решали, достоин ли Хвостов-дядя заменить Горемыкина, — как было узнать? как его поведать? — Друг придумал пойти к нему на приём в качестве простого просителя, и так оценить. И оценил, что — не достоин.

По выбору новых кандидатов государыня до такой степени привыкла советоваться с Другом, что спрашивала у Него и о выборе градоначальников. Московского градоначальника Он одобрил. А с петроградским Оболенским вышла заминка, показывающая доброе сердце Григория Ефимовича и Его духовную отзывчивость. Он же первый и предложил убрать этого градоначальника, так как причиняет много вреда населению, совсем не справляется с продовольствием, допускает хлебные хвосты. Правда, он никогда ни в чём не выступал против Григория и поэтому тяжело просить его отставки, но так требует благополучие Петрограда. Перевести его куда-нибудь провинциальным губернатором? Но потом Оболенский зазвал Григория к себе на обед, доказал по списку, что выполняет всегда Его просьбы и плакал навзрыд, — и Григорий Ефимович ушёл глубоко растроганный: в духовном смысле это очень много значит, что человек с такой душой, как Оболенский, совсем перешёл к нам. Не надо его понижать, а взять или генерал-губернатором Финляндии, как он мечтает, или товарищем министра внутренних дел.

Защита Друга, понимаемая как высший долг, и вела соображения государыни — иногда относительно Думы (засидятся без дела — начнут разговаривать о Друге или тобольском епископе Варнаве) и всегда — о составе совета министров. (Состав прошлого года, навязанный Николашей, были презренные трусы, и все враги.) Мечта государыни была — так объединить кабинет, чтобы

все министры едино стояли за нашего Друга и прислушивались бы к Нему. Необходимость обезопасить Друга от преследований, нападок и неприятностей особенно сказывалась при выборе министра внутренних дел и обер-прокурора Синода. Например, Макаров, уже и бывший министром внутренних дел после Столыпина и с хорошим опытом, — никак не мог быть снова назначен из-за того, что он неправильно себя вёл в истории с Илиодором, и кроме того не только не вступался за государыню, но даже бесчестно показывал её письмо посторонним и даже относился к ней враждебно. (К сожалению, этим летом его всё же назначили министром юстиции, — но это не принесёт добра.) Нововступающему министру внутренних дел государь должен был объяснить с самого начала, что если он будет преследовать Друга сам или даже позволит о Нём гадко писать и говорить, — то он будет действовать как бы прямо против императорской четы.

Но тем острее стоял вопрос с Синодом: наиболее-то и ожидалось (и опасны были) духовные преследования — и самого Друга и Его сторонников-епископов. У государыни уже голова болела от поиска кандидатур в обер-прокуроры! Самарин был невыносим, но долго искали, кем же его заменить? Нет людей! Сперва выбрали Волжина (и Друг ведь одобрил!), — но едва назначили, — Волжин мгновенно оказался трусом перед Думою, боялся общественного мнения, боялся помогать митрополиту Питириму и даже — сослать подальше скотину архиепископа Никона Вологодского. Пока оставался Волжин — дела Церкви не могли идти хорошо, оказалось, что он совершенно не разбирается в них. Питирим писал, что нужно делать, передавал государыне, а она — государю, чтоб он приказал Волжину. Тут к счастью нашли Раева — прекрасного человека и знающего дела Церкви с самого детства. Его очень хвалил Штюмер, государыня его приняла — и он произвёл прекрасное впечатление. Ещё дали ему в помощь Жевахова — и вместе они будут истинным даром для Церкви. Теперь больше не было сопротивления тому, что надо в Церкви делать. Прежде всего — свои люди должны быть митрополиты: Питирима назначили из Грузии — петроградским, Макария из Томска — московским, а Владимира, вредившего всем нашим, переместили в Киев, там ему место. Всё, как хотел Друг. Чтоб укрепить Питирима, — государыня добилась ему отдельной поездки в Ставку на приём. Священника Мельхиседека произвели в епископы, и Друг намечал в нём будущего митрополита. Конечно, в Синоде ещё оставались против Варнавы — животные, нельзя их назвать

иначе. Синод всё ещё был неуправляемый, мог внезапно разразиться постановлением об учреждении в России семи митрополий вместо трёх существующих и даже успели опубликовать! — но Друг возразил: не соглашаться на 7 митрополий, мы и трёх-то приличных митрополитов едва можем найти. И государыня успела аннулировать постановление.

А сколько мучительных поисков было — найти для России достойного премьер-министра! — ведь нет, ведь нет людей! Часто восклицала государыня: о, Боже, где же у нас в России люди? Никогда она не могла понять, как в такой великой стране не находится подходящих людей на каждое место. Горько разочаровываешься в русском народе. Государь уехал в Ставку, занятый военными делами, а тут всё более выяснилось, что Горемыкин — слабеет, ему уже не вытянуть, и слишком одиозен для Думы, боялись, что Дума его ошికает. И государыня мучительно обдумывала своими бессонными ночами всякие возможные кандидатуры — и обсуждала их с Другом. И так — нашли Штюрмера, он — верный человек (и к Другу!), и голова его ещё вполне свежа — стоило рискнуть немецкой фамилией? Он высоко ставит Григория, что очень важно. Во всяком случае он годится на время, а дальше, если государю понадобится моложе, — можно будет сменить. И государь согласился, — но тут Штюрмер сам испугался своей фамилии и ходатайствовал сменить её на «Панин», по матери. Но и Друг и государыня сильно воспротивились: не менять фамилии ни за что! Пусть возмущаются, кому это угодно, возмущения неизбежны при любом назначении. Во вздорной борьбе с немецкими фамилиями уже уволили от должностей десятки, сотни верных слуг трона — и ещё где найти таких взамен? Штюрмер начал своё правление с заявления, что Россия не положит оружия до полной победы совместно с союзниками. И, как ни надрывалась всякая либеральная и революционная дрянь, — вот уже 9 месяцев, как благополучно стоял во главе кабинета.

Трагичней обошёлся выбор министра внутренних дел — жестокая ошибка с Хвостовым-племянником, который поначалу обаял, — ах, как можно обманываться в людях! Нужен был решительный характер, кто-нибудь такой, кто совсем не боится левых. Сперва видались с ним Друг и Аня и очень хвалили, затем он вымолил аудиенцию у царицы. Государыня жаждала увидеть человека — и наконец увидела и услышала такого! Это был — мужчина, не юбка, и такой, который не позволит, чтобы что-нибудь коснулось. Для государя он готов дать себя на части раз-

резать. И — верит в разум государыни. И стоит за Друга, никогда не позволит о Нём упоминать. И — русское имя. И — член Думы, так что знает их всех, и как с ними говорить, и как защищать правительство. С ловкостью и умом берётся всё поправить. И не пропустит неправильных статей в прессе. Работать с ним будет сплошное удовольствие! И удивительно умен. И говорит хорошо. И государыня рекомендовала супругу брать этого молодого министра без всякого сомнения. А государь оказался вдруг против, но по её настоянию всё же взял. Лишь потом, потом — в отчаянии вспоминала государыня, что у неё были какие-то сомнения: что пожалуй кандидат слишком самоуверен и быть может не совсем верный человек в некоторых отношениях. А тем временем случилось ужасное: Хвостовым в короткое время овладел дьявол, он круто переменялся, и не только стал против Друга, но обвинял его окружение в шпионстве и предлагал государю выслать Друга в Сибирь. Эти страшные 5 месяцев, пока Хвостов имел в руках власть, полицию, деньги, — государыня серьёзно беспокоилась за жизнь Друга и Ани. А когда его сняли, то государыня и Друг находили, что — слабо, надо было снять расшитый мундир и отдать под суд. (Страшно было видеть, как гневался Григорий — никогда она не видела Его таким!)

После этой грустной неудачи государыня пришла в апатию, и в начале 1916 года мало вмешивалась в государственные дела: в ней пошатнулась уверенность в себе. Потом, однако, вернулась. Да дела не стояли, а требовали, — и всё невольно ложилось на неё, пока государь в Ставке. И многие, лучшие министры просились к ней на приём, а худших — надо было отставлять. Как, как на каждое место найти людей, которые исполняли бы приказания? Очень много хлопот было с поиском военного министра. Язвительный Поливанов, друг Гучкова и предатель, и к тому же избранник старой Ставки, не мог оставаться! (Вот уж кто был изменник, а не Сухомлинов!) При смене Поливанова сразу подрезались крылья революционной партии, надо было спешить — ради трона, ради сына, ради России! Но много месяцев всё не могли и не могли найти ему замены, — и замену Шуваевым, издуманную при государе в Ставке, государыня не могла одобрить, сомневалась, чтоб он справился с обязанностями или, например, с выступлением в Думе. И Друг и сама государыня очень предлагали в военные министры почтенного старика генерала Иванова — вот уж у кого опыт, авторитет, — нет сомнения, что сердца всей Думы устремились бы к «дедушке». Но государь по-прежнему дер-

жал Иванова при Ставке безо всякого дела — и не хотел ставить его министром. Тогда с новой горячностью государыня стала настаивать на своём излюбленном выборе ещё во время Поливанова: аккуратный, исполнительный Беляев! (Она знала его по одному из своих попечительских комитетов — он никогда не чинил затруднений.) Это был бы разумный выбор! Если от штабной работы ему дать министерскую самостоятельность, — он будет очень хорош. И какой трудоспособный, и какой абсолютный джентельмен, как умело в делегации отвечал английскому королю и лорду Китченеру! И она знала его старую мать... И у него никогда не будет выпада против Друга. Увы, вместо повышения, государь почему-то сместил его с начальника Главного Штаба и теперь услал куда-то в Румынию. Но государыня продолжала надеяться, что настoit, и этот благородный генерал в ближайшее время станет нашим военным министром.

Поразительно, что даже при указаниях Друга, министры всё никак не подбирались лучшим образом, — настолько это была трудная задача! (Да ведь министры должны быть не просто министрами, но друзьями!) То просила государя назначить Наумова на земледелие, — и сама же потом просила уволить его, он себя не оправдал. То сомнение о Барке на финансах (многие здравомыслящие были против), и предлагала вместо него графа Татищева и потом отступила, может быть и правильно. То сама же настояла уволить Рухлова с путей сообщения как слишком старого, но опять вышла неудача: Александр Трепов был назначен без совета с Другом, а оказался враг Его. (Теперь вспоминала: да ведь ей и самой казалось, что он — несимпатичный человек!) И граф Игнатъев, просвещение, как будто приличный человек, а слишком бил на популярность, либеральными речами в Думе. И тоже по сути не подошёл, надо снимать. Но дольше всего изжидали Сазонова с иностранных дел — ещё с прошлого года, с бунта министров, невозможно было его терпеть — длинноносого, назойливого, чужого, вредного, — но всё не находилось дипломата, знающего всю границу. Наконец, терпение лопнуло, и в июле, в одну из поездок государыни в Ставку, уволили Сазонова, а министерство иностранных дел просто передали Штюмеру: куда теперь ездить во время войны? Но из-за этого впустили в кабинет Макарова на юстицию, а внутренние дела пришлось передать от Штюмера Хвостову-дяде, ненавидящему и Штюмера и нашего Друга, — и уволить его не было прямой возможности,

пока не отобрали у него директора департамента полиции, тогда он сам ушёл.

Какой-то рок наказывал министрами внутренних дел, — и можно было бы совсем придти в отчаяние, если бы в этом сентябре не догадался Григорий предложить одарённого Протопопова, с которым он был знаком уже 4 года, — и так горячо о нём говорил, что государыня уже была согласна, ещё и не повидав Протопопова. От такого должна была онеметь и замолчать Дума! Воистину, в его лице послал Бог настоящего человека.

Протопопов как бы завершил собой стройный дружный кабинет (теперь не хватало только Беляева, и ещё маленькие поправки). С этой осени, кажется, всё пошло хорошо и не ожидалось никакого кризиса. Штюрмер и весь год регулярно приезжал к государыне на доклады, прося аудиенцию через Аню, — и был рад, когда царица ездила в Ставку вместо него, его доверие просто трогательно. Постепенно государыня приучила и других министров — старого Хвостова, графа Бобринского, князя Шаховского, Барка, даже и Григоровича приезжать к ней на аудиенции, — а некоторые просили и государевых аудиенций через неё. Государыня поставила своей задачей заставить их работать дружно, даже Шаховского и Бобринского с Протопоповым. И она достаточно упряма, чтобы добиться своего.

Это особенно требовалось из-за продовольственного вопроса. Всё запутал когда-то хитрец Кривошеин, забрав продовольственное дело на себя, в министерство земледелия, — тогда как там и штатов особых нет (только много сторонников левых партий), — а у министерства внутренних дел во всех губерниях штаты, и Друг давно настаивал отдать хлебное дело им. Он давно тревожился: если будет недостаток продуктов в Петрограде, — будут в городе неприятные столкновения и истории. Да и стыдно так мучить бедный народ! Да и унижительно перед союзниками! У нас всего много, только не желают привозить, дошли до недоступных цен, всё запутали, а больше всего: запретом вывоза и ввоза между губерниями и насильственным отбиранием хлеба. Месяц назад, понуждаемые государыней, Протопопов вместе с Бобринским разослали губернаторам совместный циркуляр: о том, чтобы соблюдать крайнюю осторожность в применении принудительных мер. Протопопов говорил воодушевлённо: «Когда дурные люди хотят иметь успех, они всегда обращаются к народу, и тот к ним прислушивается. Так надо и нам: разослать людей по крестьянам, чтоб объяснили им, что не надо задерживать хлеб. И

крестьяне их послушают!» Протопопов уже вполне соглашался перенять всё дело в министерство внутренних дел, — вдруг последние дни стал что-то оттягивать.

На него произвела страшный шок встреча с главными думцами на частной квартире дней десять назад. Эти мерзавцы теперь не только не хотели сотрудничать со своим прежним товарищем, раз он стал служить трону, — но дерзко потребовали, чтоб он ушёл в отставку. Крайне взволнованный, он после этого свидания кинулся к Другу. Государь как раз в эти дни впервые за пять месяцев был в Царском Селе, и Григорий, тоже взволнованный, не ожидая посредничества Ани, дал ему прямую телеграмму: «Сердечно беседуем с Калининым ему заявляют подать в отставку он не в себе твёрдость это стопа Божья Григорий Новый». (Вся переписка шла через чужие руки, императорской чете не было укрытия, такое было вокруг сомкнутое сторожащее внимание, что приходилось, как подпольщикам-революционерам, называть своих верных кличками, чтобы не было понятно чужим. Так для писем и телеграмм Друг назвал Протопопова «Калинин». А сам Григорий по высочайшему дозволению давно уже сменил свою непереносимую фамилию на «Новый».)

Ну, конечно же, никто не отдаст им Протопопова, — но какая банда! Эта банда выпирает в разных местах, но больше всего в Союзе земств и городов — наглецы, содержатся на государственные деньги, а действуют только против правительства! У Александры хоть не молодая голова, но в страдательных бессонницах появились кое-какие идеи: на фронте устроить контрпропаганду против Земгора. И — устроить за ними наблюдение, и которые заполняют уши солдат всякой вредностью, особенно доктора, фельдшера, сёстры, — чтобы тех тотчас выгонять. Протопопов должен найти хороших честных людей для наблюдения.

Не меньше зла заваривается и в военно-промышленных комитетах Гучкова, таких же политически-опасных: под видом военного снабжения они ставят в заседаниях прямо антидинастические вопросы. И в каких-нибудь комитетах по дороговизне, только и разжигающих страсти против правительства. Гучков, Родзянко и все думские мерзавцы интригуют, чтобы побольше вопросов вырвать из рук министров, изобразить, будто никто кроме них не умеет работать. Ах, серьёзно же болел Гучков прошлой зимой. Нисколько не греховно, ибо ради трона и блага всей России, — желала ему императрица отправиться на тот свет. Увы, поправился. А теперь — разжигал начальника штаба Верховного, напи-

тывал всякими гнусностями, пытаюсь перетянуть на свою сторону, и доверчивый Алексеев может попасться в сети этого умного негодяя.

Они — все сейчас пошли в атаку! Чтó они готовили к открытию Думы? — мерзейшую декларацию, предупреждённую благодаря помощи Крупенского, — он с ними там заседал, а потом принёс эту мерзкую бумагу Протопопову и был принят государыней тоже, она благодарила его. Отвратительная бумага оказалась прямо революционного характера, с чудовишными бесстыдными заявлениями: вроде того, что о н и не могут работать с министрами (позаботились бы — могут ли министры с ними?)! Штюрмер очень обеспокоился, он боялся предстоящих думских заседаний, государыня, напротив, в таких случаях-то и перебарывала свои болезни и собирала волю: с Думой идёт настоящая война, и мы должны быть тверды. Чем мы можем ответить? Обсудили. Если Дума будет вести себя слишком плохо, — не прервать занятия, но полностью распустить в ожидании новых выборов 1917 года. Тогда перестанет выдаваться им жалованье, а депутаты, подлежащие призыву, будут отправлены на фронт. Пусть подумают.

Только пять дней прошло с отъезда государя из Царского Села, — а сколько уже событий и сколько набралось дел!

Всего три дня, как виделась с Протопоповым, и он ничего другого больше не сказал. А вчера — срочно попросил приёма и принёсся крайне возбуждённый. Фигура его была, как обычно, стройна, легка, крылата, а подвижные глаза и лицо — ещё подвижнее. Они выражали раскаяние и даже отчаяние: он только что виделся с Другом, и Друг разъяснил ему, что он абсолютно неправ, оттягивая взять продовольствие в свои руки. И теперь — он убеждён и готов взять. Но оставалось всего два дня до открытия Думы, объявить надо успеть раньше! — но как успеть получить подпись государя из Могилёва?

Огонь этого волнения передался и государыне. Она и сама давно думала так, она и сама удивлялась откладываниям Протопопова, — а теперь, когда Друг так твёрдо сказал, — кто мог ещё сомневаться? И государыня стала действовать огненно: была середина дня 30 октября, ещё хватало последних часов, чтобы Штюрмер оформил бумагу, передающую всё продовольственное дело министру внутренних дел немедленно. А сама государыня торопливо гнала супругу письмо, разъясняя. Если успеть отправить с курьером к вечеру — утром 31-го он будет в Могилёве.

Если просить государя не откладывая подписать и возвратить с поездом, идущим оттуда в 4 1/2 часа, — эта бумага вернется сюда утром 1-го ноября, за два-три часа до заседания Думы! Успевает! Успевает, если только государь уже вернется к вечеру 30-го в Могилёв из киевской поездки, как предполагал. Даст Бог, так и будет, успеваем.

Сама государыня очень взбодрилась от этой операции — она любила решительные действия. И хотя стояла унылая пасмурная погода с дождиком, а погода всегда определяла их с государем настроение, — она сейчас пересилила уныние совершённым действием. Вот так энергично, быстро надо всегда, и опередишь врагов! С симпатией смотрела она на чрезмерно живое лицо Протопопова, постепенно обретавшее успокоение, (она находила его лицо честным, правильным, чистым). Он был — новичок в совете министров и, травимый Думой, нуждался в крепкой поддержке. Государыня уже просила государя не принимать в Могилёве других министров кроме Протопопова, а всем передавать через него, — это очень возвысит его и укрепит, и пусть он делится с государем своими планами и пусть просит совета.

— Да, — вспомнила, — говорят, в городе на заводах какие-то волнения?

— Ничего особенного, ваше величество! — как всегда обвожительно улыбнулся Протопопов, а сам выражал непреклонность. — Из наших твёрдых рук не вырвется.

Так-то так, но правильно предлагал Штюмер ещё в марте, едва вступив на пост: что военные заводы разумно милитаризировать, считать рабочих как бы призванными в армию, и не будет вообще никаких забастовок. (Но промышленники не хотели и помешали: что, мол, трудно устроить. И кадеты помешали, что так будет попорана всякая свобода.)

Протопопов ушёл, — но приобретенное радостное волнение действия не покидало вчера государыню и до позднего вечера. Дай Бог, всё будет в одних твёрдых руках, — и Протопопов вообще покончит с Союзами городским и земским. Друг — поможет ему, направит. А Дума, конечно, будет в ярости: она хотела бы разорвать продовольствие на десятеро рук и запутать.

Была в своём лазарете на концерте, а когда вернулась — знала свою обычную обречённость на бессонницу. Праздник для неё был, когда ей удавалось проспять 5 часов подряд — с Ники всегда лучше, без него бессонница особенно терзала. Часты были ночи, когда она забывалась лишь на 2 часа, уже перед утром.

А бывали ночи, вот 3 дня назад, — спала всего полчаса. От таких ночей добавлялась разбитость и отупение ко всем многочисленным болезням Александры Фёдоровны, — список их за жизнь составил бы несколько десятков номеров, — все боли мигреневые, невралгические, кардинальные, поясничные, адские головные боли периодами, головокружения, задышка, сердцебиения, расширение сердца, сдвиги сердца, синеющие руки, камни в почках, опуханье лица от перемены погоды, воспаление тройничного нерва, ослабление зрения (как она горько шутила — от непролитых слёз), боль в глазу, как от воткнутого карандаша, боли в челюсти, воспаления надкостницы, одеревянение всего тела, боли в спине, простуды, кашля, ушибы от падений, — прошлый, 15-й, год она начала с трёхмесячного лежания, этот, 16-й, со сплошных болезней, а во всякий отдельный момент у неё всегда насчитывалось их четыре-пять. И регулярно, 3-4 раза в год, полный упадок всех сил. После бессонной ночи, разбитая и домучиваемая недугами, она по полдня не могла встать, сперва лежала с закрытыми глазами, потом долёживала на диване и, надев очки, на боку — всё писала и писала автоматическими ручками бесконечные ежедневные письма государю, навёрстывая всё общение, теряемое в расстройстве. Она никогда не умела сказать в трёх словах, ей нужна была стопа страниц. Со середины дня, после завтрака в кровати, поднималась, потому что уже были назначены приёмы или надо было ехать в свой госпиталь или в другие (там по лестницам её вносили в креслах, ибо ноги её не брали лестниц), а от быстрой езды в карете развивалось сердцебиение, и всегда накачиваться сердечными каплями и многими другими лекарствами, получать массажи, мази, электризацию лица и, когда одна, обматывать голову толстой шалью, и избегать прямого солнца, так любя его.

И вчера она легла разбитая, раздёрганная — и эту ночь почти не спала. А все эти бессонные ночи — они наполнены крылатыми мыслями: несутся, несутся мысли и волокут за собой больное, не по сорока пяти годам старое тело, — иногда гордо взмывают, иногда безжалостно когтят грудь. В эти бессонные ночи пришло ей много государственных мыслей. Но к утру ещё более истомляется голова, и в бессонной безысходности всё рисуется в дурном свете.

Но — не поддаваться никогда! Почему бы верить, что злые захватят землю? Почему, если дурные люди активно борются за своё дело, — хорошие только жалуются, сидят со сложенными

руками и ждут событий? Нет! Хотя государыня была кругом и вечно больна и с негодным сердцем, — но она не могла спокойно сидеть и смотреть на происходящее, — и у неё ещё найдется больше энергии, чем у всей этой компании, вместе взятой!

Лето Пятнадцатого года был самый страшный момент: шла борьба, по сути, за сам трон — это открыл им Друг, — а втолковать государю стоило очень большого труда. В Думе держали пари, что помешают государю принять Верховного, потом — что не дадут распустить Думу. В то лето государыня вмешалась настойчивее всего и до изнеможения, так уставала душой, что хотелось заснуть и забыть о ежедневном кошмаре. Но и успешнее всего. Были против — все, все вокруг гудели, что если государь примет Ставку — то будет революция. Только Друг и государыня настаивали: брать! И оказались правы. Но именно как результат той победы государь уехал в Ставку, — и уже нельзя было оставаться постоянно с ним рядом и помогать ему держаться твёрдо. А в Ставке, один, он непременно всегда что-нибудь упустит: он окружён там чужими и уступает им. Чаше ему приезжать сюда? — не пускает военное положение. Чаше государыне ездить туда (она охотно и вовсе бы переселилась в Ставку!) — опять-таки мешает положение, да и есть досадная явность для публики, что главные решения, назначения, смещения государь производит именно в те дни, когда гостит у него жена. И оставалось — в ежедневных длинных письмах, всё повторяя и меняя выражения, — достигать убедительности. Иногда советы её были успешны, иногда опаздывали, а иногда оказывались и бессильны: тихое, мягкое, ласковое, а было у Ники и упорство. Но Ники — очень доверял ей, и многие важные обсуждения и приём министров поручал.

Беспрекословно она повторяла государю все советы Друга, многие и своим умом хорошо понимая, как — не призывать ратников 2-го разряда, им надо работать на полях и фабриках. Или другие слышанные советы, как — милитаризировать военные заводы. Но ум её при взглядывании в дело расширялся — и у неё были своерожденные идеи, которые она роняла в письмах: так, очень беспокоили её отдельные латышские полки, — неконтролируемая сила, она считала безопасней расформировать их, рассеять по другим полкам. Она считала, что надо создавать в резерве дружину на случай петроградских беспорядков: полиция была не подготовлена к ним и даже не вооружена. Она предлагала посылать людей из государственной свиты на заводы для наблюдения за

ходом дел, и чтобы чувствовали повсюду внимание государя, а не одних гучковских молодцов, — но зажилела свита, и никто никуда ни разу не поехал. И с Государственным Советом она обнаружила неосторожность: что назначают туда всякого, от кого хотят избавиться, — и трон лишает себя опоры. (И председателя надо сменить.) А другая опора была бы — повесить жалованье по всей стране бедным чиновникам. Она просила государя позаботиться, чтобы все истории с еврейской эвакуацией были выяснены без лишних скандалов. Всегда следует делать различия между хорошими и дурными евреями и не быть одинаково строгими ко всем. Она удерживала государя не давать толкать себя с поспешными уступками по польскому вопросу, когда Польша была отдана Германии: можно такого наобещать и надарить, что Баби потом трудно придётся. А по всякому вопросу касательно немецких военнопленных у нас императрица была горестно и стыдливо стеснена распространёнными подозрениями, что она сочувствует врагу, тогда как она всего лишь хотела человеческого их содержания, чтоб Россия оказалась в этом выше Германии и после войны хорошо бы отзывались о нашем обращении с пленными. И стыдливо, как бы на ухо, просила она государя послать комиссию в сибирские немецкие лагеря или позволить пленным праздновать день рождения Вильгельма. Здесь — её некоторые называли немкой, в Германии — её теперь тоже ненавидели. Да, конечно, кого не соединяют нежные связи с местом рождения, с кровными родными, — каждая весточка оттуда, через шведскую или английскую родню, или вдруг письмо из Дармштадта через немецких сестёр милосердия остро тревожили её, наполняли неповторимыми волнами поэзии и юности. Да, конечно, когда она слышала, что у немцев большие потери, — содрогалось сердце при мысли о брате и его войсках. Но и кипела кровь, когда в Германии злорадствовали. Она бесконечно горевала об этой многокровной, бессмысленной войне. Как должен страдать Христос, видя всё это кровопролитие! — испорченность мира всё возрастает, не человечество, а Содом и Гоморра. Какая-то огромно-непоместимая всеобщая беда началась с этой войны, разорвавшей и её сердце. Нет, не из германских симпатий умоляла укротить разжигание ненависти «Новым временем», запретить безжалостное преследование у нас баронов, — а по нелепости для самой России, ибо это ослабляло трон и армию. «Немецкое засилие» мы сами на себя навлекли: наши собственные ленивые славянские натуры без всякой инициативы должны были раньше держать

банки в руках, — но раньше никто не обращал внимания. Наш народ талантлив, даровит — только ленив и без инициативы. Александра искренно полюбила эту страну, ставшую её страной, и её огорчало, когда она видела, что такая огромная Россия зависит от других, а Германия радуется нашей дурной организации. Люди у нас, когда не на глазах, — редко исполняют свои обязанности хорошо. Нашей бедной стране не хватает порядка, потому что он чужд славянской натуре.

Александра не могла делать что-либо наполовину. Она принимала всё слишком близко к сердцу. Бог дал ей такое большое сердце, которое съедало всё её существо. И чисто военных вопросов она тоже теперь не могла обойти — не могла не разделить военной судьбы своего мужа. Началось — с Алексева, который тревожил её, подойдёт ли он государю, — он казался неэнергичным, в нём развинчены нервы, мало души и отзывчивости, бумажный человек. К тому же тайные связи с Гучковым, а если настроен против Друга, — то и вообще не сможет успешно работать. Алексеев открыто не считался со Штюмером и давал почувствовать это другим министрам, уже полное безобразие. Явно чувствовала государыня, что Алексеев и её саму не любит. Стала вникать и в действия флота, — и морской министр Григорович по распоряжению государя посылал ей оперативные бумаги, которые она жадно читала, а потом возвращала запечатанными. Но начав пристально следить за военными действиями, она сердцем не могла принять бесполезных кровопролитий, какими были многие наши неудачные наступления, умоляла государя остановить их: зачем же лезть на стену и жертвовать жизнями словно мухами? Это второй Верден! Наши генералы жертвуют жизнями — не считают, из чистого упрямства, без веры в успех, генералы закалены и привыкли к потерям. Пощади воинов, останови! Необходимо дожидаться более благоприятного момента, а не слепо напирать, — это чувствуют все, но никто не решается тебе сказать.

Стала она присматриваться к генералам — да чёрт возьми этих генералов, почему они так слабы и никуда не годятся? Будь строг с ними! Да вот что: во время войны надо выбирать генералов по их способностям, а не по возрасту и чинам! Разве, например, Каледин — настоящий человек на настоящем месте, когда так трудно?.. И она задумалась: как же Ники знать всю правду о своих войсках? И придумала: пусть берёт к себе в Ставку командиров полков на двухнедельные дежурства — они смогут рассказать государю много правды, которой и генералы не знают, —

и это будет живое звено с армией, а генералы будут бояться, что́ о них расскажут командиры полков. Но почему-то — не делалось.

Многих военных государыня видела по госпиталям, и представлялись из шефских полков всегда, — потому многих командиров полков она и сама предлагала к назначению, один раз советовала знакомого капитана в начальники штаба Черноморского флота. Захотела Академия генерального штаба отобрать помещение у госпиталя, — просила она государя, нельзя ли не отдавать, уж так ли нужны академисты во время войны?

А четыре дня назад к ней сам попросился на приём генерал — Бонч-Бруевич, бывший начальник штаба Северного фронта, несправедливо смещённый, а вместо него Данилов-чёрный, недобросовестный, канцелярист и действительно враждебный нам человек. Обходительного Бонч-Бруевича государыня охотно приняла, со вниманием беседовала — и свои глубокие приятные впечатления описала государю, что́ надо бы на Северном фронте исправить, только не говорить Алексею, от кого узнал. Старый Рузский — болезненный, кокаинист и тяжёлый на подъём, но мог бы оставаться, однако при энергичном начальнике штаба, а хороших людей отстраняют. В результате на Северном фронте даже нет глубокой разведки противника. А ещё бы лучше государь сам повиделся с Бонч-Бруевичем: он очень умён и честен, и многое расскажет. А самому ему ничего не надо, он действует только для общего блага.

И на фоне всех этих неудачных генералов всё более видела теперь государыня ту жестокую несправедливость, которую допустили они вдвоём с императором по отношению к несчастному Сухомлинову. Сейчас она очень сожалела, что в прошлом году так легко согласилась на его отставку и снять аксельбанты, — а ведь этого требовали кто? враги! — и ликовали потом. Сухомлинову всё напортила его молодая жена-разведка, вульгарная, авантюристка и взяточница, это она разрушила его репутацию. Но вот с тех пор шло годичное следствие, — и ведь никакого реального преступления не открылось, никакой не шпион, ни в каком умысле не виноват, мало тратил денег на армию? — так ему не давал Коковцов, — а мы держим несчастного уже 6 месяцев в тюрьме — старого, разрушенного, уже этими месяцами достаточно наказанного. Правда, государь и увольнял его с тяжёлым сердцем, написал ему ласковое увольнительное письмо, — а Сухомлинов бесчестно его показывал, и даже копии давал снимать, чтобы

смягчить себе падение, не думая, как это используют враги государя. Но государыня простила ему эту слабость, и уже при начале следствия заступалась — сменить сенатора, пристрастного к нему (ибо сам сдал Перемышль и потерпел от Сухомлинова), дневник Сухомлинова и письма к жене чтобы первый, до следствия, прочёл сам государь и рассудил о виновности. Но сенатор, руководимый мстью, посадил Сухомлинова в Петропавловскую крепость, хотя следствие того не требовало и ничего не открыло. А сейчас всё более становилось жаль Сухомлинова: он умрёт в темнице, он сойдёт с ума, и мы никогда себе этого не простим. И отчасти он сидит для того, чтобы прикрыть артиллерийские взятки Кшесинской и её любовника Сергея Михайловича, из-за которых и не смеют открытый суд. Но никогда не надо бояться выпустить узника, возродить грешника к праведной жизни: как говорит Друг, узники через их страдания выше нас становятся перед лицом Божиим. Друг — очень просит взять Сухомлинова на поруки. Это можно сделать без большого шума, почти секретно.

Сегодняшняя ночь — тянулась изматываяще, бесконечно. Ни в два, ни в три, ни даже в четыре часа ночи государыня не спала, — и всё проволлакивались мысли и заботы. И вот ей стало ясно, что дальше никак нельзя откладывать с Сухомлиновым. Государь всё промалчивал или откладывал просьбы о его освобождении, как и было в характере Ники — не решаться. Но Друг — настойчиво просил, и государыня решила наступающим днём в письме к мужу прямо требовать от него спешной телеграммы Штюрмеру: что, ознакомясь с данными следствия, государь не находит никаких оснований для обвинения и распоряжается дело Сухомлинова прекратить. И так будут предупреждены возможные гнусные заявления Гучкова или думские. Убедясь, что вины нет — недопустимо было держать человека в тюрьме лишь из трусости перед врагами, как они закричат.

И ещё был один узник, о котором настойчиво просил Друг, — это Рубинштейн, богач и делец. Помогал в благотворительности, произведен в действительного статского советника. У него были, правда, некрасивые денежные дела, — но ведь не только у него одного. Он схвачен был контрразведочной комиссией генерала Батюшина, подчинённой прямо Алексееву, — и тут нельзя было не заподозрить, что это Гучков подстрекнул военные власти в надежде найти доказательства против нашего Друга (из-за близости Рубинштейна к Другу). Эта комиссия Батюшина раньше подчинялась Бонч-Бруевичу и была хорошая, но с под-

чинением Алексееву вышла из-под разумного контроля, действует некрасиво и несправедливо, они мешаются не в свои дела, и этому надо положить конец. А Рубинштейна — очень жалко, у него слабое здоровье, и он может не выдержать заключения. И Друг, и Аня очень просят. Главное, сейчас забрать его из псковской фронтальной тюрьмы в Петроград, в ведение министерства внутренних дел — и об этом сам государь или через Алексеева должен срочно телеграфировать, — а здесь Протопопов тотчас его освободит, а если здесь открыто будет неудобно — ушлёт его хоть и в Сибирь, а там тихо освободит.

И то и другое надо немедленно сделать, нельзя пренебрегать указаниями нашего Друга. Божий человек благополучно проведёт чёлн государя через рифы, — а старое Солнышко, твердая и непоколебимая, с решимостью, верностью и любовью, всегда готова к борьбе за своих любимых и за нашу страну.

Только приняв решение о срочном исполнении этих двух милосердных дел, государыня успокаивалась, успокоилась — и уже под самое утро забылась.

Спала ли она сегодня хоть два часа? Проснувшись измученная — и теперь, как обычно, нуждалась в нескольких часах медленного возврата к жизни. Пока что она, на боку, спешила написать письмо государю, изложить всё выношенное. Глаза ей отказывали в таком положении, и она не всегда видела подробности своих строчек.

Но и долго залёживаться было нельзя: у неё и на сегодня, как все предыдущие дни, был назначен приём по делам о раненых, о поездках-складах и ещё множество дам, и министр торговли и промышленности Шаховской, — и вдруг передали ей телефонный звонок Протопопова, что он умоляет крайне срочно принять его по очень нужному делу.

О, Боже, только вчера обо всём уговорились, — что ещё новое могло случиться? Приходилось принять Протопопова ранее всего остального приёма, но перед этим хоть полчаса прокатиться на автомобиле, чтоб освежить голову.

А погода стояла — такая же унылая, давящая, беспросветно-пасмурная, как и вчера. И срывался дождь.

В этом году были очень ранние заморозки, даже со снегом, 19 сентября, и листья осыпались, и теперь из своих окон государыня видела церковь Большого Дворца.

Но и с прогулки вернулась государыня с такой же тяжёлой головой.

Вид вошедшего Протопопова был ужасен: глаза его как бы дрожали или даже блуждали, подрагивали усы, — так странно было видеть выражение растерянности на его всегда уверенном, победном лице.

Что же? что же??

Его красивый голос тоже переливался в большом волнении, и речь как всегда неслась потоком. Оказывается, банки мнутя, поддержки нет, а все министры нервничают, все министры тревожатся, узнав, что Протопопов берёт в свои руки продовольственное дело: Дума очень чувствительна к этому вопросу, и если только завтра будет опубликовано назначение Протопопова, — это вызовет в Думе бурю и скандал, размеры которых невозможно предвидеть.

Государыня восприняла довольно хладнокровно: ну что ж, мы и готовы к самой жестокой борьбе, мы на это и идём!

О нет, о нет! — в мучении выгибался Протопопов. Борьба — не страшит его нисколько, но скандал может принять такие размеры, что Штюмеру придётся тотчас же распустить Думу, в первый же день и распустить! — а это очень неудобно.

Но что же делать?..

А — отложить. Несколько отложить назначение по продовольствию. Хотя бы недельки на две. Пусть Дума пока разрядится. А позже — будет её удобнее распустить. Это — не от себя только просит Протопопов, он готов к решительной борьбе (хотя хорошо знает губительные думские ураганы), — но так просит большинство министров, это в интересах всего кабинета!

Государыня впала в недоумение, такое ж тяжёлое, как и всё состояние её. Она не могла уразуметь: почему надо отказаться от решения, принятого вчера с таким энтузиазмом? Почему можно испугаться скандала в Думе, когда он всё равно будет — не по тому, так по другому?

Но глубокое убеждение светилось в одухотворённом, даже художественном лице Протопопова, с таким живым выражением густых бровей, искристых глаз, и крупных губ под слитыми тёмными усами, и каждой чёрточки, — убеждение, ещё более глубокое, чем вчера.

Может быть, чего-то она не понимала.

Но во-первых — таково было желание Друга: Протопопову — принять продовольствие на одного себя. Во-вторых, даже если решить снова менять: ведь государь как раз вот в эти часы получил вчерашнее наше письмо — и подписывает, и завтра к утру

оно придёт сюда? И это будет последний момент перед открытием Думы, а мы же не можем отменить сами?

(Хотя по крайности обстоятельств, — а напряжение этого октября походило на напряжение прошлого лета, — конечно, государыня могла бы взять отмену и на себя, её бесконечно-терпеливый супруг простит ей.)

— Телеграфировать государю! — вырвалось из груди Протопопова.

Но о таком тонком предмете — как же телеграфировать? Ведь читают десятки людей, все колебания разнесутся сразу.

— Зашифровать! — исторглось из Протопопова.

Но и правительственная шифровка проходит через несколько чужих рук. Ах, ах! — государыня совсем забыла, теперь вспомнила: что долго-долго они горевали с супругом, что нужно же иметь возможность иногда что-то важное друг другу сообщить, и всё никак не могли собраться, а всё же заказали приготовить шифровку, хотя так ни разу её и не применили.

— Я сам и зашифрую! — воскликнул Протопопов.

Да, он слишком страстно был задет — почти невозможно ему отказать: как же он будет выполнять дело против собственной воли? И не менять же снова министра внутренних дел, да ещё такого замечательного, с таким трудом найденного.

В конце концов — не отменять, только отложить на две недели?..

Но — и никак нельзя пойти против указания Друга.

— Вот что, Александр Дмитрич, — решила она. — Поезжайте как можно скорей в Петроград, на Гороховую, к Григорию. И если он откажет — значит, так всё и останется, как вчера. А если разрешит переменить — скорей езжайте назад, и ещё успеем зашифровать, телеграфировать — и завтра к утру, за те же два часа до Думы государь успеет отменить.

Протопопов взвился и помчался.

Милый, симпатичный человек, она пожалела его, хотелось снять с него слишком невыносимое беспокойство.

Такова была она и в любви и во всех привязанностях: если решалась раз, то уже навсегда. Этому человеку — она доверила охрану трона. А свои — должны выручать своих.

.....

(2 ноября)

В этом году так засиделся государь в Ставке — 5 месяцев, не отрываясь даже в Царское Село, не пускали военные действия, что съездив туда вокруг годовщины смерти отца 20 октября — и отстояв ежегодную панихиду в Петропавловском соборе, — он ощутил тяготение теперь поехать повидаться с матерью, в Киев. И, воротясь из Царского в Могилёв, даже не переселялся полностью в губернаторский дом, а повлѣк его поезд дальше на юг.

Ах, Киев! Сохранялось что-то неизбежно, неотъемлемо святое в этом городе: каждый раз при въезде в него — высокое строгое древнее чувство охватывало сердце. И первой надобностью казалось: поехать и поклониться в Софийский собор. В этот раз с Алексеем так и сделали — прямо с вокзала, лишь потом во дворец к Мама́.

По этому времени года здесь можно было ждать разливистой золотой осени. Но нет, стоял туман, хотя тёплый. И в этой задумчивой безветренности, безглядности тихого дня — как-то особенно строго и ответственно стояли шпалеры военных школ и войск, выстроенные вдоль улиц проезжания. Ещё предстояло ему в тот же день после завтрака в дворцовом дворе произвести в офицеры выпускников школы прапорщиков, и на другой день ещё посетить четыре военных училища, и многими улицами ещё прокатиться средь народа с Мама́ и наследником, — но самое сильное впечатление произвели вот эти войсковые вереницы по киевским улицам под надвинутым задумчивым туманом.

Государь даже не понял сперва — почему. И проезжая мимо театра, — не понял, не вспомнил, всё так переменилось во времени, в людях, другое. А вот когда понял: войдя в знакомые комнаты дворца, где прожили несколько таких счастливых сентябрьских дней 1911 года, — вдруг ярко вспомнил всё ликующее настроение того киевского торжества, и такие же улицы, застроенные рядами, рядами войск, — но и в этих комнатах, воротясь вечером к Аликс, рассказывал о ранении в театре несчастного Столыпина. И ещё потом после Чернигова возвращался в эти же комнаты, тут узнали и о смерти его.

И вдруг, сейчас, через 5 осеней, так близко и сильно проступил Столыпин к царскому сердцу, как ни разу ещё от смерти.

Нужно было пройти пустыню перемен и поисков министров, чтобы сегодня очнуться и поразиться: а ведь с тех пор — не было сравнимого министра. И в эту войну, в это безлюдье руководства — какое бы решение был — Столыпин! Какие бы твёрдые руки для России!

И за что государь тогда был им недоволен? за что думал увольнять? Ничтожные причины, которых уже не вспомнить, задвинутые отрогами войны.

И так остались овеваны грустью оба дня, проведенных в Киеве, оба уютных вечера, когда сидели втроём, с Мамá помогали Бэби складывать составные картинки, а сестре Ольге давали разрешение венчаться со своим кирасиром.

Как дополнение к счастливой киевской поездке — на обратном пути встретили четыре воинских поезда, следующих из Риги на юг (войска на укрепление Румынского фронта). Видели в окнах множество молодых весёлых лиц, слышали пение — так радостно! Не оскудевает Россия солдатской силой.

В Ставку вернулись в ужасающий дождь — но, впрочем, это считается хороший признак.

А позавчера получил от Аликс бумагу на передачу всего продовольственного дела Протопопову. (То-то ещё и в Киев была телеграмма от Григория, но как всегда такая трудноречивая, что государь её не понял.) И охотно подписал: он давно и сам считал так правильно. Он ещё при отъезде из Царского так хотел, — но Протопопов уклонялся. Теперь только помоги Бог! Трудных два месяца, а там всё наладится. Будем тверды.

Едва отправил с курьером — и тут же пришла от Аликс шифрованная телеграмма — исключительная редкость, они не пользовались: разрешить остановить, не объявлять решение о Протопопове.

Эта телеграмма сильно покорибила государя. Она всего лишь возвращала дело в канунешнее положение, не требовалось никакого нового решения, и государю здесь, в Могилёве, не могли быть известны все острые петроградские перипетии. Однако — и слишком уж поворотливо, и слишком уж мгновенно. Можно было и накануне чуть лучше подумать.

Это навевало уже не первые сомнения о Протопопове: действительно ли он в полном равновесии или есть правда в том, что злословит Дума? — хотя сперва сам Родзянко предлагал его министром торговли-промышленности. Государю приятно было, что Протопопова он отличил своим глазом сам, непредвзято, с первой

встречи тот ему понравился как бывший офицер конно-гвардейского полка. Нет, ему не навязали Протопопова, совет Аликс (и Григория) попал уже на готовую почву: Николай и сам всегда мечтал о таком министре внутренних дел, который будет хорошо работать с Думой. Такая надежда была с Хвостовым-племянником, но трагически провалилась. Однако Протопопов был — первейший избранник Думы, и глава её парламентской делегации, и его же хвалили и выдвигала вся печать союзников, — так что теперь, остервенясь против Протопопова, Дума только разоблачила сама себя.

Однако... Однако, всё-таки в глубине и с досадой государь понимал, что выбор Протопопова совершён — не им. Как и несчастный выбор Хвостова-племянника, которому он так сопротивлялся в своё время, да не сумел сопротивиться до конца. Как и выбор Шуваева, Волжина, как многие другие выборы, от которых потом пришлось отказываться и с трудом переменять. Сколько раз Николай говорил Аликс: я не могу менять свои мнения каждые два месяца, это просто невыносимо!

А с другой стороны: кто умеет эти выборы делать безошибочно? Разве не проклятия эти топливо, руда, транспорт, продовольствие? — вечная забота, а уже перестаёшь соображать, где правда, и голова кругом идёт ото всего, что наслышишься от разных министров. Ты никогда не бывал купцом, а цены растут, а надо думать о снабжении.

Зашевелилось, заточило в груди мучительно сейчас потому, что в эту киевскую поездку Мамá говорила с ним строго: что нельзя до такой степени слушаться жену! Что всё общество — слишком накалено, и зачем делать только наперекор ему, зачем углублять конфликт?

Это правда, он очень слушался советов жены.

Но ведь и советы её в большинстве — поразительно верны! До чего она почти всегда права!

И — любил её за это. И — немного угнетался, что именно она всегда права, соображая раньше и решительнее его.

Её постоянная уверенность, однако, не могла же быть всегда безошибочной.

Оба чувства жили одновременно и прорастая друг друга. Уезжал в Ставку или провожал её из Ставки — и испытывал муку от разлуки и одновременно — облегчение военного человека, что попадает в свободный мужской мир. Но и тотчас начинал в письмах снова приглашать её и ускорять сроки, чем ближе приезд —

тем нетерпеливей ожидание её милого присутствия, и одобрения, и сладких ласк, — и волновался, и с её приездом действительно наступало спокойствие на душе, и хотелось гнать прочь все заботы и неприятности. Но она сама же приступала с ними, и вместе легко выносились решения. А потом — Николай ощущал неловкость, что все главные решения приняты, когда они вместе. И снова был порыв у него — определиться в военной мужской свободе и принять ещё какие-то другие решения, уже одному. (И так он назначил в прошлом году Самарина, — а потом 2 недели лишних перебивал в Ставке, чтобы спал гнев жены.) С новыми собеседниками или по новым докладам вскрывались новые стороны вещей, уже не в тех линиях, как видела Аликс. Но государь принимал решение, — а оно оказывалось потом неверно. И снова падала бодрость Николая, и он томился по новой встрече.

Существенной окраской многих советов Аликс было то, что они одобрены Григорием или им придуманы. В этом было и правильное — желание всегда слышать трезвый голос народа, человека из народа. И милое — мила и понятна была Николаю жажда Аликс не останавливаться на наглядной поверхности вещей, но проникать в их мистический смысл и узнавать действия тайных сил. Вероятно, только таким и должно быть познание человека. Но по страстности Аликс в этой жажде проявилась такая чрезмерность, которая ощущалась Николаем как стеснительность, уже неловкость. То Григорий пересылал государю цветы с горячим приветом, то отдельный цветок, то вина со своих именин, выпить как лекарство, — и каждый раз требовала Аликс, чтоб государь благодарил (а на Пасху — телеграфно поздравлял в Покровское). Сперва Григорий подарил ему образ святого Николая, но затем дарил и другие иконы и образки (которые надо было держать в руках в решительный момент), и даже икону для передачи Алексею (и ужасно неловко было вдруг передавать, но Аликс настаивала), а то ещё — гребешок, которым надо было причёсываться перед всяким трудным разговором и решением. Может быть, в таком гребешке и могла заключаться какая-то тайная сила. (Уж верней, чем когда-то в образе с колокольчиком, подаренном мсьё Филиппом, и будто бы колокольчик должен был зазвонить при каждом злом посетителе.) Но больше: настаивала Аликс, чтоб и перед всякой поездкой, отъездом в Ставку Николай получал бы личное благословение от Григория, как от священного лица, и даже, при долгом отсутствии, — специально приезжал бы в Царское, чтоб обновить такое благословение: прикосновение к

груди Григория утишило бы горести и даровало бы мудрость свыше. Этого Николай не ощущал и поверить не мог. «Ты всё же — ч е л о в е к!» — напоминала Аликс. И настояла, что в письмах писалось о Григории «Он» с большой буквы и «Друг» с большой, иначе грех. Внушала: думай больше о Григории, перед всякой трудной минутой проси Его заступничества у Бога, мы должны прислушиваться к Его советам, они не легкомысленно высказываются, Бог Ему всё открывает, для чего-то Бог послал Его нам, Его молитвы нужны для Бэби, для нас, для царствования, для России. Аликс часто упрекала Николая, что он недостаточно обращает внимания на Его слова, уклоняется выполнять Его советы, она молилась, чтоб государь лучше мог почувствовать: если б Его не было — всё могло бы случиться. Она очень настаивала, чтобы государь пригласил Григория приехать в Ставку, — это должно было сразу дать решительный успех нашим войскам. В такое действие Николай тоже не верил, а из неловкости перед людским мнением и генеральско-офицерским составом никак пригласить Григория не мог, но не мог запретить его прямых телеграмм в Ставку — то на имя гостящей государыни, то Вырубовой, то Воейкова, то прямо «Ставка. Вручить старшему».

В этих оригинальных телеграммах была смесь крутизны народного языка, загадочной святости, но и непрояснённого смысла. Был в этих фразах какой-то терпкий народный запах, как от ржаного хлеба или квашеных яблок, что-то было, а смысл не всегда прояснялся: «Ваша победа и ваш корабль». «Все страхи ничто время крепости воля человека должна быть камнем». (Это — специально государю в назидание.) «Вы сказали моих никто не обидит а для чего это всё». «Люблю вас удержите моего сейчас даже на Гороховой». «Что нам в пользу то дайте как волки овец ой не нужно твердыня это Бог». «Напиши всем чтоб чаще беседовали всё-таки дай власть одному чтобы работал разумом». (Это — о министрах, и правильно.)

Чувство стеснительности было одним из самых развитых чувств Николая: он очень чутко ощущал всякую возникающую неловкость. Но и был всегда этой неловкостью так скован, что не умел прорвать. Он видел, что с Распутиным возникает какая-то заклиненность, и что-то иногда выглядит не вполне хорошо (а что-то — и вполне хорошо), — но уже нельзя выправиться. И деликатность и бережность к жене мешали высказать это ей вполне откровенно. Не то его смущало, что в понимании супруги главным авторитетом был сперва Григорий, затем она сама, лишь

затем государь, но то, что авторитет Григория непрерывно проявлялся в его велениях, а эти веления частенько заходили за край. Его молитвы, прозрения, угадывания, а то и просто сны указывали вдруг, что надо немедленно наступать возле Риги, то — не подниматься на Карпаты, то — подняться до зимы, — и потому, что это были вещие видения и потому, что, писала Аликс, «Бог дал Ему больше проницательности и разума, чем всем военным, вместе взятым». Григорий всегда знал лучше и нужные места наступлений (выговаривал, почему крупное зимнее наступление начали, не спросив его) и нужные государственные назначения. То сочинял и передавал государю 5 срочных важных государственных вопросов. То слал, в своих выражениях, проект телеграммы, которую нужно послать сербскому королю. То просил быть твёрже с министрами. То был против поездки государя в Ставку, то упрекал, что он долго в отсутствии из Царского Села и надо приехать хоть на два дня для встречи. Как бы сердечный присматриватель, претендовал, почему в этот приезд царь мало с ним говорил, не сообщил, какие перемены готовит и о чём думает говорить с министрами. Как-то (ещё при жизни Столыпина) настаивал на открытом приёме у царя, чтобы подавить сплетни против себя. (Но государь никогда такого приёма ему не дал.) А Аликс настаивала, чтоб государь принял как правило: кто против Друга — тот против царя. Она требовала, чтоб государь не только внутренне уважал и любил Его, — но давал бы и почувствовать министрам и государственным людям, что нисколько не брезгает Им и хочет, чтобы те тоже к Нему прислушивались. Всякие неисполнившиеся предсказания Григория о сроках (например о сроках конца войны) Аликс тут же забывала, — и чтоб не причинять ей острой боли, государь не решался настойчиво напоминать. Неудачные рекомендации Григория, как с Хвостовым-племянником, объясняла она тем, что Хвостов был хорош, но изменился впоследствии, и за это Друг не может отвечать.

Ещё передавал или при встречах всучивал Григорий много чужих-то ходатайств, прошений — о льготах или снятии наказаний, и чаще всего — в обход законов, чего государь делать не мог, и эти пачки просьб тяготили его. Ещё же более тяготили передаваемые через Аликс желания Григория то прислать новую икону точно ко дню наступления, то особо-истово молиться в день наступления — и поэтому заранее этот день знать. Такие просьбы — прямо от Аликс и настойчивые, доставляли государю страдания. Как человек природно-военный он понимал всю невозмож-

ность сообщать кому-либо вперёд наши военные намерения, места и сроки. Но как заботливый муж он не мог отказать сердечным запросам и умолениям жены, к тому ж фантастично было предположить, чтобы малограмотный сибирский мужик и искренний доброжелатель царской четы как-то злоупотребил бы этими сведениями в пользу врага — он несомненно хотел молиться (и молитва могла помочь!). И Николай, через скрепу, через неохоту иногда в письмах к Аликс давал такие сведения, то — дату, когда нарушится затишье, или будет около Пинска диверсия, или время ввода гвардии в дело, или решение отменить всякое наступление на севере, чтобы беречь силы, — но чаще всего сопровождал горячей просьбой хранить это про себя, чтобы не знала ни одна душа, ни даже Друг. И всё равно ощущал неприятное щекотанье от утекшего секрета.

Вот это не покидающее Николая сомнение, неуверенность, что отношения уставлены все привильно (и безвыходность изменить их) — и растревожила снова Мама́ своим последним разговором.

А вслед за тем, как государь вернулся в Ставку и перенёс это дёрганье с протопоповским назначением, — приехал уже давно просившийся на приём великий князь Николай Михайлович, двоюродный дядя царя. Во вторник, вчера вечером, государь его принял.

Династия разрослась велика, немало в ней числилось и живых ещё дядей государя, и двоюродных и троюродных братьев его, и, хотя по возрасту моложе многих, по положению своему, и по ошибкам многих великих князей, государь уже давно уверенно привык себя чувствовать отягчённым и ответственным главою династии.

И о самом Николае Михайловиче государь не мог быть высокого мнения. Николай Михайлович отличался едва ли не бабьей суетливостью и притом — кипливый честолюбием. Он делал порой шаги на государственной стезе, но неудачные, последний год прожужжал государю уши, что надо создавать комиссию для выработки условий мира, которые Россия продиктует Германии (разделить ли только Австрию или Германию тоже?), — а сам он будет председателем этой комиссии. Не находя государственного исхода своим задаткам, дядя Николай с апломбом заявил себя историком — и кое-что писал из времён своего прадеда Павла Первого. Он считал себя историком незаурядным, чего государь не находил: сам глубоко любя русскую историю и даже не имея лучшего предмета для чтения и размышления, государь никак

не черпал оттуда этой суеты и всеобщей критики, как дядя Николай. А ещё Николай Михайлович ревновал к военной славе Николаши, своего двоюродного брата, и о нём наговаривал государю дурное. В общем, государь относился к Николаю Михайловичу скорее юмористически.

И ошибся. Визит 1 ноября оказался горький. Николай Михайлович уже к обеду явился важный и хмурый, а когда уединились, — то очень напряжён, с подрагивающими руками. Он не дал установиться лёгкому родственному тону, но сразу стал декламировать возвышенно.

Уверен ли его племянник, что выполнит свою историческую задачу и доведёт войну до победного конца? Знает ли он об истинном положении в империи — и докладывают ли ему правду? И знает ли он, где кроется корень зла? Нет, его все обманывают.

По виду и тону значилось, что Николай-то Михайлович знает и истинное положение в империи, и всю правду, и корень зла.

Сразу оба занервничали и закурили — дядя папиросу, а государь — через свой коленчатый пеньково-янтарный мундштучок.

Сердце государя сжалось тоскливым предчувствием: что Николай Михайлович сейчас ударит в ту же болевую точку, в которую уже нажала Мамá. Да, так и случилось. И дядя даже сослался, что к этому разговору он вдохновлён и поддержан — Мамá и двумя сёстрами государя. (И — сёстрами?..) Он осмелился заговорить прямо о государыне и прямо о Распутине. По его мнению, они и были корнем зла. Корнем зла было то, что обществу стал известен прежде скрытый метод назначения министров, а именно — через Распутину. Чтобы стать русским министром — надо понравиться мужику Распутину.

Николай Михайлович так нервничал, что у него всё время гасла папироса. Он не успевал найти теряемые спички, как государь приближался и услужливо подавал ему прикурить из зажигалки. По внешнему виду государя не было заметно никакого движения чувства.

А чувство было — и очень сжато-больное, чувство уже наболевшего места. Даже отделяя все преувеличения, которые резко нагромождал Николай Михайлович, — нельзя было отделаться, что тут много правды, стеснительно-унизительно.

Но к чему был безукоризненно воспитан и привычен государь, как к части своего царского ремесла, — это никогда не показывать своих чувств. И он сохранял обезоруживающую любезность.

Николай Михайлович употреблял такие выражения как «систематические нащёптывания твоей любимой супруги», «что исходит из её уст — есть результат ловкой подтасовки», — но что изменилось бы к лучшему, если бы государь стал ему возражать? — бесполезно при его предубеждённости и непонимании всех тонкостей человеческих отношений. А властно оборвать? — и вовсе не служит убеждению старшего родственника. Да Николай и стеснялся бы проявить власть.

Итак, государь всё выслушивал, не возражая, и подавал зажималку в нужные минуты.

— Ты всегда сказывал, что тебя все кругом обманывают. А почему ты думаешь, что тебя не обманывает супруга, которую в свою очередь обманывают окружающие? Твои самостоятельные первые порывы и решения всегда замечательно верны, — скорее дипломатически льстил, чем так и думал Николай Михайлович. — Но как только появляются другие влияния, — ты начинаешь колебаться, и решения уже не те. Если бы тебе удалось устранить это вторгательство тёмных сил, — сразу бы началось возрождение России.

Вот в этом государю позволительно было усумниться. Тёмных, противорусских сил он больше видел на стороне Думы и Союзов.

Но вслух не возразил. Да он и не умел вести дискуссий. Он хорошо умел разговаривать только с теми, с кем был согласен, а с остальными немел.

А под возрождением России, Николай Михайлович оказывался и понимал: сделать министров ответственными перед Думой.

Не встречая возражений, он возвышал напорность тона. Странно выразился:

— Знай! Ты находишься накануне эры новых волнений! И, скажу больше: накануне эры новых покушений!

От кого-то он этого набрался? слышал? знал?

И, ещё более возбуждась:

— Здесь у тебя есть казаки, и много места в саду. Можешь приказать меня убить и закопать, никто не узнает. Но я должен был тебе это всё сказать.

Тирада была, видимо, у него приготовлена заранее — он её и произнес торжественно. Но сам заметил, что в любезной обстановке она выглядела неуместно. Ещё потянул несколько папиросу, вздохнул и, всё не слыша возражений, упрекнул:

— Знаешь, ты великий шармёр. Ты напоминаешь мне Александра Первого.

Долго, много, упречно выговорясь и так и не дожидаясь ничего существенного в ответ, Николай Михайлович оставил заранее написанное письмо — всё о том же, он хотел его вручить непременно лично.

И только когда уже простились и проводил, — по-настоящему стало расходиться и болеть в государе.

Письмо — ему было даже гадко раскрыть и прочесть.

В ежедневном своём письме надо было писать об этом визите Аликс — но невыносимо, хотелось избежать.

Пришла пора спать, — а сна не было. Всегда он крепко спал, но тут обещалась полубессонная ночь: на самом деле всё взбудоражилось и забилося внутри.

Ведь — и Мама́ с ним была заодно, даже полномочила его говорить. И сестра Ольга (а ничего не сказала, прося о своём разводе и браке). И сестра Ксения с мужем Сандро, таким близким другом когда-то. И ещё можно было угадать, с кем в династии они выстраивались во враждебное полукольцо.

«Эра покушений»! И это говорит великий князь!..

Да, против Распутина приходило много обвинительных писем в Ставку, — но анонимные, и это не укрепляло их авторов. В инсинуациях цеплялась и царская семья, — но никто из благородных людей не может верить подобной клевете, она обернётся против своих распространителей. А когда-то Джунковский докладывал о ресторанной попойке Распутина, — но если по этому принципу карать, то многие ли уцелеют среди знати?

Что ж, Распутин мог иметь пороки, как и всякий человек. Но он никак не стоял рядом с троном, не претендовал ни на какой пост, ни на какой доход (как все великие князья). Частное дело царской четы, кому это мешает? почему все придают ему такое большое значение? Ни с чем не сравнивая, вулканическая ненависть к Григорию, всплывавшая в высшем свете и в образованном обществе, могла объясняться только их собственной злостью, силы этой ненависти нечем было объяснить иначе. Встречно — государь не мог ни перед кем унизиться в оправданиях, как много этот человек значил для укрепления духа императрицы. Николай сам не слишком был уверен, насколько именно Григорий излечивал наследника, но Аликс верила страстно, и это укрепляло её. Да ведь сама болезнь наследника никому не называлась, скрывалась тщательно, — так что этой причины нельзя было и выставить.

А от бесед с Григорием государь сам выносил твёрдое ощущение, что этот мужик кореннее смотрит на вещи, чем многие-многие государственные люди, царедворцы или великие князья. И очень бывало полезно и свежо прислушаться. Сколько раз он призывал остерегаться лишних потерь, не биться лбом — чего не понимали многие генералы, изукрашенные звёздами. И брусилковское наступление Григорий предлагал очень вовремя остановить, с тех пор действительно были только потери под Ковелем, а не продвижение. (Генералы у нас порой такие беспамятные, безразумные, даже идиоты, не научившиеся азбуке военного искусства, что государь приходил в полное отчаяние, — но что с ними было поделать? Уж какие есть.)

И очень возвышенно и даже красиво говорил Григорий на темы веры.

Но вот на днях неизбежно предстояла государю ещё одна встреча с великим князем, на этот раз с Николашей: он непременно хотел приехать в Ставку — и невозможно было запретить такой приезд Главнокомандующему Кавказским фронтом после 15-месячного отсутствия. (Аликс очень предупреждала против этого приезда, учила встретить холодно, твёрдо, не дать вырвать никакого обещанья.) Они не виделись даже дольше: сменяя Николашу в Ставке, государь заменил встречу письмом, что он прощает Николашу за все ошибки, жертвы, неудачи и несчастья на фронте — и что не изменились любовь и доверие государя к нему. На самом деле на жгучем рубеже лета 1915 года чувства обоих прошли через большое напряжение и пламень: вопрос, который, казалось, полностью во власти государя, — кто будет Верховным Главнокомандующим, вызвал открытые споры во всём обществе, и всё общество, и Дума, Москва, Петроград и все министры, были за Николашу, а за государя только: сам он, Аликс и Григорий. И тот рубеж ещё и сегодня не мог сгладиться и у Николаши, как и у государя.

Сам государь хорошо помнил, что его решение возглавить армию было собственным, внутренним, давно затаённым, а после падения Варшавы созревшим: не мог он в стороне сидеть и наблюдать, как разгромяют его армию! Но затем он много раз упал духом от всеобщего сопротивления и уже готов был отказаться, — Аликс же и Григорий не сломились, и поддерживали и наводили его на то. И сегодня ему стеснительно было вспомнить такую уж слишком большую роль Григория в этом деле (а Аликс всё напоминала в заслугу тому, что именно Григорий спас тогда

Россию). И знал же государь, что Николаша тоже хорошо всё помнит. И, один из ярейших ненавистников Григория, очень может припомнить при встрече.

И теснилось сердце. Так приезд следующего великого князя обещал второе такое же неприятное объяснение, когда ни ответить, ни выразить ничего нельзя. Тем более, что перед Николашей испытывал он, пожалуй, чувство вины за смещение и, пожалуй, робость перед своим прежним полковым командиром.

Из таких разговоров, приёмов, докладов, дел и состояла стеснённая, зажатая жизнь монарха. Как будто всевластный, не мог он выбрать ни — с кем говорить, ни — о чём.

Простор у него оставался очень малый. Снимать негодных генералов он тоже не мог — нечем заменять и нельзя создавать хаоса. Направить военные действия вопреки мнению Алексеева и главнокомандующих — он тоже не мог. И из Могилёва он не мог уезжать свободно, особенно при неудачах, как сейчас в Румынии. Как приятно не чувствовать себя привязанным к одному месту! — но государь не был так свободен. В самом Могилёве распорядок его был разгорожен общими со свитой и союзными представителями завтраками, обедами, чаями, а ещё чередой приёма приезжающих, а ещё — совсем тесным садиком, где не доставало прогулки его сильному, молодому, отменно здоровому телу. (Доктор Боткин недавно нашёл, что его здоровье ещё лучше, чем два года назад.) И вынужденный жить постоянно в этой каменной городской клетке, государь имел в Могилёве только одно настоящее утешение и раздолье, это — дневные прогулки: три времени года — автомобильные за город, а там на просторе нахаживаться вволю пешком, во время же большой воды в Днепре — любимая гребля. Хотя скоро уже 50 лет, но впервые в Могилёве минувшею весною Николай был поражён таким зрелищем: после трёхдневного тумана над речною поймой — величественным днепровским ледоходом. Это зрелище — на всю жизнь. А затем — как было удержаться от гребли против быстрого течения?... Спортивный задор! — Николай был первоклассный гребец. Собрали две двойки из моряков и всю весну гонялись! — а после гребли такая гибкость во всех членах. Затем — и на быстроходной моторной лодке. Старался больше быть на солнце, чтоб загореть и не походить на бледных штабных офицеров.

А сегодня стоял такой день: необычно тёплый, совсем не по ноябрю, безветренный, но и бессолнечный, даже тёмно-пасмурный, однако и дождь не накрапывал. Такая погода, очень мрачная,

когда сидишь в городском помещении, — раскрывается за городом мягко-поэтично: почти всё уже осыпалось и от желтизны перешло в оловянное, а что-то ещё и держится на последних невидимых скрепах, до первого удара ветра. Всё поднебное, подтучное пространство полей, не слишком далеко видимое, выглядит как единый большой ласковый Божий дом. Тишина, безлюдье, все работы закончены, летние птицы тоже улетели, поля взрыхлены на зиму, — тепло и нежно прикоснуться к этой земле. Наткнулись на недокопанную картошку, отрыли даже без лопаты, развели костёр из сухого стебеля и пекли картошку. И костёр горел не большой, не яркий, тихая часть этого тихого дня. Хорошо сиделось вокруг и молчалось.

В такие минуты проклятую политику — совсем забывал Николай. Войны — не забыл, хорошо ощущал — и те далёкие отсюда окопы, вот в такой же земле, и не слышные сюда снарядные разрывы. Но Боже, как охотно он отдал бы и свой трон, если бы было кому, и Верховное Главнокомандование опять Николаше — и стал бы простым солдатом одного из своих славных полков! — за право вот так сидеть у костра, обжигая пальцы зольною картошкой, ни над чем не измучиваться головой и грудью, но ждать на всё ясного приказа, а пока вести простые человеческие разговоры.

Николай не только не испытывал никакой сласти от власти и пышности, но любил жизнь тем больше, чем она проще обставлена и состоит.

Потянул ветерок, раздувая горячие золинки. Доели картошку, засыпали золу землёй, отряхнули руки и поехали в город.

По дороге ветер усиливался, к перемене. Такая задумчивая погода и не могла устоять.

Сын не ездил с отцом за город потому что приболела нога. Но у него была сегодня своя забава: опробовалась прямая телефонная линия в Царское Село, и он пытался говорить с мамой. Ничего путём не вышло. Сам государь ненавидел телефоны и предпочитал ими никогда не пользоваться.

А с ногой у Алексея было неважно: растяжение жилы и, как всегда у него от всякой неполадки, — сразу внутренняя опухоль, нарушение кровообращения. Доктор велел ему лечь. (А пять дней назад у него начиналось опасное кровотечение из носа, но к счастью удалось прилечь.)

И тут же узнал государь, что разболевается генерал Алексеев. Государь пошёл его проведать, — но Алексеева предупре-

дили, и он успел из постели встать. Государь бранил его, требовал тотчас лечь при нём, старик упирался. Это было затянувшееся недолеченное заболевание почек, теперь и с сильным жаром, и уже ясно было, что Алексееву нельзя продолжать работать, а надо ехать лечиться, и уже несколько дней стоял вопрос о замене, — и Алексеев неожиданно предложил командующего гвардейской армией генерала Гурко. Да главнокомандующего фронтом и отрывать было нельзя. (Да государь даже думал бы обойтись с услужливым Пустовойтенкой.)

Но с Алексеевым — жалко было государю расставаться. За 15 месяцев он очень к нему привык, так ладно и без споров шли у них ежедневные доклады. Привык и к его мирному виду как бы гимназического захудалого учителя, да пожалуй даже чуть ли не чеховского Беликова, к его козырьку, наплюснутому на очки, простоватым не холёным усам, ворчливому говорку. Никогда не бывало гневной вспышки меж ними, резкого несогласия, как-то всё убедительно Алексеев обосновывал, а привязанности ко всем министрам, которых государь постепенно выбирал, он и не мог требовать от начальника штаба. Правда, Алексеев непрерывно должен был иметь дело то с продовольствием, то с транспортом, то с металлом — и этим летом не выдержал, предложил проект «гражданской диктатуры» — создать пост «верховного министра государственной обороны», который распоряжался бы всем тылом, как Ставка фронтом, и Ставке бы иметь дело с одним таким министром. И много дельного было в этом проекте, — но во что тогда превращался совет министров? и четыре Особых Совещания с общественностью? Это грозило ссорой с общественностью, а зачем их зря дразнить? Так государь помялся над проектом и отложил его. Но это не испортило его отношений с Алексеевым.

— Да лягте же, Михаил Васильевич, вот так, в сапогах, иначе я не буду с вами разговаривать.

— Уже сижу, трудней подняться, ваше величество.

Кресло у Алексеева было потёртое, простенькое, жёсткое, но на сиденье всегда лежала вязаная подстилка.

Отношения их могли испортить, в эти же последние месяцы, письма Гучкова к Алексееву. Даже не допуская, что Алексеев на них как-то отвечал (а может быть?), обидно было государю само сокрытие таких гадких, лживых писем: ведь получив — не показал, а спрятал в ящик (уверял, что — и не получал). И уже в столицах письмо Гучкова ходило по рукам, пока наконец его смогла получить Аликс и переслать государю, только так он и узнал.

Это положило обиду между ними. И всё-таки не испортило отношений. Государь любил этого старика-генерала. (Впрочем, и не старика, всего на 11 лет старше. Как раз завтра был день его рождения — и государь помнил и приготовил подарок.)

Огорчён был государь и тем, что с болезнью и отъездом Алексеева ему самому тем более уже никак никуда не удастся поездить. Значит, пусть Аликс на будущей неделе придет сюда.

Ещё поговорили немного, и Алексеев, читавший сегодняшние газеты, сказал, что Дума вчера при открытии дурно себя вела.

Он не сказал о подробностях, а государю было даже противно расспрашивать — и не менее противно идти брать в руки эти гадкие газеты и искать в строках милости или немилости Думы. Но он сразу рассеялся, расстроился, перестал улавливать тему их разговора. Ушёл.

Что же смотрит безобразный Родзянко, камергер, удостоенный орденами и почестями, — почему он не держит их в руках?

А ведь уговаривал Штюмер: вообще не созывать Думу этой осенью, продлить её перерыв ещё на год, или совсем распустить, а следующей осенью ей переизбираться.

Но государь считал такую меру недопустимой и неблагородной. Он всё же надеялся, что у думцев хватит национального сознания — не разжигать грызни и помех сейчас, дать спокойно окончить войну.

Расстроился. И обеспокоился. И не читая всех их тамошних речей — он уже заранее их представлял. И теперь искал тревожно: как же против них устоять? Что делать с правительством? С этим составом — можно ли устоять? Или кого-то придётся уступить, чтоб успокоить Думу?

В самом правительстве не было дружности и взаимного доверия. Поодиночке, разными способами, в разное время подысканные министры не одобряли друг друга. Старый Трепов, Александр, с которым государь разговаривал на днях в обратном поезде из Царского, — может быть мог бы стать новым премьером. Он был готов заменить Штюмера, но непременно снять и Протопопова. (С тех пор Николай ещё не виделся с Аликс и в письмах ей ещё ничего не написал, побаивался, он обдумывал пока в одиночку.)

Как он надеялся в своё время на Штюмера! Он надеялся, что его назначение грянет как гром. Как строго показывал он всем министрам, что Штюмера надо уважать! И старик старался. И — честный, хороший, и неглупый старик. Но — кто может понравиться думской банде? Кто может против неё устоять?

Может быть Трепов, он жёсткий человек.

И уступать тогда ещё и Бобринского, и Протопопова?

Но это вызовет гневный протест Аликс, даже страшно представить. Протопопова она ни за что не даст. (И Григорий...)

Протопопова и самому жаль уступить: с ним удивительно легко разговаривать и работать, нет в нём назойливой резкости слов и поступков (как бывало со Столыпиным: каждый разговор — напряжение до муки), а Протопопов умеет оставить простор и догадке, случайности, вероятности, недоговору — славный, лёгкий человек.

Да разве — эти уступки укрепят правительство и трон? А не покажут новую слабость?

Вереница министров, которыми он пожертвовал, пытаюсь насытить Думу, протягивалась в его печальной памяти, — и любимый Николай Маклаков, и умница Щегловитов, и честный Рухлов — и даже своего военного министра — во время войны! — он разрешил отдать под суд! — всё равно как самого бы себя. (И до последнего дня не решался выпустить Сухомлинова на поруки.)

И всё равно не угодил нисколько. И только жарче и разъярённее наседали. Так для чего и уступал?

И положение стало казаться ему таким же нагромождённо-безвыходным, как летом Пятнадцатого года.

Погружённый в это мрачное размышление и во всей Ставке не имея, с кем поделиться, государь между тем со сдержанным лицом отбывал распорядок дня и кого-то принимал — эти процедурные приёмы изводили его, отбирая всё время и внимание. А на поздний вечер оставались — бумаги, бумаги.

Между тем у Бэби нога опухла хуже, поворачивал с болью, и смотрел привычно-печальными большими отцовскими глазами, не по возрасту привыкнув к своей горькой судьбе.

Когда Алексею подошло время спать, Николай помолился, став близ его постели, а Алексей повторял лёжа.

Они спали на походных кроватях в общей маленькой комнате, — и всю ночь отцу были слышны, под вой ветра снаружи, стоны мальчика здесь.

От этих стонов отец готов был рыдать или бежать куда-нибудь.

Сильный толкающий ветер перешёл в ливень и как будто со снежинками.

СОДА

Последний год Блока

*Часть заключительной главы из второго тома биографии «The Life of Aleksandr Blok», Oxford University Press, London & New York 1979, 1980, т. II. «Освобождение гармонии. 1908-1921», в переводе автора.**

В последний год жизни Блок много думал о пути, пройденном им в искусстве, от Стихов о «Прекрасной Даме» до «Двенадцати», и признал его последовательным и нужным. Между тем, он неоднократно говорил разным собеседникам, что из всего, что он написал, наиболее значительным для него остается Первый Том.¹ Вернувшись в мыслях к Владимиру Соловьеву, властителю дум его юности и пророку Вечной Женственности, Блок увидел звено, соединяющее начало его дороги с концом ее. 15-го августа 1920 года Блок выступил в Волфиле с докладом «Владимир Соловьев и наши дни». Он сказал:

Наше время связывают с временем Великой французской революции... Чем дальше разворачиваются события, тем больше утверждаюсь я в мысли, что такое сравнение недостаточно, — оно слишком осторожно, в некоторых случаях даже трусливо. Все отчетливее сквозят в нашем времени черты не промежуточной эпохи, а новой эры, наше время напоминает не столько рубеж XVIII и XIX века, сколько первое столетие нашей эры. (VI.155)

У Соловьева, заканчивал Блок, «не было приюта меж двух враждебных станов», и он до сих пор так и остался непризнанным ни той, ни другой стороной, «ибо он был носителем какой-то части этой третьей силы, этого, несмотря ни на что, идущего на нас нового мира», торжественно плывущего через весь хаос настоящих «темных веков».

* Заметка переводчика. Будучи профессиональной переводчицей, я никогда не умела точно переводить самое себя, по той же причине, по которой избегаю сама переписывать свои рукописи на машинке. Хочется менять, отшлифовывать. Поэтому я назвала бы эти отрывки «авторизованным пересказом». В частности, в русском варианте я, как правило, ближе к первоисточникам, в некоторых случаях даже заменяю пересказ прямой цитатой, в надежде, что особый аромат подлинных документов того времени вознаградит читателя за некоторую скованность моего слога.

Теперь же, окончательно отойдя от прошлого, отправляясь в предрешенное плавание по этим томительно долгим, темным, переходным векам, все, что оставалось сделать, было — держать курс, стиснув зубы. В театре, где, несмотря на возрастающие неполадки с Марией Федоровной Андреевой, работа доставляла Блоку немало удовлетворения, шли репетиции Короля Лира в переводе, отредактированном Блоком и Замятиным. 3-го августа 1920 года Блок обратился к актерам с речью, «сухой, горькой, взрослой» речью, предназначенной ввести их в атмосферу пьесы. Слова Блока напоминали любимую им раньше цитату из Тютчева о мужестве. «Во имя чего все это создано?» — спросил он в заключение, и ответил:

Во имя того, чтобы открыть глаза на пропасти, которые есть в жизни, обойти которые не всегда зависит от нашей воли. Но раз в этой жизни есть столь страшные провалы, раз возможны случаи, когда порок не побеждает и не торжествует, но и добродетель также не торжествует, ибо она пришла слишком поздно, — значит, надо искать другой жизни, более совершенной?

Об этом ни слова не говорит жестокий, печальный, горький художник Шекспир. Он мужественно ставит точку, предлагая «смириться перед тяжелой годиною». Он ведь художник, а не священник, и как бы повторяет древние слова: «Страданием учись». (VI.409)

Теперь же, когда, на одной из последних репетиций Лира, актеры захотели выбросить сцену вырывания глаз у Глостера, Блок возразил, сказав: «Наше время — тот же самый XVI век... Мы отлично можем смотреть самые жестокие вещи».² Он не допускал окончательного торжества зла и смерти, но он также не закрывал глаза на временную их победу.

Мрачное предчувствие Блока относительно ближайшего будущего сквозит в рассказе Всеволода Рождественского об очередном собрании Союза Поэтов. От нечего делать, поэты часто читали по кругу стихи, и очередь была за Блоком:

В этот раз Блок прочел не больше пяти-шести стихотворений. Все молчали, завороченные его голосом. И когда уже никто не ожидал, что он будет продолжать, Александр Александрович начал последнее: «Голос из хора». Лицо его, до тех пор спокойное, исказилось мучительной складкой у рта, слова звенели глухо, как бы надтреснуто. Он весь чуть



Александр Блок
(1907)

подался вперед в своем кресле, на глаза его упали, наполовину их закрывая, тяжелые веки. Заключительные строки он произнес почти шепотом, с мучительным напряжением, словно пересиливая себя.

И всех нас охватило какое-то подавленное чувство. Никому не хотелось читать дальше. Но Блок первый улыбнулся и сказал обычным своим голосом:

— Очень неприятные стихи. Я не знаю, зачем я их написал. Лучше бы было этим словам остаться не сказанными. Но я должен был их сказать. Трудное надо преодолеть. За ним будет ясный день. А знаете, — добавил он, видя, что никто не хочет прервать молчание, — давайте-ка все прочитаем из Пушкина. Николай Сепанович, теперь ваша очередь.³

«Во имя чего все это создано?» «Я не знаю, зачем я их писал. Лучше бы было этим словам остаться не сказанными. Но я должен был их сказать». Для Блока это было — как если бы писатель не придумывал, а буквально записывал какую-то вечно существующую правду.

Когда раньше, этим летом, Гумилев, прочитав лекцию о поэзии Блока, сказал, что конец «Двенадцати» ему кажется искусственно приклеенным и что появление Христа является «чисто литературным эффектом»,

...Блок слушал, как всегда, не меняя лица, по окончании лекции сказал задумчиво и осторожно, словно к чему-то прислушиваясь:

— Мне тоже не нравится конец «Двенадцати». Я хотел бы, чтобы этот конец был иной. Когда я кончил, я сам удивился: почему же Христос? Неужели Христос? Но чем больше я вглядывался, тем явственнее я видел Христа. И я тогда же записал у себя: к сожалению, Христос. К сожалению, именно Христос.⁴

Осенью 1920 года Блок как будто удивился тому, что всё ещё пишется настоящая поэзия. Мандельштам, вернувшийся к концу октября с юга, где он «побывал во врангелевской тюрьме», прочел прекрасные стихи. «Он очень вырос... Его стихи возникают из снов — очень своеобразных, лежащих в областях искусства только. Гумилев определил его путь от иррационального к рациональному (противуположность моему)». (VII.371). Но у Блока снов больше не было. Чуковскому он сказал: «Все звуки прекратились. Разве вы не слышите, что никаких звуков нет?»⁵ А в раз-

говоре с Надеждой Александровной Павлович он сравнил себя с героем повести Киплинга «Свет погас»:

Там слепнет человек...
Ко мне пришел такой же час,
И я оглох навеки!⁶

«Было бы кощунственно и лживо припоминать рассудком звуки в беззвучном пространстве», — объяснил он в частном письме.⁷ Это состояние внутренней оглушенности овладевало им постепенно в течение последнего года его жизни, но он пока еще окончательно не отчаивался вернуться к творчеству. Зоргенфрей, давнишний знакомый и теперь уже друг, несколько раз пытался с ним об этом говорить.

...но объяснения А. А. были сбивчивы и смутны. «Разреженная атмосфера... множество захватывающих и ответственных дел...» (...) «Было бы не совсем добросовестно взваливать все на трудные времена», произнес он в конце 1920 года; «мешает писать также и чрезмерная требовательность к себе». В самом начале 1921 года почувствовал он, по его словам, что «что-то началось в нем шевелиться, части остановившегося механизма приходят в движение»; раннею весною стал уверенно говорить о приближении иных, допускающих творческую деятельность, условий — и тогда же заболел смертельно.⁸

И в самом деле, после трудной осени и мучительной встречи Нового Года, которую Любовь Дмитриевна отпраздновала со своими товарищами актерами (она репетировала «Виндзорские Проканницы» в Театре Народной Комедии, и ходили слухи, что она увлекается одним из клоунов), Блок действительно как будто воспрянул, сделал мужественную попытку вернуться к творческой работе, и в речи «О назначении поэта» сумел придать завершающую форму своим заветным мыслям об искусстве и о художнике.

Возрастающее политическое давление на мир искусства возбуждало ответное сопротивление у поэта. Защищая Юрьева, недисциплинированного актера Большого Драматического Театра, к которому сам он относился весьма неодобрительно и дело которого актеры хотели довести до «милиции», Блок записал: «Я нашел в себе силу указать на свою точку зрения», что «искусство с воздействиями какой бы то ни было власти несовместимо». (VII.385)

После случая с Юрьевым следующая длинная запись в дневнике Блока закрепляет старую его мысль, которую он сейчас по-новому понял:

Еще раз: (человеческая) совесть побуждает человека искать лучшего и помогает ему порой отказываться от старого, уютного, милого, но **умирающего и разлагающегося** в пользу нового, сначала неуютного и не милого, но обещающего свежую жизнь.

Обратно: под игом насилия человеческая совесть умолкает; тогда человек замыкается в старом; чем наглее насилие, тем прочнее он замыкается в старом. Так случилось с Европой под игом войны, с Россией — ныне. (VII.388, 24 декабря 1920 г.)

На заседаниях издательства Всемирная Литература раздражение Блока против руководства также обострялось. 4-го января он записал, как по пути с Моховой, где помешалось издательство,

...изозлился я так, что согрешил: маленького мальчишку, который, по обыкновению, катил навстречу по скользкой панели (а с Моховой путь не близкий, мороз и ветер большой), толкнул так, что тот свалился. Мне стыдно, прости меня, Господи. (VII.390)

После Нового Года пришлось обратиться к доктору Пекелису. У Блока наметились боли в области сердца и одышка; хождение пешком из дома во Всемирную Литературу и в театр стало для него жестоким испытанием из-за боли в ноге, которую он приписывал «подагре».

Теперь, однако, он переборол возрастающее духовное и телесное неблагополучие, чтобы сосредоточиться на Пушкине, со словом о котором его просили выступить по случаю 84-ой годовщины смерти поэта. Пушкин, думал Блок, ему поможет сразу на двух фронтах: возразить акмеистам, с их концепцией математического вычисления стихов, и, одновременно, доказать недопустимость подчинения искусства какому бы то ни было внешнему авторитету. Он записал:

1836 «из VI Пиндемонте» (чтобы не узнали). Вот — свобода! Потребна: «Поэт может настаивать на своем праве (на личную свободу), потому что цель его деятельности не может быть определена ни им самим, ни другими заранее. Но ведь и там, где эта цель заранее со стороны определима,

вмешательство в самый способ ее достижения портит дело. И извозчик, нанятый до места или на час, хочет, чтобы его не дергали и не мешали править лошадыми». (VII.399-400, 21 января 1921 г.)

11-го февраля Блок вписал в альбом Пушкинского Дома свое последнее законченное стихотворение: последнюю дань Петербургу; последнее утверждение надежды, что сквозь «пламенные дали» и «сине-розовый туман» над Невой поэты его поколения прозрели не «кратковременный обман» этих гнетущих дней, но «грядущие века». Обращаясь прямо к Пушкину, Блок упоминает о т а й н о й свободе, исконно воспетой русской поэзией, и зовет его на помощь:

Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе.
Не твоих ли звуков сладость
Вдохновляла в те года?
Не твоя ли, Пушкин, радость
Окрыляла нас тогда?

.....

Вот зачем, в часы заката
Уходя в ночную тьму,
С белой площади Сената,
Тихо кланяюсь ему.

Позднее эти строки зазвучали прощально. Едва ли, однако, они были задуманы как «последние слова». В январе Блок прошел через острейший приступ депрессии («очевидно, я болен; устаю, голова плохо думает, страшно тяжело... черные сны, а также — очень грозные полусны, полуявь». (VII.400-1, 25, 27 января). Но это еще не было концом. Это было изнанкой последнего подъема творческих сил, последней борьбы, ибо, как раз в это время, Блок пытался вернуться к «Возмездию», сравнивая свои попытки усмирить мифического коня с усмирением коня реального:

Пойдешь туда, куда мне надо,
Грызя и пеня удила,
Пока вечерняя прохлада
Меня на отдых отвела...
Смирись, и воле человека
Покорствуй, буйная мечта...

И Пегас склонил гордую голову и еще раз бережно понес умирающего поэта — но не в «сияющую пустоту» его демонических

снов, и не по сложным, темным лабиринтам истории; он нёс его в «угол рая», когда-то купленный за грош милыми ему стариками, где каждая былинка, каждое дерево или куст напоминали ему его колыбель. И на крыльцо, навстречу ему, вышла старушка, за-слонив лицо от солнца...

И сразу стало всё знакомо,
Как будто длилось много лет, —
И серый дом, и в мезонине
Венецианское окно,
Цвет стекол — красный, желтый, синий,
Как будто так и быть должно.
Ключом старинным дом открыли
(Ребенка внес туда старик)
И тишины не возмутили
Собачий лай и детский крик.
Они умолкли — слышно стало
Жужжанье мухи на окне,
И муха биться перестала,
И лишь по голубой стене
Бросает солнце листьев тени,
Да ветер клонит за окном
Столетние кусты сирени,
В которых тонет старый дом.
Да звук какой-то заглушенный —
Звук той же самой тишины,
Иль звон церковный, отдаленный,
Иль гул (неконченной) весны,
И потянулись вслед за звуком
(Который новый мир принес)
Отец, и мать, и дочка с внуком,
И ласковый дворовый пес...

И дверь звенящая балкона
Открылась в липы и сирень,
И в синий купол небосклона,
И в лень окрестных деревень...

(III.468)

Последние стихи Блока не были ни трубным призывом «Скифов», ни элегантным александринским прощанием «Пушкинского Дома», но этими строками о Шахматове, датированными: 1921 год, январь, май, июль, и некоторыми несвязными попытками

продолжить третью главу «Возмездия» (май-июль 1921 г.), и, под самый конец, *теа culpra* всех сильных духом:

Я не свершил.....

Того, что должен был свершить.

(III.473)

Этой весной, однако, Блока ожидала ещё одна торжественная встреча с публикой: 13-го февраля на закрытом заседании в Доме Литераторов он прочел свою речь «О назначении поэта». (VI.160-8)*

В этой речи он взывал к чиновникам, чья власть над литературой становилась все более ощутимой, оставить поэту ту «тайную свободу», тот «покой и волю», о которых Пушкин писал с такой тоской незадолго до того, как сам погиб в удушливой атмосфере двора, «от отсутствия воздуха». Но Блок закончил свою речь на звенящей ноте твердой надежды:

Мы умираем, а искусство остается. Его конечные цели нам неизвестны и не могут быть известны. Оно единосущно и нераздельно.

Я хотел бы, ради забавы, провозгласить три простых истины:

Никаких особенных искусств не имеется; не следует давать имя искусства тому, что называется не так; для того, чтобы создавать произведения искусства, надо уметь это делать.

В этих веселых истинах здравого смысла, перед которым мы так грешны, можно поклясться веселым именем Пушкина. (VI.168)

За блоковскими словами не было никакого скрытого смысла. Они также не являлись, как часто предполагают, плодом полного отчуждения от окружающей действительности. Он был активно причастен к советской литературной политике, открыто, поскольку хватало сил, удерживал в рамках произвола Ионова и других чиновников от литературы; ограждал убеждения Замятина и «Алконоста», отстаивая недопустимость подчинения искусства каким-либо ближайшим целям, так как оно — всегда о будущем;

* Чтение было повторено 26-го февраля, также в Доме Литераторов, но, по словам матери Блока (в письме сестре Марии Андреевне), торжество первого заседания не повторилось. Она, в частности, жаловалась на «густую атмосферу кадетства»). В мемуарах современников часто трудно разобрать, о каком именно чтении идет речь.

боролся за право на разнообразие и на «прихоть» в жизни и в издательствах, и в равной мере в книгах и мечтах.⁹ Что же касалось ежедневных конфликтов в области культуры, то Блок боролся открыто, если вообще вступал в бой, исходя из ситуации. Он до последнего пренебрежительно отзывался о «критике из-за забора», будь это критика из-за границы или со стороны тех, кто, не уехав, тем не менее отрицали всякую свою ответственность за происшедшее. В Пушкинской речи, однако, Блок поднялся над злободневностью. Это речь об искусстве, не о политике.

Многие утверждали, что Пушкинская речь — апофеоз Блока, но это едва ли так. Апофеозом Блока была поэма «Двенадцать»: здесь ему удалось с предельной художественной убедительностью выразить свою великую и простую мысль о «третьей силе», о звуке с какого-то другого берега, вечно пребывающем за хаосом и сотрясениями нашего истерзанного и страшного мира. Немногие тогда сумели услышать его и понять. Речь «О назначении поэта» была тихой речью, состоявшей из доходчивых слов, негромко произнесенной в сумеречное время перед группой интеллигентных людей, угнетенных предчувствием неминуемо надвигающейся на них страшной ночи. Блок, однако, указал, как всегда, на вольное утро, на зеленый сад за темным коридором — и на этот раз его услышали и поняли все.

Март и апрель 1921 года прошли очень тяжело. Из-за Кронштадтского восстания Петроград был вновь поставлен на осадное, затем и на военное положение. Блоку стало трудно дышать; болело колено; и он начал ходить с палкой. С Любовью Дмитриевной они получали горячие пайки, что означало, что у них были сахар, мясо и жиры, но не хватало денег, и они не могли себе позволить что-либо прикупить.*

О витаминах никто и не думал, но Блоку трудно было обходиться без вина, ему часто не хватало на табак. Еще раз вызвали доктора Пекелиса, который сказал, что у Блока артериосклероз.

Человеческие отношения в жизни поэта казались непоправимо запутанными и болезненными. Он окончательно понял, что

* 12 апреля/30 марта, например, Александра Андреевна написала сестре о том, что она ходила два дня подряд на толкучку с портфелем покойного Франца Феликсовича и продавала его. Только когда продала, они сумели купить картошки.

мать и жена никогда не уживутся вместе и так и сказал им, любя и ту и другую. Теперь Блок, который всегда находил в этих стенах убежище, говорил о своей квартире не иначе, как: «это место», «этот дом». То и дело натянутые отношения между матерью и женой раздражались бурными сценами: один раз буквально над ведром с помоями. Всегда атмосфера была натянутой и мрачной.

Иногда Блоку казалось, что он любит Любовь Александровну Дельмас, зачастившую к нему опять с осени, когда у Любови Дмитриевны пошла своя жизнь вне дома. У Дельмас всегда были какие-то интересные новости, и она сохранила свое обаяние и способность его развеселить. Блок находил ее интересной «до последней степени» (З.К. 503, 3 октября 1920). Александра Андреевна писала ей благодарно:

Так уметь понять, как нужно беречь в нем писателя, поэта, так уметь отойти и подойти, это может продиктовать лишь настоящая любовь. Никто как Вы не умеет бодрить его, направлять к разумному...¹⁰

Но Дельмас не могла бы взять на себя уход за больным человеком, да и речи об этом не было.

«Вначале Кронштадтских дней» Блок порвал отношения с Павлович, когда чересчур интенсивно проявилось то, что она сама называла своим страстным и поверхностным любопытством. Разрыв был для него болезненным, так как её понимание его судьбы в поэзии было и глубоким, и мужественным, а сама она — очень молода и очень несчастна. К тому же, ей удалось примирить его с Пястом. Блок привык к ней; она была одним из тех немногих людей, при которых он еще мог есть.* Когда они случайно встретились в очереди за пайками, вид у нее был настолько расстроенный, что он не мог не подойти и не пожать ей молча руку.

«Болезнь моя росла, — записывал он этим летом. — Усталость и тоска загрызали, в нашей квартире я только молчал». (VII.420). Встретившись со старым своим другом и приятелем, Георгием Чулковым, Блок вдруг спросил его: «Георгий Иванович, вы хотели бы умереть?» Чулков ответил не то «нет», не то «не знаю». «А я очень хочу», — сказал Блок.¹¹

Поэта также глубоко расстроило введение НЭП'а, или, вернее, сопровождающие НЭП явления. После трех лет таких лише-

* Есть при чужих он уже не мог из-за нервных спазм горла.

ний, какие испытали жители Петрограда во время военного коммунизма, горько было видеть вновь возникающее неравенство и разнузданную вульгарность. Алянский, который дружил с Александрой Андреевной, также и с Блоком и с Любовью Дмитриевной, как-то сидел на ее половине. Вдруг Александра Андреевна, как будто потеряв нить разговора, несколько раз запнулась, и, прижав пальцы к вискам, чуть слышно проговорила: «Знаете, с Сашенькой что-то случилось». Мария Бекетова как-то рассказала Алянскому, что мать и сын на расстоянии чувствуют тревогу и волнение друг друга. Теперь он имел возможность в этом убедиться, когда

...только спустя минуты две я услышал, как хлопнула входная дверь с лестницы, резко раскрылась дверь в комнату, и неожиданно вбежал бледный и крайне взволнованный Александр Александрович... Не заметив меня, Блок сразу обратился к матери...

...Когда шел сейчас домой, на улицах из подворотен, подъездов, магазинов, из всех щелей — отовсюду выползли звуки омерзительной пошлости, какие-то отвратительные фокстроты и доморошенная цыганщина. Я думал, что эти звуки давно и навсегда ушли из нашей жизни, — они еще живы... Мама, неужели все это возвращается?¹²

Алянский никогда не видел поэта столь встревоженным, и позднее ему казалось, что именно этот вечер и был началом его тяжелой болезни.

7-го мая 1921 года, в первый день Пасхи, Блок опять отправился в Москву, на этот раз с Чуковским и Алянским. По дороге он угощал их куличом из дома и был, или казался, почти веселым. Чуковский был в ударе, и так удачно забавлял Блока всю дорогу рассказами, что тот самозабвенно смеялся, только иногда морщился, менял положение, вытягивая болную ногу.

К Чуковскому он стал тепло относиться. Этот долговязый человек со своим удивительным умением писать детские стихи работал теперь над книгой о поэзии Блока вместе с Евгенией Федоровной Книпович.¹³ На последнем вечере поэзии Блока в Петрограде Чуковский выступил с неудачным вступительным словом, и был достаточно умен и скромен, чтобы это понять. Блок очень его пожалел и, подсев к нему в антракте, утешал, предлагая вместе сняться. «И так мы вышли на снимке; я с убитым лицом, а он с добрым, очень сочувственным. Врач у постели больного».

Веселье по дороге в Москву было, однако, лишь первой реакцией на перемену атмосферы. Блок позднее вспоминал, как Чуковский «заговорил» ему боль в колене.

Целью поездки было помочь Блоку восстановить утраченные за зиму силы: финансовые, физические и моральные. Встретила его на вокзале Н. А. Нолле-Коган, на машине с большим красным флагом, прежде принадлежавшей царю. Это неуютное начало никак не помогло восстановлению праздничной атмосферы предыдущего года. Друзья поэта не поняли, что они имеют дело с умирающим. Главная забота их состояла в том, чтобы помочь ему заработать денег на санаторий. МХАТ все еще сулил поставить «Розу и крест» «следующей осенью», но теперь театр мог предложить только минимальный аванс. В конце концов, с помощью Коганов, Блок подписал договор с другим театром на 5.000.000 рублей, из которых ему был тут же выплачен 1.000.000 авансом. Эти головокружительные суммы, и попытка Станиславского в последнюю минуту все же забронировать пьесу для МХАТ'а, плюс еще разные предложения со стороны Луначарского по поводу возможного издания его стихов, — предложения, которые, как ему казалось, смахивали на благотворительность и от которых «слава Богу, сумел отказаться» (VII.419) — очень утомили поэта.

Выступления тоже не все прошли с успехом. На одном из них некий малоизвестный литературный критик кричал из аудитории, что Блок — труп. Это было преднамеренной попыткой со стороны футуристов спровоцировать скандал. Пастернака и Маяковского предупредили. Вдвоем они отправились уговорить хулигана, но пришли поздно. Маяковский, однако, был в тайне скорее согласен с критиком, и потом холодно вспоминал о Блоке, безнадежно твердившем с эстрады свои старые «цыганские» и другие стихи, которые, как Маяковскому казалось, не имели никакого реального отношения к миру 1921 года. В этот вечер он подумал, что Блок явно ждет смерти. Алянский вспоминает, что Блок сначала реагировал спокойно, но что враждебный окрик все-таки застрял у него в мозгу, и он заговорил об этом на обратном пути.

Когда из Дома Печати, где ему сказали, что он уже умер, он ушел в Итальянское Общество, часть публики пошла вслед за ним. Была Пасха, был май, погода была южная, пахло черемухой, Блок шел в стороне от всех, вспоминая свои «Итальянские стихотворения», которые ему предстояло

сейчас прочитать. Никто не решался подойти к нему, чтобы не помешать ему думать. В этом было что-то волнующее. По озаренным луною переулкам молча идет одинокий, печальный поэт, и за ним, на большом расстоянии, с цветами в руках, благоговейные, л ю б я щ и е, которые словно чувствуют, что это последние проводы.

В «Итальянском Обществе» чтение прошло более торжественно. «Итальянские стихи» свои Блок читал «упоительно, как еще ни разу не читал их в Москве: медленно, певучим, густым, страдающим голосом».

В целом, ему удавалось скрыть свое крайнее утомление. Только Андрюша Кублицкий, глухо-немой двоюродный брат Блока, с детства к нему особенно привязанный, был необычно нежен, когда поэт зашел навестить своих родственников. Матерьяльное положение Кублицких резко ухудшилось, и уже никак нельзя было их причислить к «сытым».

Одно происшествие, однако, потрясло Чуковского:

Он читал свои стихи в Союзе Писателей, потом мы пошли в ту тесную квартиру, где он жил, сели пить чай, а он ушел в свою комнату и, вернувшись через минуту, сказал: — Как странно! До чего все у меня перепуталось. Я совсем забыл, что мы были в Союзе Писателей и вот сейчас хотел сесть писать туда письмо, извиниться, что не мог прийти.

Это испугало меня. В «Союзе Писателей» он был не вчера, не третьего дня, а сегодня, десять минут назад.¹⁴

На вокзале в Петрограде Любовь Дмитриевна встретила его, не на царской машине, а на старых дрожках с нанятой на день лошадью: «мне захотелось плакать, одно из немногих живых чувств за это время (давно: тень чувства).» (VII.420).

«Саша вернулся из Москвы», — записала Любовь Дмитриевна уже после его смерти 24-го ноября 1921 года.

Была наша пронзительная нежность, радость видеть опять, за натянутостью после этой несчастной зимы. Настроение после первых часов опять стало мрачное и подавленное, и когда в один из дней до 17-го я уговорила его пойти со мной погулять по нашим любимым местам (по Пряжке к Мойке, к Неве, к переезду, назад мимо Франко-Русского Завода), был солнечный день, росла молодая трава, Нева синяя, все, что мы любим — он не улыбнулся н и р а з у, ни мне, ни всему; этого не могло быть прежде.¹⁵

С 17-го мая Блок почти не выходил из дома и все чаще лежал. Как-то в июне ему вдруг захотелось посмотреть на море, и Любовь Дмитриевна поехала с ним на трамвае в Стрельну. День прошел спокойно, почти радостно, но, вернувшись домой, он лег, и после этого больше не выходил.

Александра Андреевна жила этим летом у сестры в Луге, желая, чтобы «дети» отдохнули от ее присутствия. Еще осенью Любовь Дмитриевна сказала ей, что она насыщает атмосферу своим беспокойством,* и она знала, что отчасти это так.

Любовь Дмитриевна, в свою очередь, поняв, что муж серьезно болен, вдруг почувствовала свою ответственность. Она бросила театр, отказалась от общества своих клоунов, от всякой жизни вне дома и целиком посвятила себя Блоку. Тот еще в мае простился с Женей Ивановым, который зашел как раз в день, когда он чувствовал себя до того плохо, что еле выдавливал слова. В те же дни Блок простился и с Дельмас, которую он перекрестил и попросил отнести письмо Александре Андреевне. 26-го мая он написал Чуковскому известное письмо с иронической автоцитатой из своей собственной пародии: «Итак, «здравствуем и посейчас» сказать уже нельзя: слопала-таки поганая, гнившая, родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка». (VIII.537). После этого он уже ни с кем не хотел общаться, кроме жены и Алянского, который помогал разбирать дневники и альбомы, рассказывал о том, как готовятся его книги к печати в Алконосте, приносил гранки и новые издания, и вообще держал его в курсе литературной жизни. Всю вторую половину мая и почти весь июнь Блок работал над своим архивом. Он сидел час-другой за столом, потом ложился отдохнуть на диван, с тем, чтобы вновь встать и заставить себя продолжать работу. Однажды Алянский застал его с кипой разорванных надвое записных книжек и отдельно выданных страниц, предназначенных к уничтожению. Алянский, весьма расстроенный, побежал к Любви Дмитриевне и попросил ее отнять книжки. «В тот момент, несмотря на спокойное, улыбающееся лицо, Блок показался мне безумцем». Но она ответила: «Что вы, разве возможно? Второй день он занимается дневниками и записными книжками, все пересматривает...»¹⁶

* В письме М. П. Ивановой 1/14 октября 1920 года, Александра Андреевна рассказывает об этом, но добавляет: «Любу нельзя не любить. Несмотря на все это, я ее люблю самой настоящей любовью — уже очень много в ней милого, симпатичного и, главное, детского».

К концу июня Блок окончательно слег, и Пекелис, с мая месяца рекомендовавший больному лечение в заграничном санатории, стал категорически на этом настаивать.* Блок, до сих пор сопротивлявшийся этому замыслу, теперь согласился, но разрешение задержалось из-за некоторых неосторожных высказываний в западной прессе, которые позволил себе Бальмонт, недавно получивший разрешение на аналогичную поездку. Когда, благодаря усиленным хлопотам, Блоку разрешение подписали, он уже был настолько слаб, что Любовь Дмитриевна решила, что ему одному не вынести дороги. «Хлопочу сейчас и о том, — писала она свекрови, — чтобы меня выслали с ним за границу (...) В таком случае можно будет ехать и слабому: опять неизвестно — разрешат ли». И в самом деле, чтобы продвинуть второе прошение, пришлось подождать приезда Горького в Москву. Он добился пропуска и для жены поэта. Книпович собиралась съездить в Москву за документами в самый день кончины Блока.

В последние недели жизни Блок, как он писал матери, принимал «водевильное количество лекарств». (VIII.539). Порой ум у него был ясный, порой на него находили ужасные приступы опустошенности или гнева. В припадке раздражительности он бросил на пол и разбил все склянки с огромным трудом доставаемых лекарств, в другой раз, взяв кочергу, вдребезги разбил бюст Аполлона Бельведерского, который всегда стоял у него на письменном столе.

Любовь Дмитриевна приняла эту болезненно усилившуюся «потребность бить и ломать» как обостренное «продолжение здорового состояния». Она пишет, что такие приступы «не сопровождались какими-нибудь клиническими признаками ненормальности». Более мучительное горе для нее было в том, что, по мере того, как прогрессировала его болезнь, Блок постепенно терял возможность уходить с нею в тот «их» мир, который, как она пишет, нашел отдаленное отражение в его стихах и «во всем детском», где «нам было всегда легко и надежно».

Когда Саша заболел, он не смог больше уходить туда. Еще в середине мая он нарисовал карикатуру на себя — оттуда — это было последнее. Болезнь отняла у него и этот отдых. Только за неделю до смерти, очнувшись от забытья,

* 28-го мая 1921 г. Любовь Дмитриевна написала матери Блока, что Союз Писателей в Москве хлопочет о разрешении на поездку в Финляндию на санаторное лечение, «но это секрет от Саша, он не хочет пока».¹⁷

он вдруг спросил на нашем языке, отчего я вся в слезах — последняя нежность.¹⁸

1-го августа Любовь Дмитриевна сказала Алянскому — который, хотя его дней десять уже не пускали к больному, очень ей помогал и приходил ежедневно, иногда и по два раза, — что Блок просит его зайти.

Александр Александрович лежал на спине. Страшно худой. Черты лица обострились, с трудом узнавались. Тяжело дышит. Лицо удивительно спокойное. Голос совсем слабый, глухой, едва можно было уловить знакомую интонацию.

Он пригласил меня сесть, спросил, как всегда, что у меня, как жена, что нового. Я что-то начал рассказывать и скоро заметил, что глаза Блока обращены к потолку, что он меня не слушает. Я прервал рассказ и спросил, как он себя чувствует и не нужно ли ему что-нибудь.

— Нет, благодарю вас, более у меня сейчас нет, вот только, знаете, слышать совсем перестал, будто громадная стена выросла. Я ничего уже не слышу, — повторил он, замолчал и, будто устав от сказанного, закрыл глаза.

Я понимал, что это не физическая глухота.

Итак, молодой «американец», как Блок когда-то его прозвал, продолжал сидеть, боясь не сдержаться, расплакаться. Блок как будто задремал; но, когда Алянский потихоньку встал, чтобы выйти, он открыл глаза, «как-то беспомощно улыбнулся и тихо сказал: «Простите меня, милый Самуил Миронович, я очень устал». Это были последние слова, которые я от него услышал».¹⁹

2-го августа Любовь Дмитриевна написала Александре Андреевне:

Молитесь еще, еще и еще. Вчера Саше было очень плохо, сегодня легче — что как не все наши молитвы? Пекелис твердо надеется, я тоже вымаливала себе надежду...

Сейчас не надо еще говорить о Вашем приезде — именно п. ч. положение тяжелое и нельзя ничего «пробовать». А потом все будет хорошо; неужели я могу остаться той же, что и до его болезни? Если Бог спасет его — ему будет хорошо со мной, Вам тоже. А он ведь теперь все время не в здоровом сознании.* Меня воспринимает по-другому, как чу-

* В своих воспоминаниях Любовь Дмитриевна отрицает наличие «явных нарушений» психики умирающего Блока, и ссылается

жую, хотя и называет правильно, как же он может хотеть видеть? Или думать что-нибудь реальное... Пока только молитесь за него, просите о его спасении.²⁰

Когда все уже кончилось, Любовь Дмитриевна рассказала Александре Андреевне, что в эти последние дни Блок часто повторял: «Прости меня, Боже». Несмотря на предписанные инъекции морфия, он бредил ночами, мучаясь духовно и физически. Боль в области сердца затрудняла дыхание и уже не отпускала его.

В последний день Александра Андреевна, приехавшая из Лу-ги, была допущена до изголовья сына. Он узнал ее, и воспринял ее присутствие как нечто само собою разумеющееся. У них был старый уговор, что приближение смерти они не станут скрывать друг от друга. Это было в духе той бесстрашной искренности, той абсолютной правдивости, которые сделали их отношения одновременно такими мучительными и такими несравненными.

— Мама, я умираю? — он спросил.

У нее не хватило мужества ответить утвердительно. Она замялась, искала какие-то обнадеживающие слова. Холодно он отвернулся от нее к стене, и она вышла на цыпочках, и всю ночь просидела на табурете около закрытой двери. Он очень страдал, стонал и вскрикивал от боли в сердце.

Утром он позвал мать, попросил её стать с одной стороны, жену с другой, вытянулся и умер.²²

Раньше, этой весной, Блок сказал своей матери, что уже ничем не поправишь безвыходного неблагополучия их отношений — разве что смертью одного из трёх. Александра Андреевна переборола искушение покончить с собой, сопутствующее ей всю жизнь, сознавая, что это будет окончательным крушением для всех. А теперь, когда сам Блок развязал узел, раздраженная неприязнь Любви Дмитриевны испарилась, и она нашла силы взять к себе эту крохотную, седую женщину, и ухаживать за

при этом на мнение врача. Были резкие смены настроения, апатия, приступы гнева и отчаяния, страшные кошмары. Настояние врача на возможной пользе шока и полной перемены так же толкает на мысль об острой депрессии, скорее чем о сумасшествии. Надежда Павлович сказала Ходасевичу,²¹ что Блок сошел с ума; он понял так, что она только что из квартиры поэта, но на самом деле Любовь Дмитриевна никого не пускала, кроме врача, Алянского, Книпович и, за день до кончины Блока, его матери и Дельмас.

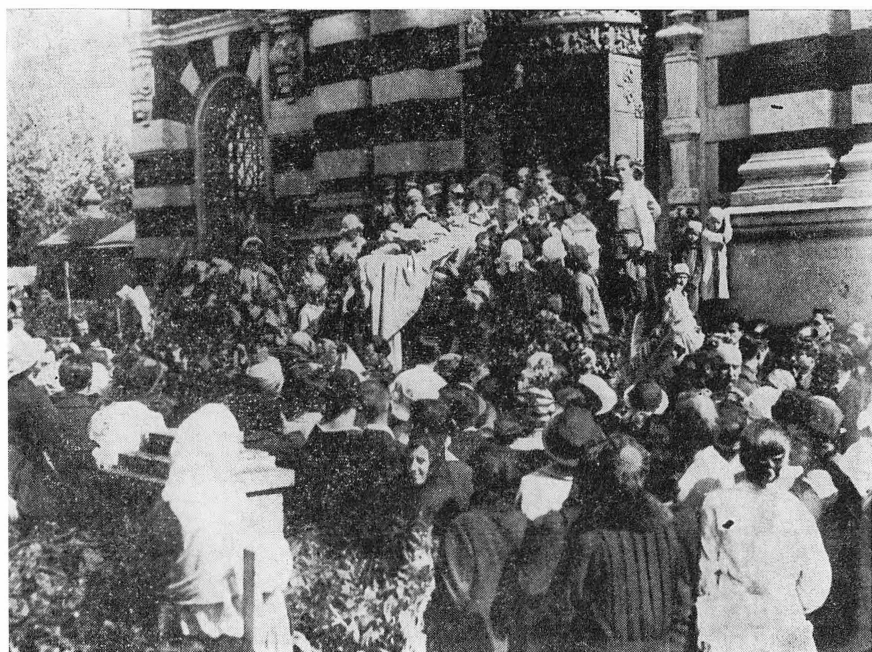
ПОХОРОНЫ АЛЕКСАНДРА БЛОКА

(Четыре, никогда ранее не печатавшиеся, фотографии)

- 1 Похоронная процессия проходит мимо Литовского замка по Офицерской улице. Гроб несут спереди В. Пяст и А. Белый.
- 2 Вынос гроба из церкви.
- 3 У могилы на Смоленском кладбище.
Посредине: мать Блока, над ней В. Пяст, направо от него Ф. Соллогуб.
- 4 У могилы на Смоленском кладбище.
В середине, слева направо С. Алянский, мать Блока Любовь Дмитриевна, в белой шляпе Е. Книпович, у креста А. Белый, над ним слева К. Чуковский.



(1)



(2)



(3)



(4)

ней в течение немногих присужденных ей лет.* ⁽²³⁾ Что же касается Александры Андреевны, она всегда говорила: «Любу нельзя не любить».

Теперь они вместе ждали Сашиних друзей, и готовились отделиться от этого человека, которого каждая любила такой глубоко-личной, домашней любовью. Впервые за свою взрослую жизнь Любовь Дмитриевна привела в общепринятую форму свои отношения с Богом. Ей казалось кощунственным предаваться «своей индивидуалистической «красивой скорби» в тихой и пустой церкви, как она когда-то девушкой молилась в полутьме придела. Теперь надо было проводить Александра Блока, не просто ее Сашу, и она нашла достойную форму, настаивая на строгой традиционности обряда.**

Первому о кончине Блока сообщили Алянскому, взявшему на себя оповещение публики (как раз в эти дни не выходила газета) и все хлопоты, связанные с организацией похорон. Евгения Федоровна Книпович, которая была на вокзале, позвонила перед отъездом и, узнав о случившемся, возвратилась на Пряжку: «...Александра Андреевна сидела у постели и гладила его руки... Когда Александру Андреевну вызывали посетители, она мне говорила: «Пойдите к Сашеньке», — и эти слова, которые столько раз говорились при жизни, отнимали веру в смерть...»

Книпович помогала Алянскому, сама выбрала место на кладбище, «на Смоленском, возле могилы деда, под старым кленом».²⁴

* Александра Андреевна горячо хотела умереть, думала постоянно о сыне, переписывала его работы, регулярно ходила, пока хватало сил, на кладбище. Тем не менее, долю радости она нашла в молодежи, посещавшей ее, — и еще в цветах, которые ей приносили. Любовь Дмитриевна, пишет Мария Андреевна, тоже носила цветы, говорила с ней о сыне, и «имела свойство успокаивать ее нервную тревогу немногими словами, взглядом или улыбкой», хотя позднее, в своих воспоминаниях, все еще утверждая свое право на самостоятельную жизнь, независимо от Блока и его поэзии, она припоминала всю горечь их отношений при его жизни, и сделала попытку коренной переоценки своего брака, рассматривая его как трагическую ошибку. Сразу после смерти мужа, однако, Любовь Дмитриевна написала своей сестре, что она вполне справляется со своим горем по той простой причине, что она чувствует, что «сердце мое по ту сторону жизни и неразрывно с ним».

** Неминуемо возникает вопрос, как бы отнесся сам поэт к этому? Можно только процитировать слова Блока из письма к Н. А. Нолле-Коган, попросившей его быть крестным отцом ее сына: «Поймите, как я говорю это, говорю с болью и отчаянием в душе; но пойти в церковь все еще не могу, хотя она зовет» (VIII.532, 8 января 1921). Любовь Дмитриевна, надо думать, не действовала бы против желания мужа.

Она побежала за Надеждой Александровной Павлович. Вместе они вернулись на квартиру Блока:

Белый дождливый петербургский свет в окне, и косо поставленный длинный стол. Мертвый Блок, полузакрытый белым кисейным покрывалом (еще не принесли гробового покрывала); еще нет смертного холода. Прекрасное, суровое лицо, лицо Страшного Суда. Скрещены руки, а на бледных желтоватых пальцах образ Богоматери. Потом вместо него был положен Любовью Дмитриевной образок Софии-Премудрости. Еще нет венков, ни цветов, ни плачущей толпы. Только несколько веточек роз в высокой вазе на комод, что стоял у его постели, и потрескивает зажженная лампада.

Потом стали приходить друзья и знакомые.²⁵

Приходили весь день. Кто-то фотографировал покойника. Юрий Анненков сделал рисунок. Незнакомая девушка принесла первые цветы, четыре белых лилии.*

Над покойником всю ночь читали Псалтирь. На следующее утро, рассказывает Павлович со слов чтеца, лицо Блока изменилось, «смягчилось, исчезло то грозное, что было в нем».

Тем временем уже успели оклеить объявлениями весь Петроград, и на третий день повалил народ. Ольга Форш, среди первых, срисовала Блока; рисовали также мать Любви Дмитриевны, Анна Ивановна Менделеева, и художник Лев Бруни. Но те, которые приходили в этот день, вспоминали уже не Блока, а труп. Пришел Аким Волынский, отец русского «декадентства». Приходили Иванов-Разумник, Замятин, Кузьмин, Сомов, Бенуа... Очередь стояла на лестнице и маленькая квартира была переполнена; воздух стал тяжелым от запаха цветов и ладана.

В день похорон, 10-го августа 1921 г., все углублялся и расширялся процесс примирения. Андрей Белый, Владимир Пяст, Владимир Гиппиус, Женя Иванов, Замятин и Зоргенфрей вынесли открытый гроб на солнечную улицу. «По узенькой, с круглыми поворотами, грязноватой лестнице — выносят гроб — через двор. На улице у ворот — толпа... все, что осталось от литературы в Петербурге. И только тут видно: как мало осталось».²⁷

* Появление неизвестной девушки было отмечено не одним мемуаристом. Нина Берберова в своих воспоминаниях пишет о том, как, будучи еще совсем начинающим поэтом, она увидела объявление о смерти Блока в Доме Литераторов и, пронизвшись чувством острой осиротелости, пошла тут же покупать цветы и отыскивать квартиру Блока, добравшись на трамвае до совсем неизвестного ей района Пряжки.²⁶

Любовь Дмитриевна шла твердой походкой, поддерживая мать Блока. Дельмас, как всегда тактичная, шла рядом с Павлович. А плакали не одни женщины. Сзади плелась ненужная колесница. Через весь Петербург и через весь Васильевский Остров, где он родился, друзья поэта несли его на руках:

На руках во гробе серебряном
Наше солнце, в муке погасшее —
Александра, лебедя чистого.

Так Анна Ахматова, исполненная тревогой за Николая Гумилева, арестованного накануне кончины Блока, оплакала старшего поэта. Это стихотворение было лишь одним из потока мемориальных стихотворений, речей и статей. Стихотворение Ахматовой начинается с загадочной строки: «А Смоленская нынче именинница» — и церковь, и кладбище были полны цветами, ибо похороны совпали с престольным праздником кладбищенской церкви. В церкви хор Маринского Театра пел литургию Чайковского.

Несли цветы еще и еще. Какие-то незнакомые девушки подходили к гробу, целовали покойника, отходили, удерживая рыдания. Справа, откуда-то с высоты, падали на гроб и на толпу широкие полосы солнечных лучей.²⁸

После окончания службы они вынесли его на солнце и, под простым белым крестом, предали его тело бедной, осенней земле его родного города.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ср. например: Н. А. Павлович, «Воспоминания об Александре Блоке», *Блоковский сборник I*, (Тарту, 1964), 485; Вл. Пяст, «О первом томе Блока», *Об Александре Блоке* (Петербург, 1921), 213.
2. Е. Замятин, «Александр Блок», *Лица* (Нью Йорк, 1967), 24.
3. Вс. Рождественский, *Страницы жизни* (Москва — Ленинград, 1962), 238.
4. К. И. Чуковский, «Последние годы Блока», *Записки Мечтателей* (Петербург, «Алконост»), № 6, 1922, 160.
5. Там же, 158.
6. Н. А. Павлович, *Думы и воспоминания* (Москва, 1966), 32-33.
7. К. И. Чуковский. См. прим. 4, 158.
8. В. А. Зоргенфрей, «Александр Александрович Блок (по памяти пятнадцати лет, 1906-1921)», *Записки Мечтателей*, № 6, 1922, 144. Ср. также Е. Замятин, *Лица*, 22.
9. Ср. И. Чернов, «А. Блок и книгоиздательство Алконост», *Блоковский Сборник I*, 535, о подробностях последнего столкновения Блока с Ионовым.

10. А. А. Кублицкая-Пиоттүх, неопубликованное письмо, без даты, к Л. А. Дельмас. Копия в собрании М. П. Ильина.
11. Э. Голлербах, «Образ Блока», в альманахе *Возрождение*, (Москва, 1923). Цит. по книге *Судьба Блока*, (Ленинград, 1930), 266.
12. С. М. Алянский, *Встречи с Александром Блоком*, (Москва, 1969), 117.
13. Ср. К. И. Чуковский, *Книга об Александре Блоке* (Петербург, 1922).
14. К. И. Чуковский, «Последние годы Блока», 171-172.
15. Л. Д. Блок; Мемуары. Эти строки отсутствуют в изданных мемуарах, *Были и небылицы*, опубликованных И. Паульманном и Л. С. Флейшманом, *Studien und Texte*, № 10, (Бремен, 1977). Вероятно, место пропуска указано многоточием на стр. 83.
16. С. М. Алянский, ср. прим. 12, 150.
17. А. А. Блок, *Письма Александра Блока к родным*, ред. М. А. Бекетова, том II, (Ленинград, 1932), 503, и прим. на стр. 634.
18. Л. Д. Блок, *Были и небылицы*, 86.
19. С. М. Алянский, ср. прим. 12, 153-4.
20. Л. Д. Блок, неопубликованное письмо А. А. Кублицкой-Пиоттүх 2-го августа 1921. Архив А. А. Блока, ИРЛИ, Ф. 654, опись № 7, ед. хр. 24.
21. Ср. Вл. Ходасевич, «Гумилев и Блок», *Некрополь* (Париж, 1976), 139.
22. Последние минуты Блока здесь описываются по рассказу Александры Андреевны Надежде Александровне Павлович. См. Н. А. Павлович, «Воспоминания об Александре Блоке», 495-496.
23. О последних годах Александры Андреевны см. М. А. Бекетова *Александр Блок и его мать* (Москва-Ленинград, 1925).
24. Е. Ф. Книпович, Письмо к К. И. Чуковскому, опубликованное в его книге *Люди и книги* (Москва, 1960), 552, и, первоначально, в его книге «Последние годы Блока», 180.
25. Н. А. Павлович, «Воспоминания об Александре Блоке», 496, 487.
26. N. Berberova. *The Italics are Mine* (London and Harlow, 1969), 125-7.
27. Е. Замятин. *Лица*. 28.
28. Э. Голлербах. «Образ Блока». Альманах *Возрождение*. Ср. прим. 11.

| |
|---|
| <p>Во время набора «Вестника» пришла весть о кончине этим летом Н. А. Павлович.</p> |
|---|

| |
|---|
| <p>В предыдущей книге «Вестника» (131) были напечатаны её стихи под инициалами Н.П. Н Павлович, после многих лет лагерей и ссылок, посвятила себя преимущественно церковным вопросам. Последние годы она приложила много усилий по реставрации Оптиной Пустыни.</p> |
|---|

ВОСПОМИНАНИЯ О МАНДЕЛЬШТАМЕ

I

В. ШВЕЙЦЕР

Мы печатаем несколько страничек воспоминаний об О. Э. Мандельштаме доцента Ленинградской Консерватории, пианистки Изы Давыдовны Ханцин-Моргулис, вдовы одного из немногих по-настоящему близких и понимавших Мандельштама людей — Александра Осиповича Моргулиса (1898-1938). Написаны они для вечера, посвящённого Мандельштаму в Ленинградском Доме писателей осенью 1975 г., на котором И. Д. Ханцин не могла быть из-за болезни.

Слова «старик Моргулис» и «моргулеты» (просьба писать через «О», как писалась фамилия героя «моргулет») знакомы тем, кто любит поэзию Мандельштама, и тем, кто читал книги Надежды Яковлевны Мандельштам. «Старик Моргулис» (из дат его рождения и смерти видно, что «старик» едва дожил до 40 лет) был ростовчанин, окончил в своё время юридический факультет Ростовского Университета, знал языки, был блестящим знатоком и ценителем поэзии и музыки (Н. Мандельштам называет его «человеком-оркестром»). Это было живой, красивый, весёлый и обаятельный человек. После революции он не мог найти определённого и твёрдого места в «новом» мире. Моргулис что-то переводил, был деятелем в Ленинградском Союзе писателей, в 1931-32 гг. редактировал в Москве газету Наркомроса «За коммунистическое просвещение (отсюда «моргулеты», «Моргулис — он из Наркомпроса...» и «У старика Моргулиса глаза...»), куда взял на работу и Н. Я. Мандельштам (с этим связан «моргулет», «Старик Моргулис под сурдинку...»). Повидимому, он метался, ведь надо было как-то где-то работать, кормить семью, но внутренне невозможно было приспособиться к тому, что происходило вокруг. Метания эти кончились, как и у многих его современников, арестом и гибелью в лагере.

Мандельштамы и Моргулиты дружили семьями — об этом пишет И. Д. Ханцин. Я хотела было написать «дружили домами», но вспомнила, что у Мандельштамов почти никогда не было дома да и у Моргулисов он был не слишком прочен, иначе бы ему не приходилось «сбегать», как пишет Н. Я. Мандельштам, в Москву в поисках заработка.

Мне довелось в Ленинграде разговаривать с несколькими женщинами, давным-давно знавшими Мандельштамов; Иза Давыдовна обрадовала меня необычайным отношением к поэту. Вероятно потому, что сама она — художник, пианистка, человек, проживший жизнь в мире музыки, она видит, чувствует и помнит Мандельштама прежде всего как гения, человека, общаться с которым было счастьем и радостью. Для меня это оказалось особенно важно потому, что накануне я провела вечер с другой женщиной, литературной вдовой, тоже близко знавшей Мандельштамов, и наслушалась рассказов о том, каким чудаковатым, легкомысленным и необя-

зательным человеком был Мандельштам, как он не выполнял обязательств, не отдавал долгов, не умел устраиваться в жизни. Поражительно: она смотрела на Мандельштама сверху вниз! Прошло к тому времени почти 40 лет со дня гибели и её мужа и Мандельштама, а она продолжала помнить какие-то прежние обиды, неоплаченные счета портного или машинистки, сводить давно не существующие счёты. Я вдруг почувствовала, что попала чуть не на полвека назад, что именно так не понимали и не ободряли Мандельштамов при жизни поэта те, кто соприкасался с ними, так же снисходительно или слегка презрительно обсуждали его «странности» и «слабости», его «неумение жить». Конечно, она знала, что Мандельштам теперь в славе и даже в «моде», поэтому говорила осторожно и как бы с сожалением. Мне интересно любое слово о Мандельштаме, но я сидела и удивлялась: неужели она не заметила, что в её доме Жывал гений? Как могла она не понять этого? Может быть, она была слишком молода тогда... И вот — Иза Давыдовна, начавшая словами: «Осип Эмильевич был необыкновенный человек!». В коммунальной квартире, где соседки, конечно же, недовольны тем, что она играет, в небольшой комнате, половину которой занимает рояль, я услышала слова о том, что к Мандельштаму неприменимы обычные мерки, что он был особенный и просто не мог жить «как все»: ходить на службу, приносить «получку», экономить... Она не был «добытчиком» и умел тратить деньги, у него был для этого и термин «виллонизм» (от Франсуа Виллона). Все, кто любил дар Мандельштама, понимали это. «И мы, если у нас появлялись деньги, всегда хотели поделиться с ним, доставить ему радость...» Мне вспомнился рассказ моего московского приятеля, очень старого человека, знавшего Мандельштама (но не бывшего с ним знакомым) в ранней молодости во времена Петербургского Университета. Тогда много было людей, которые любили брать в долг, но не любили отдавать. Впрочем, речь шла о 2-3-х рублях. Помню, в нашем кругу такой разговор: «Какой неприятный человек Мандельштам! Никогда не отдаёт долгов.» И вдруг какая-то девушка (вероятно, курсистка): «Если бы Мандельштам у меня взял денег, я сочла бы это честью для себя». К сожалению, с годами такие люди становились редкостью и к концу жизни Мандельштама почти совсем исчезли. Одними из таких были Моргулисы.

И. Д. Ханцин рассказывает о Мандельштаме как о светлом гении, замечательном и весёлом человеке, ни на кого не похожем. И она с мужем любили его за это.

Иза Давыдовна подарила мне эти свои воспоминания, дала переписать несколько «моргулет» и на прощанье дала фотокопию открытки, которую написала ей в давние годы Мандельштамы вместе с литературоведом В. А. Мануйловым. Меня поразило, что Мандельштам, общаясь с музыкантом, так запросто начинает письмо нотной фразой — Сонатой Соль-минор Шумана.

Спасибо Вам, Иза Давыдовна, и не сердитесь на меня, что я печатаю это без Вашего разрешения.

И. ХАНЦИН-МОРГУЛИС

Мемуары — не мой жанр, но болезнь помешала мне выступить и рассказать о Мандельштаме так, как хотелось бы, поэтому я прошу простить мне эскизность моих заметок. Но хотя бы в нескольких словах мне хочется охарактеризовать этого удивительного человека.

Первая моя встреча с О. Э. Мандельштамом состоялась в Киеве, в 1919 году. Сначала я встретилась с Н. Я. Хазиной, с семьёй которой я очень дружила, — Осип Эмильевич появился позже.

Киев был тогда проходным городом, в котором скопились люди, бежавшие из голодных Москвы и Петрограда. Было в Киеве кафе, называвшееся ХЛАМ (художники, литераторы, артисты, музыканты), куда стекались все люди искусства, — там мы и познакомились с Мандельштамом. При первой встрече поразили его стихи, и внешность, и особенно чтение стихов.

Но знакомства были тогда непрочны: власть постоянно менялась, мы не знали, что будет завтра — кто-то уходил с белыми, кто-то с красными, кто-то прятался или бежал за границу.

При первой же возможности, в 20-х годах, я уехала в Ростов. Спустя некоторое время там появились и Мандельштамы.

Опять-таки все пути вели в кафе поэтов, куда мы приходили выпить чайку, узнать новости и, конечно, почитать стихи и послушать музыку. Посетители кафе были самые разнообразные, вплоть до Хлебникова. Но и в Ростове пребывание Мандельштамов не было продолжительным — они сами не распоряжались тогда своей судьбой, так же, впрочем, как мы все.

В Ростове я встретилась с А. О. Моргулисом, за которого вышла замуж, и мы вернулись в город моего детства, город, где я училась, — Ленинград.

Следующая наша встреча и более близкое знакомство с Осипом Эмильевичем произошло уже в Ленинграде (1925-1927) — тогда Мандельштамы жили в Лицее, мы часто бывали у них, они — у нас. И после переезда Мандельштамов в Москву наши отношения не прервались — мой муж чуть ли не еженедельно бывал в Москве по роду работы. (Он был членом Правления Союза писателей, а кроме того ездил по издательским делам — он был

переводчиком). Осип Эмильевич очень нежно любил моего мужа. Как мне помнится, таким же нежным взглядом он смотрел только на своего младшего брата Шуру. У нас Мандельштам как-то смягчался, его внутренняя напряжённость разряжалась; кроме того, он очень доверял литературному вкусу моего мужа. Осип Эмильевич постоянно читал нам стихи. Сам очень радовался рождению каждой «Моргулеты» (здесь стоит почитать что-нибудь из «Моргулет»).

Хочется добавить, что он был вброщён в Петербург и в то же время горячо любил юг и всегда стремился туда; с Москвой он не сливался.

Все мы, во всяком случае большинство, принадлежим к какой-нибудь породе животных — Осип Эмильевич был похож на птицу; это птичье сказывалось во всём. Его голова была чуть поднята кверху и наклонена набок при опять же птичьей летящей походке. Его лицо всегда обращало на себя внимание из-за необыкновенно выразительных глаз — страдание в них сменялось нежностью, задумчивостью, иногда в них было отсутствующее выражение.

Главным в этом человеке была эмоциональная окраска всего, что бы он ни делал: на всё повышенная реакция. Он был легкораним и впечатлителен, очень остро всё воспринимал.

На протяжении всех лет, что я его знала, он подсознательно — а возможно, и сознательно — сопротивлялся всему бытовому. (А может быть, он протестовал против традиций семьи, своего буржуазного воспитания?) Ему было всё равно, что на нём надето. Вот пример: в Ростове он отправился в парикмахерскую, потом зашёл за нами в кафе поэтов и сказал, что забыл в парикмахерской шляпу; мы все отправились за шляпой, но гардеробщик выгнал нас, сказав, что Мандельштама он видит впервые. Оказалось, что за углом есть другая парикмахерская, туда Осип Эмильевич пошёл уже один — мы побоялись.

На этот раз он не ошибся и вышел в шляпе — но в какой! — это было что-то вроде котелка неопределённого цвета и формы, в который Мандельштам почти провалился.

— Ося, что у тебя на голове?! — говорила Надя. Он удивлялся.

— Как, разве это не моя шляпа? — Мандельштам не знал своих вещей.

И вещи не любили его и убегали от него, всё пропадало. Надежда Яковлевна без конца искала исчезнувшие вещи.

Так же он относился и к деньгам — радовался им и очень легко, сам не зная на что, тратил, так что денег, как правило, не было.

Каждому человеку присущ свой стиль и, следовательно, свой антураж. Но если бы режиссёру пришлось ставить спектакль о Мандельштаме, то он оказался бы в затруднении — в какую обстановку поместить этого удивительного человека. Он не нуждался в обстановке — в столе, в секретаре и т. п., — для создания стихов ему было достаточно кухонного стола или подоконника.

Создать ему быт Надежда Яковлевна не могла, он разрушал его тут же, да она и сама не очень это умела — в чём-то они были очень похожи. Их взаимные отношения доходили до общего дыхания. Ей было много хлопот с ним: она старалась уберечь его от непонимания и нападков, она боялась отпускать его одного — он не умел соблюдать правил так называемого общественного порядка, в котором очень плохо разбирался, и потому боялся уличной администрации — милиционеров и управхозов; кроме того, он был рассеян.

Эта постоянная боязнь чего-то ощущалась в нём постоянно, он словно предчувствовал свой рок.

Как чтец своих стихов Мандельштам незабываем. Ему была присуща поразительная музыкальность, и ритм стихов он ощущал и передавал не как производную метра, а как музыку. Ритм был ему врождён. Свои стихи он оркестровал поразительно и как поэт, и как чтец. Интонации его были очень выразительны и разнообразны — всё это делало стихи в его устах ещё значительнее.

Интонации менялись. Например, шуточные стихи «Александр Герцевич» или «Моргулеты» произносились совсем в другой тональности, для них он находил новые краски. Его музыкальность проявлялась, конечно, не только в поэзии — такого слушателя интересно иметь любому исполнителю.

Он любил Шумана, Шопена, Бетховена, Скрябина, Баха. Я часто играла ему — он слушал с блаженным видом и закрытыми глазами. При этом часто невнятно произносил какие-то слова, вероятно, музыка в его восприятии тотчас сливалась с поэзией.

Я не исследователь и не аналитик — здесь есть специалисты-филологи, объясняющие его творчество лучше меня, но я горжусь и никогда не забуду своих встреч с этим человеком, одарившим нас своей гениальностью.

Ноябрь 1975 г.

ЗАПИСКИ ИЗ КРотовЪЕЙ НОРЫ* ИЛИ ПОВЕСТЬ ОБ ОСОЗНАННОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

*«Итак, в одном департаменте
служил один чиновник...»*

Н. Гоголь

История начинается «за коньячком» где-то в питейном заведении и даже как будто с исповеди некоему молодому человеку с интеллигентным лицом, которому так и не удастся вставить в нее ни словечка. Разве что имя «Камю», сорвавшись с его уст, на миг протискивается в поток сознания его ресторанного собеседника: «Ах, начало, как у Камю!» И действительно: нескончаемый монолог, ночные признания и отчасги падение, в какой-то мере тоже падение... Но это падение совсем другого рода, с уготованного кресла, стоящего на «твердой (по молодому Марксу), хорошо округленной земле» — на больничную койку, а затем и за питейную стойку, падение карьеры, что было отлично началась, но внезапно лопнула, как струна на самой высокой ноте.

Один из героев Беккета прослушивает перед смертью свою жизнь, занесенную им когда-то в знаменательные ее часы на магнито пленку. Должно быть, находчивые авторы в будущем захотят восстанавливать память своих персонажей по собранным на них досье или делам, на них заведенным. Но что касается кормеровского героя, то дело его пока по старинке занесено в его собственный дневничок, листочки которого, по мере прочитывания, сгорают в присутствии безмолвно-интеллигентного молодого человека. Впрочем, суть не в герое, и хотя автор на протяжении своей повести только и занимает нас его весьма прозаической личностью, повесть, пожалуй, написана не о нем. Тогда о ком же? Вопрос. Вот об этом, собственно, и попытаемся поразмыслить.

Начнем с сюжета: Вадим Кольцов, «мальчик из подворотни», внучатый племянник по литературной линии того юного провинциала, что приезжал в столицы снедаемый честолюбием, но без гроша в кармане, завязывает едва ли бескорыстную дружбу с другим мальчиком, Тимуром, социальным рангом повыше. И даже

* В. Кормер. КРОТ ИСТОРИИ или РЕВОЛЮЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ S=F. Ymca-Press, Paris 1979.

не с одним Тимуром, а с целым семейством Интерлингаторов. Фамилия странная, — «ассоциаций не вызывает?» (спрашивает рассказчик) — как будто Интернационал с аллигатором, вознамерившись проглотить друг друга, почему-то подавились и застряли друг у друга в глотках на полпути. Да и биография у этих Интерлингаторов необычная и тоже как бы на половине где-то застрявшая. Дело в том, что семейство это причастно к истории некой латиноамериканской республики $S=F$, из тех, что прежде назывались банановыми. Дедушка — революционер там, папа — специалист здесь, полагалось бы и мальчику Тимуров овладеть революционной специальностью в применении к республике, но третье поколение, как это бывает, уже совсем не похоже на аллигатора, а только на интеллигента. И вот это словно брошенное тимурово наследие как-то невзначай и перенимает его школьный приятель, тем более, что острому глазу его не укрылось, что служение высоким идеям имеет совершенно иной материальный статус, чем просто безыдейное прозябание во дворе у помойки. Мальчик вгрызается в жизнь подворотничковой хваткой, и пока его одноклассник Тимур, как и положено интеллигенту, в школе боится дворовых хулиганов, в институте по-граждански возмущается «культом личности», в аспирантуре из новейшей истории уходит в академизм (Луи Каторз, Елизавета Английская), а уже в зрелом возрасте, как бы довершая ту же линию, пишет диссидентскую статью, намереваясь прочь из страны уехать, герой наш, подрастая и мужая тем временем, идет, как говорится, другим путем. Маршрут его начертан твердой рукой: послужить революционной идее в той же республике, но способом уже более комфортабельным — стать в ней послом. Цель высока, но мальчик начинает заблаговременно: глотает книги, изучает язык, ну и далее, — далее уже включаясь всерьез в ту шахматную партию, в результате которой, путем ряда комбинаций и перестановки фигур, он должен наконец добиться желаемого. Кто играл эту партию, тот знает, а кто не знает, тому Кормер немного о том расскажет, мы же, пропустив некоторые традиционные ходы, обратимся к решающей схватке.

Теперь наш игрок — это мужчина за сорок, официально редактор журнала такого-то, неофициально референт у такого-то, почти уж вплотную подобранный к заветной республике (и даже — совершенно уже за кулисами — подыгрывая там идейной борьбе немного слева и немного справа от нужной линии). Ныне он занят одной из последних своих комбинаций, за которой,

по его расчетам, должно последовать сильное продвижение, может быть, и окончательное. Комбинация эта состоит в том, что референт Кольцов должен наконец развеять существующую неопределенность относительно бывшей банановой республики, выработать о ней концепцию и предложить наверх. Разумеется, не просто концепцию, а именно ту, что отразила бы действительность в республике в ее революционном развитии, о чем и пишется им специальная докладная записка. Записка эта с концепцией предназначается к тому, чтобы стать как бы передаточным звеном между общей историософией и вполне практическим уже приведением действительности в указанном секторе в состояние спонтанного революционного развития. Что ж в этом странного? Если уж со времен Гоголя известно, что луна делается в Гамбурге (и прескверно делается), то почему бы местом изготовления революции в республике $S=F$ не быть подмосковному дому отдыха, где пишет и рассуждает кормеровский герой? Тем более, как уверяет нас автор, место это «вне всякого сомнения — преинтереснейшее. О, с этой «дачкой» связано столько историй! История-то, в частности, и здесь делалась!» (стр. 21).

И вот духи и тени той самой истории, что делалась здесь когда-то, все еще не покидают своего родного гнезда и постепенно вовлекают нашего трезвого референта в орбиту своей привиденческой жизни. Поначалу они обнаруживают странное всеведение — не они сами, разумеется, а через подставных лиц, населяющих дачу, — чем занимается здесь Кольцов, в каких видах и прочее. Так неизвестный ему сосед Мохаммед-Оглы знает про него совершенно всю подноготную и как бы вообще сочувствует. Это весьма любопытный, хотя и несколько водевильный татарин, куда колоритней главного героя, соединение Горацио и Фальстафа, неразлучный с бутылкой виски собеседник великого Призрака. Он лично отмечен его регулярными посещениями; как тут не спиться от счастья и ужаса! «Слушай, — шепчет он Кольцову. — Никому не рассказывал, жена не знает, — только тебе!... Я преподавал тогда политэкономия в Военном Училище... Перед октябрьскими праздниками засиделся долго, плакат рисовал. Второй час ночи... Дай, думаю, выйду во двор покурю. Накинул шинель, надел шапку, вышел... Курю, слышу: курсанты, караульная служба, на посту разговаривают... Я их по голосам знаю, хорошие ребята, отличники строевой и политисской подготовки... Я подхожу: «Здравствуйте, товарищи. В чем дело? Почему нецензурно выражаетесь?!» — Так и так, говорят, товарищ майор...

Разрешите доложить... Минувшей ночью, когда звезда, что западней Полярной, пришла светить той области небес, где и сейчас сияет, я с Шерстневым, лишь било час... О-о-о!... Гляди, вот он опять!!! Осанкой — ну вылитый наш... гм... покойный! ... Обратитесь к нему, товарищ майор! ... Ну, что, напоминает вам... е г о?!

(стр. 104.)

Видение действительно именно е г о и напоминает татарину, но что у него за неожиданный теперь способ являться! Видно, при жизни еще заглянуло оно не только в «Фауста» Гете. Впрочем, не брезгает оно и комедийными обстоятельствами, впервые показываясь герою нашему в тот самый момент, когда из низменных побуждений и дальних расчетов, а больше от скуки, что часто сопровождает большие корабли по их большим плаваниям, вздумал он, пьяный, покуситься на короткую любовь местной курьерши, оформленной при дачке той дворником. И уже не Тенью, потрясающей воображение, а в прежнем образе незрального маленького человечка мешает он Кольцову в его приключении, и, как мы потом понимаем, не напрасно. (Нельзя революционеру разменивать себя на курьерш). Заходит призрак и в библиотеку бывшей своей дачи, он и по сей день — любитель чтения, о чем говорят его пометочки ногтем; по наблюдениям библиотечарши Генриетты Марковны, которая в нем души не чает, тайно тяготеет он к самиздату. (Только где его в библиотеках достанешь, самиздат?) Все вообще здесь как бы по-старому, но лишь для избранных, для достойных. «Он у нас добрый, очень добрый, — уверяет библиотечарша Кольцова. — У нас все его любят». Буфетчица Катя мусом его потчует, Мохаммед — каков озорник! — чуть было стаканчик не поднес. Тень, однако, не допускает такой фамильярности, а вот где отеческий совет дать, пожалуйста! совет — забота о людях. Интересовался очень В. А. Паутов, соперник героя в карьере, как, мол, насчет деловой его поездки в $S=F$? И что же дух? «Мы, — сказал, — являемся сторонниками развития сотрудничества в области науки и техники с теми странами, которые проявляют искреннюю готовность к такому сотрудничеству...» Так и слышишь здесь акцент, бессмертный теперь в анекдотах. «У меня, — признавался потом Виктор Алексеевич, — прямо гора с плеч». (стр. 111.)

Кольцову же, приехавшему передохнуть от текущих дел и в тишине набросать записку с революционной концепцией, как-то совсем не до анекдотов. Анекдот, и злокачественного свойства, случается с ним самим. Ибо от странных посещений, от все-

знайства татарина, от добродушной, но фантастической болтовни библиотекарши голова у него начинает кружиться, но он, сопротивляясь безумию, чувствует себя сначала жертвой заговора. Все — и лукавый Мохаммед, с его еженощными видениями «левее Полярной звезды», и словоохотливая Генриетта Марковна, и папа Интерлингатор (среднее поколение), приехавший вдруг на дачу, и даже курьерша, не более, чем женское тело с пятью английскими фразами в голове, сговорились, подученные конкурентом Паутовым, чтобы ему, Кольцову, заморочить голову, свести с ума, выбить из игры. Но если бы дело заключалось только в заговоре! Если бы рассчитанно наперед делание карьеры-революции и мелкие интриги, подножки и всякие засады на этом пути были бы единственной реальностью, которая нам дается и нас окружает! Спору нет, конечно, вынашивая концепцию, делая продуманные ходы, Кольцов примеривал больше к себе посольскую должность, чем к республике $S=F$ ее историческую необходимость. Но связавшись с этой пресловутой необходимостью, он сам невзначай оказался в поле действия ее магнетических сил, и стрелка компаса в его голове, всегда повернутая в правильном направлении, вдруг вышла из-под контроля и стала творить что-то несусветное.

Между двумя точками — экзотической республикой на другом конце света и подмосковной «дачкой», откуда бывшим ее Хозяином направлялась история, — образуется напряжение в голове у Кольцова. Он должен концепцией своей соединить обе эти точки, прорыть ход «отсюда» — «туда», скрепить всемирными законами единого развития кусок «пылающего континента» с непобедимой логикой покойного Хозяина, прибавить $S=F$ к его революционному королевству. Не то, чтобы вся революция там снизу доверху выдумывается и выкапывается Кольцовым, нет; но затевается она там совершенно опереточным и леваческим образом, с захватом крейсера, с бутафорским адмиралом, на нем восставшим, с террористами-разбойниками, словом, никак не в рамках завоевания свободы как осознанной необходимости. И вот ему-то, тихо роющему путь к своему посольству, следует научить ее постепенности и неумолимости, необратимости и хитрости, ввести ее в русло неизбежного процесса, придать ей тот самый акцент, что бессмертным становится при всех ее триумфах. «И когда революция, — закончим словами Маркса, вынесенными в эпиграф, — тогда Европа поднимется со своего места и скажет, торжествуя: ты хорошо роешь, старый крот!»

Но, относясь к семейству мелких грызунов, крот истории, как и всякий крот, проводящий время в земле, должен быть малость подслеповат. Однако непонятная сила вырывает его из темной и теплой норы и с размаху бросает в воздушное пространство умозрения. И, надо сказать, область спекуляций нашего крота — весьма актуальная область. Умствуя на историософические темы, он по воле автора обнаруживает неожиданное знакомство и с Бердяевым, и с современными публицистами самиздата, и с полемиками на страницах русских зарубежных журналов, которых он по своей лояльности и в руки не стал бы брать. Кстати, неповоротливый крот танцует на всех этих темах с удивительной легкостью, и, я бы сказал, даже перетанцовывает многих по части выразительности и краткости. Но именно эта легкость и скорость в высоких рассуждениях не дает ему заниматься основным его делом, рытьем и копанием, и в конце концов сокрушает его гордый, не в меру разлетевшийся разум. Ибо кротам — и это следует подчеркнуть со всей недвусмысленностью — не полагается ни умствовать, ни танцевать, ни парить в спекуляциях; их дело — рыть и рыть с величайшей настойчивостью, но с полным равнодушием относительно смысла и конечной цели своей подземной деятельности, интересуясь разве тем, чтобы питательное что-нибудь перепало за щеку.

Потому на историософическом взлете и настигает крота возмездие, здесь-то и сбивается стрелка компаса в его голове и начинает носиться как угорелая. Мировой революционный процесс, как бы составляющий его профессию и пролегающий в частности и через его докладную записку, вдруг материализируется как некий джинн из пыльной бутылки, то картинно являясь Тенью покойного короля (в переводе Пастернака), то расхаживая по даче в прежнем, мелком, но вполне привычном для культа личности облике, то обращаясь наконец в самого крота, и не в переносном смысле, а с мордой, лапами и с хорошей свинью размером. Сей крот собирает всех почти героев повести на классический шабаш, где бывший Хозяин дачи за председателя, чтобы изложить там (с кавказским акцентом) последнее хозяйское учение о том, что в великом деле Хозяина вечно мешали люди, и в совершенной системе они будут совсем не нужны. «Конкретные личности не столь уж важны, — развивает потом эти мысли Кольцов, — Иванов, Петров, Сидоров, Покобатько приходят и увольняются, сменяя друг друга, но остается функция, которую они выполняли!» (стр.165.) Мир будет расколдован до конца, станет

единой и абсолютной Организацией, всеилием бесконечного ряда функций, иерархически сложенных и торжествующих в высшей Идее...

Ну, а Кольцов, сам-то он что? Его-то конкретная личность куда тогда денется? Гм-гм... Однако же воплотилось однажды все Мировое Развитие в личности Хозяина здешней дачи! Тогда почему бы не воплотиться ему сейчас в том же Кольцове, хотя бы только в применении к республике $S=F$, где он продумывает революцию? Чем он в конце концов не функция по осуществлению замысла всемирной истории? Но какой же это замысел, позвольте спросить? А такой, что социализму, в силу одних только имманентных его законов, следует непрерывно развиваться по всей планете, и оттого Москва все еще — Третий Рим, и Четвертому не бывать, а потому рано или поздно, но ту республику стоит прибрать к рукам и послать ее по непреложному пути прогрессивного развития, перед тем, однако, насадить в ней просвещенный абсолютизм (как в Европе было — Луи Каторз, Елизавета Английская), но кому же, спрашивается, как не функции Мировой Истории, как не сочинителю революций и насаждать этот самый абсолютизм в отсталой республике? Так, перемахнув в историософическом легком танце через законы социализма и наследие Третьего Рима на диссидентские идейки школьного своего друга, Тимура Интерлингатора, взмахом авторской руки изготовив коктейль из идей Янова и Шиманова, ставит Кольцов вопрос ребром: а почему бы именно ему не стать королем республики Фердинандом Восьмым?

Как Фердинандом? и сразу Восьмым? Но ведь последний, как известно, кажется был Седьмой. А вот и Восьмой наконец объявился... Только что прискакал из Испании для дальнейшего развязывания и ускорения революционного процесса... И в ожидании послов из республики занялся пока устройством самых срочных дел: куда деть жену (менять? оставить?), как распорядиться Мохаммедом-татаринном, какое министерство предложить на откуп старику Интерлигатору... «(Нота бене: найти Покобатьку. Должен же это кто-нибудь быть. Зовут Петро. Надо поручить ему личную охрану. Хохлы в этом смысле надежнее. А так же техническое исполнение всей операции». (стр. 182)

Вот какие норы в истории вырывают кроты; станут рыть на одном конце простыми референтами — вылезут на другом Восьмыми Фердинандами. Автор верен добрым традициям: сошествие с ума героя сопровождается немедленным восшествием его на

престол. Тут же прибывают и послы (сначала немножко медлят — «должно быть, задержала штормовая погода в Атлантике...»), и весь дом грохочет от радости. «Татарин целует меня... тут и курьерша лезет, и библиотечарша... А-а, вон и маленький человечек, коротышку совсем затолкали!... Друзья, друзья! Всех прощаю! Но сейчас не время для торжеств! Нельзя терять ни минуты! Предстоят серьезные дела! Что там в $S=F$, тяжелые бои?! Я сам поведу вас вперед! Что, самолет ждет?! Где Петро?! Петро, машину! Контакт. Есть контакт. От винта!!!...» (стр. 184-185.)

И полетел Фердинанд Восьмой, делатель революций, в умо-зрительную свою республику, в испанское пространство приложения мировых железных законов, в небеса Абсолютной Идеи и Третьего Рима, полетел со своим поручиком Киж Покобатькой туда, куда обыкновенно летают все Фердинанды Восьмые, куда путь их проложен давно, и откуда потом раздаются шемящие вздохи, знакомые всякому русскому уху:

«Спасите меня! Возьмите меня! дайте мне тройку быстрых как вихорь коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтесь кони и несите меня с этого света! Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего. Вон небо клубится передо мною; звездочка сверкает вдали; лес несется с темными деревьями и месяцем; сизый туман стелется под ногами; струна звенит в тумане; с одной стороны море, с другой Италия; вон и русские избы виднеют. Дом ли мой синее вдали? Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына! Урони слезинку на его больную головушку!...»

Но Кольцов у Кормера совсем не то, что Поприщин у Гоголя, никогда не вздохнет он от сердца, не затоскует о тройке и слов не найдет таких человеческих. Никогда не вспомнит он и про алжирского бея с неожиданной шишкой под носом, ибо даже в сумасшествии мысли его не сходят с заезженного круга, на котором Поступь Истории намертво переплетена с устройством собственной маленькой норки. Есть в нем что-то изнурительное, выпотрошенное, что-то поистине до мозга костей функциональное, и пока безумие не чиркнет спичкой в его голове, он остается как бы погашенным, тусклым, унылым, хотя и надломленным в чем-то. Мировой Дух, коего частным приложением служит он к бывшей банановой республике, не оставляет своему кроту ни малейшей духовности. И кажется даже, что Тень того духа, тот бессмертный Покойник, что некстати и кстати попадаетея Кольцову в разных закоулках дачи, по сути ищет пристанища в нем самом.

Непроизвольное совпадение (или подсказка времени?): при всем различии стилей, задач, и, вероятно, мировоззрений авторов кормеровский персонаж выглядит чуть ли не родным братом трифоновского из «Дома на набережной»; кажется, тезка ему, и возраста близкого, и вырос, должно быть, вблизи того же тяжелого серого дома (ибо где же революционерам Интерлингаторам было тогда и жить?). Все герои здесь — те же Интерлингаторы, татарин, библиотекарьша — живые, немножко смешные, а тот, вокруг которого раскручивается вся повесть, — никакой, пустой. Передано, как стучит у него в висках, как перекатываются в нем раздражения и вожделения, как взмывают мысли, но душа Кольцова не донесена; он безлик. У читателя, посвященного автором во все его перипетии, не остается впечатления ни знакомства, ни встречи. Но есть ли это авторский недостаток или прием?

Вопрос этот упирается в другой, более широкий — к какому жанру отнесем мы «Крота истории»? Фантастическое здесь переплетено с реальным в таких пропорциях, что неудовлетворенными могут остаться любители обоих элементов; традиционный упрек в «неправдоподобии», кажется, уже мелькнул где-то. И тогда безотрадное детство и отрочество крота получает хорошую оценку, в то время как поприщинское его сумасшествие подвергается критическому сомнению. Но суть не в детстве, не в отрочестве и не в карьере его, осуществляемой за счет неизвестной республики, ибо не через Кольцова пробегает главный смысловой нерв повести; скрытая героиня ее — Историческая Необходимость, которая сама осуществляется через своих кротов и подручных, и от которой никакой дальней республике не укрыться. Восставайте на крейсерах brave адмиралы, безумствуйте усаые террористы, пишите себе докладные записки вдумчивые референты — Историческая Необходимость сделает через вас свое дело и перехитрит всех. И сама функциональность и «зацикленность» Кольцова, сама безотчетная приверженность его подземной работе — своего рода печать ее. Все «заведено» и обезличено ею, все подключено к какому-то копанию и подкапыванию (разве что один татарин-мудрец научился отключаться с бутылкой), и потому вся повесть удивительным образом передает столь знакомое в русской литературе ощущение метафизической скуки.

Свидригайлову у Достоевского сама вечность мерещилась как «одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, вот и вся вечность». Здесь, у Кормера — уютная дача, готовят мус, оберегают от насекомых, по вечерам

телевидение, но атмосфера такая, что мы уже как бы в предбаннике свидригайловской вечности. Кажется, там, за кротовьей норой истории, немного подальше, начинается уже замкнутое пространство, где парит вечный холод строгих и тесных Законов, где развешена паутина Безликой Необходимости, начинается та вечность, к которой уже здесь причастны герои повести. В одной из философских притч К. С. Льюиса (*The Great Divorce*) Наполеон бежит по своему крошечному аду, вечно переигрывая старые сражения, запертый там в земной своей славе и грандиозности замыслов. По воле автора, и здесь старый хозяин-маленький человечек заходит время от времени посмотреть из своего ада, из «бани с пауками», как там функционируют налаженные им функции, как там печатает шаг направленная им Поступь. Отлично печатает! — свидетельствует автор, шутник и метафизик, и устами повествователя добавляет:

«Скучно на этом свете, господа!»

Сам герой, носитель этой скуки, томится ее безысходностью, и, философствуя «скуки ради», как бы исполняя ее социальный заказ, помышляя о расколдованных тайнах, о ликвидации «белых пятен» на картах человеческого существования, он вслепую, по секрету от себя, ищет себе лазейки для бегства. Попавшее под «колесо истории» существо его тяготится оцепенением, и в потемках пытается разглядеть «просвет среди царства необходимости». И вдруг находит — ту щель свободы в историческом потоке, куда он может улизнуть, сделав бывшее небывшим...» (стр. 163.) В эту самую щель, в эту «маленькую узенькую щелочку, за которой нет уже ничего», ускользает и крот, докопавшийся до короля, вернее гоголевское, точнее гегелевское его безумие, отвесив по дороге поклон («бывшее сделать небывшим») явно никогда и слыхом не слыханному философу Шестову.

«Зачем же ты втрюхался сюда?! — уже как бы сам автор по-свойски допрашивает своего героя... — Какая у тебя логика, и какая логика привела тебя сюда?!... А-а, это ведь все из-за любви к Истории! Да, не иначе... Вот где собака зарыта!... История с большой буквы!» ... «Она не девка, а, пожалуй, возлюбленная... Она воплощение твоего тайного порока! Вроде фетиша. Бывает ведь такое»....

«И я сам себе кажусь уже не черной дырой, а сверкающей звездой». (стр. 168-170.)

Такова эта повесть о настоящем герое нашего времени, о тайных пороках его и об осознанной необходимости, которая по мере все более проникновенного осознания ее тем героем с необходимостью художественной сводит его с ума. Гротеск пробивается здесь через незаконопаченные щели реальности, придавая всей истории явно философский привкус. Но это особая философия, марксистско-поприщинского толка, вариация на тему о том, как среди мелких конкретностей и забавных случайностей прокладывает свою королевскую дорогу саморазвитие мирового и побеждающего Духа. Неверно было бы сказать, что перед нами жизнь без прикрас, кухня большой политики, ведь герой здесь не циник, а до настоящей кухни он, по правде, и не дорос. То, что мы видим, это скорее лишь заплеванный двор перед кухней, где выписывают накладные, выпивают бравые грузчики, и еще затевается то и дело какая-то шустрая прикухонная жизнь, очень не любящая чужого носа и любопытного глаза. Это повесть не о кухне, не о том, по каким рецептам изготавливаются там остро пахнущие революционные блюда, но, если угодно, о загадке человеческой включенности в «Историю с большой буквы», о тайне самой госпожи Истории и о закладе души у нее. И психологическая процедура этой сделки раскрывается автором со вкусом к литературной игре, с юмором и изяществом, от которых мы отвыкли со времен Булгакова и Тынянова. Талант Кормера не уходит кряжистыми корнями в землю, скорее произрастает он из той особой, той призрачной почвы, по которой некогда робко ходил, а ныне ступает уверенней Акакий Акакиевич Башмачкин, петербургское привидение, дослужившийся теперь уже до среднего руководящего звена, «чиновник нельзя сказать чтобы очень замечательный...»

Претензии к автору? Их немного, почти никаких. Когда герой его признается, «что всей этой собачатиной меня обволакивает как туманом», читатель в данном случае может быть спокоен за собственную голову, да Кормер, похоже, и не стремится обвить ее кольцами своего виртуозного бреда. Бредовость представленной им реальности, замыкаясь в имманентной, высшей своей разумности, проплывает как будто мимо нас. К тому смягчена она припрятанной всюду улыбкой, снимающей иногда сосущее чувство монотонности. Но не веселие бреда, а скорее измену ему можно было бы поставить автору в упрек; стоило ли, скажем, налегать на кухонную правду жизни, вкладывая столько реализма в изображение ассоциативных и речевых ходов своего персо-

нажа? Камю-коньяк, Камю-писатель, то вынырнет засаленный анекдот третьей свежести... Кажется, Кормер, что с совершенной непринужденностью занимал то, что ему хотелось, у Гоголя и у Шекспира, решил позаимствовать добавочной выразительности еще и у Лимонова, правда, пока при декоруме многоточий. (К слову, вообще из многоточий своих, искусно вводимых в разные литературные обстоятельства, Кормер умеет порой извлекать такие многообразные молчания и звуки, каких и Андрей Белый не извлекал из своих восклицательных или вопросительных знаков, вопиющих без всякой речи). Но нужно ли было комара здесь отцеживать? Да, вот, сдается, подступает уже к литературе целый отряд беллетристов, на знамени которого написано Быт и Мат, что крепким словом и пряностью деталей будут возмещать бледную немочь слова. И тогда писателя настоящего, думается, будет как раз легко узнать по воздержанию от этих дешевых литературных утех, ставших вдруг для желающих как бы доступными. Разумеется, соринка эта не затемнит главной заслуги Кормера: вырастить плоды полновесной, зрелой прозы на почве, немолчимым ходом Истории, казалось бы, уже совершенно вытоптанной, годной лишь для произрастания деревянных речей.

Судьбы России

ИСТОКИ ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

АРХИЕПИСКОП ПАВЛИН КРОШЕЧКИН

ПРЕДИСЛОВИЕ

Знакомясь с биографией архиепископа Павлина, видишь его уравновешенным, спокойным человеком, несколько «не от мира сего», жизненный путь которого пролегал вдали от бурных дорог современников. Казалось, что он держался в стороне от событий, захвативших его собратьев. Он не был в оппозиции митр. Сергию (Страгородскому). Но в биографии, весьма неполной, есть черты, которые заставляют нас задуматься — действительно ли архиепископ Павлин стоял в отдалении? Во-первых: чем объяснить его неуживчивость в монастырях? Скорее всего, живостью характера, поисками подлинной духовности. По воспоминаниям архимандрита Тавриона (Батозского), многолетнего сподвижника архиепископа Павлина, это был горящий, глубокий человек. Став епископом Рыльским, он принялся укреплять позиции православия в Курской области — обновленцы не сумели привлечь на свою сторону сколько-нибудь значительную часть паствы. Он поощрял внутреннюю реформу богослужения — среди его сподвижников был обоянский священник Григорий Петров, наделенный незаурядным поэтическим талантом. Им были составлены несколько акафистов (один из них, благодарственный, опубликован в 120 номере Вестника РХД), заупокойная служба, служба св. Павлину Ноланскому. Из братии Глинской пустыни вокруг еп. Павлина возникла мощная духовная община, сопровождавшая его в скитаниях. Именно еп. Павлину принадлежит инициатива тайных выборов патриарха в 1927 году. Когда он поставил митрополита Сергия в известность о задуманном мероприятии, тот уклонился от непосредственного участия, но благословил начинание. Россия была поделена на четыре округа, и, соответственно, были отправлены четыре вестника. Трое известны: игумен Таврион (Батозский), Кувишинов Иван Алексеевич и его сын Иван Иванович, коммерсанты, проживавшие на Вишней горке, в Москве. Кувишиновы были схвачены ОГПУ со списками подавших голоса епископов. Они были подвергнуты пыткам, а затем расстреляны, не выдали никого. Впоследствии прокатилась волна арестов, был арестован и епископ Павлин. Год он пробыл в одиночке, был выпущен и в 1928 году назначен в Пермь. Вместе с ним отправляются игумен Таврион и иеромонах Андроник. Дальнейшие факты его биографии довольно хорошо изложены анонимным биографом. На могилевской кафедре он пробыл три года, с 1933 по январь 1936 года. По словарию епископов митр. Мануила значително, что в январе 1936 года архиепископ Павлин (Крошечкин) уволен на покой, другими словами — арестован. Владыка погиб в Мариинских лагерях, на Севере. Неизвестны ни обстоятельства, ни дата его смерти.

Когда читаешь службу св. Павлину Ноланскому, написанную прот. Григорием Петровым, ясно видишь духовный облик архиепископа Павлина, всей своей жизнью подражавшего житию своего ангела. Его твердость, глубокий ум, большая культура и активность — образец для подражания.

Хочется верить, что продиктованная им автобиография не исчезла бесследно, что где-то она сохранилась, и тогда многие сокрытые сейчас факты его жизни будут явлены, и мы получим неоспоримые доказательства святости новомученика архиепископа Павлина.

Н. Шеметов, лето 1980 г.



Архиепископ Павлин Крошечкин

ПАВЛИН АРХИЕПИСКОП МОГИЛЕВСКИЙ

Поминайте наставники ваша, иже глаголаша вам слово Божие, иже взирающе на скончание жительства, подражайте вере их.

(Евр. 13,7).

1

Детские годы

Преосвященный Павлин, в миру — Петр Кузьмич Крошечкин, родился в 1879 году, в Мокшанском уезде Пензенской губернии, от благочестивых и богобоязненных родителей. Отец его, Кузьма, и мать, Евдокия, были крестьянами и занимались обычным крестьянским трудом. Дом их считался домом среднего достатка — нужды они не испытывали, но и богатыми не были. Отец преосвященного, Кузьма, умер рано, в русско-турецкую войну. Маленький Петя лишился отца, будучи совсем ребенком, и поэтому всецело находился на воспитании матери, отличавшейся строгой, благочестивой жизнью.

Воспитала она его в послушании и страхе Божиим. Часто посещая храм Божий, она всегда брала сына с собой, приучая его с малых лет быть в общении с Православной Церковью.

Между прочим, семья их отличалась от других своим милосердием — особенной любовью к нищим, странникам и вообще нуждающимся людям. Никому из странников, случайно зашедших в их деревню, не было отказа в ночлеге и пище. Эта их особенность хорошо была известна всем односельчанам. Когда заходил кто-нибудь из странников в их деревню и спрашивал у первого встречного: «Где бы мне переночевать?» — ему обычно говорили: «Иди к Решетниковым. Вон в тот дом. Там примут...» И действительно, там принимали всех.

Напоив и накормив странника, во исполнение Евангельской заповеди, Евдокия любила послушать их рассказы. Этим людям было что рассказать. Из своих странствий по святым местам они приобретали богатый запас впечатлений и воспоминаний о виденном и слышанном и охотно делились ими со своими слушателями.

Петя, от природы впечатлительный и добрый, с малых лет впитал в себя ту атмосферу любви к ближним, в которой он рос и воспитывался и которая всегда, во всю его последующую жизнь, была отличительной чертой его натуры.

Живой, энергичный в своих детских играх и занятиях, веселый и необыкновенно ласковый ко всем, ребенок невольно обращал на себя внимание многих, посещавших их дом.

Приходский священник, будучи однажды у них, глядя на Петю, сказал: «У тебя, Евдокия, сынок-то какой-то особенный...» И потом добавил: «Будет или очень хороший, или...» Он не закончил начатой фразы, но можно было догадаться, что священник этот боялся, что Петя может умереть в раннем детстве. «Уж очень хорош...» — добавил он, помолчав.

Восьми лет Петю отдали учиться в приходскую школу. Способный мальчик быстро научился читать и писать. С этого времени он все свое свободное время употреблял на чтение книг, преимущественно, житий святых. И с этого времени у него появилось желание подражать святым угодникам Божиим. Игры и забавы сверстников мало удовлетворяли его. Он желал и бессознательно искал лучшего. Душа его стремилась к Богу, Источнику добра и правды.

По окончании приходской школы его отдали учиться в город Мокшан, в городское училище. Там он жил на квартире у одной пожилой женщины, которая вскоре полюбила его как своего родного сына.

Однажды Пете пришлось побывать на престольном празднике в Казанском женском монастыре, расположенном в двух верстах от города и в пяти-семи верстах от родного дома. Продолжительность и неспешность богослужения, умирительное пение монахинь, чистота и благолепие храма пронзили его душу таким восхищением, что с тех пор он только и мечтал о том, чтобы еще побывать в монастыре. Его влекло туда неудержимо. Каждый праздник, невзирая на погоду, ходил он туда. Монахини вскоре обратили внимание на благоговейного отрока, приласкали его, давали ему различные мелкие поручения, которые он исполнял всегда добросовестно и с радостью.

Этот монастырь навсегда остался для него одним из самых светлых воспоминаний. Впоследствии он часто с любовью вспоминал о нем. Здесь впервые зародилось в нем горячее желание посвятить свою жизнь служению Господу в монашеском чине. Особенно, вероятно, под впечатлением прочитанных книг или рассказов монахинь, хотелось ему уехать на Старый Афон и там, по примеру афонских подвижников, подвизаться в посте и молитве.

Однажды зимой, возвращаясь из монастыря, он едва не замерз. На половине пути началась сильная метель. Потемнело. Он

сбился с дороги, долго блуждая по полю, утопая в сугробах снега. Страх, чувство одиночества и беспомощности охватили душу. Тогда он обратился с молитвою к Богу, и вскоре сквозь завывание ветра услышал слабый звук колокольчика... Господь услышал его молитву. Возможно, что и мать его, и добрые монахини вспомнили его молитвенно в эту страшную метель. В этот миг беспомощности, утопая среди бушующих волн снега, он ощутил близость Бога, впервые осознал всемогущую силу Божию, столь чудесно спасшую его от смерти...

Городское училище Пете окончить не пришлось. Он заболел так сильно, что врачи отказались его лечить, и мать взяла его домой. Добрая женщина-хозяйка со слезами провожала его. Так он был слаб, что не надеялась она, что он поправится. Долго болел Петя, но не умер. Медленно поправлялся он после тяжелой болезни. Живя дома, окруженный заботами любящей матери, он всецело отдался своему любимому занятию — чтению.

Наполненное чувством благодарности за двукратное освобождение от смерти, сердце его стремилось в ответном чувстве всю свою жизнь, так чудно дарованную ему, посвятить Господу. Дух его горел любовью к Богу. Мысль его все чаще устремлялась на Старый Афон...

Между тем, мать его от полноты благодарного сердца дала обещание съездить на богомоление в Саровскую Пустынь, привлекавшую множество людей, стремившихся помолиться на месте подвигов великого старца Серафима, в то время еще не причисленного Церковью к лику святых.

И вот, с наступлением весны, когда в воздухе повеяло теплом и просохли дороги, она вместе с Петей отправилась в путь.

Прибыли они в Саровскую пустынь накануне храмового праздника в честь преподобного Феодосия Киево-Печерского, 2 мая.

Еще при входе в монастырь взор Пети поразила необычайно высокая колокольня. Войдя вместе с другими богомольцами, толпами стекающими к храмовому празднику обители, в святые врата, он невольно остановился, пораженный представившейся ему картиной. Перед его изумленным взором предстал весь монастырь с златоглавым собором в центре. Все здесь поражало и восхищало его. Величественные храмы и здания монастыря, чрезвычайно живописная местность, мощный голос большого монастырского колокола, сзывающий на всенощное богослужение, — все это наполнило его душу радостным трепетом и умилением. А в уме его, преобладая над всеми мыслями, была одна мысль — уйти от мира, стать монахом...

И вот за продолжительным уставным всеношным бдением, утомленный дорогой, массой новых впечатлений и долгой службой, находясь как бы в легком забытии, Петя вдруг услышал в своем «я» некий внутренний голос, явственно и отчетливо произнесший: «И ЗДЕСЬ МОЖЕШЬ СПАСТИСЬ...» Голос этот был принят им как призыв из мира незримого от преподобного Феодосия Киево-Печерского и великого старца Серафима. Душа его с любовью и благодарением откликнулась на этот призыв.

Когда мать его начала собираться в обратный путь, домой, Петя стал ее упрашивать разрешить ему остаться в монастыре и поступить в монахи. Хотя Евдокии хорошо была известна духовная настроенность сына и его желание посвятить свою жизнь Господу в монашеском чине было приятно ее боголюбивой душе, она считала, что он еще мал, боялась, что он не выдержит суровой, трудовой монастырской жизни, и поэтому в просьбе ему отказала. Жаль ей было сына. Тяжело было ее материнскому сердцу расстаться с ним.

Они возвратились домой. Жизнь дома, среди мелких домашних забот по хозяйству, не удовлетворяла Петю. Душа его томилась. Дух его стремился к Богу. Он чувствовал и сознавал, что его путь — монашество. И он опять начал просить мать, чтобы она отпустила его в монастырь. Мать, женщина умная и практичная, видела, что сын ее слаб здоровьем, что ничем житейским, суетным, как другие, он не интересуется и что не выйдет из него хорошего крестьянина-труженика. Посоветовавшись с священником, после долгих и настойчивых просьб сына, решила не препятствовать более его горячему желанию и отпустила его в монастырь, видя в этом зов Божий...

2

В Саровскую Пустынь Петя Крошечкин поступил в 1895 году, когда ему было шестнадцать лет.

Наконец-то исполнилось его давнишнее, заветное желание — он принят в число послушников обители. Вначале ему дали послушание на больничной кухне, где он нес обязанности помощника повара.

Впоследствии он, между прочим, вспоминал, что ему почти ежедневно приходилось носить со скотного двора молоко в большом кувшине. Причем кувшин этот он держал для удобства на

голове. От этого, по его мнению, у него начались головные боли, от которых он и в последующую жизнь довольно часто страдал.

Проводив сына в монастырь, мать его сначала предприняла путешествие по святым местам. Побывала в Киеве, помолилась перед мощами Киево-Печерских угодников и перед другими святынями города и его окрестностей. По пути посещала и другие монастыри. Жизнь дома, в одиночестве, вдали от сына, тяготила ее. Наконец, она решила последовать его примеру и поступила скотницей на скотный двор Саровской Пустыни, поближе к сыну. Здесь она трудилась в течение нескольких лет, по возможности неопустительно посещая службы Божии.

В Саровской Пустыни юный послушник Петр пробыл около трех лет. В конце своего пребывания там он нес другое послушание — мыл белье для братии. Обитель пришлось ему оставить против желания. Не без промысла Божия его постигло некое, неблагоприятное для него, стечение обстоятельств. Оно было как бы испытанием его веры и твердости в произволении. Впервые встретившись с таким искушением, он в смятении бросился к матери поведать свое горе и испросить совета. Обливаясь горькими слезами, рассказал ей все случившееся. После долгих размышлений они совместно решили, что ему лучше оставить Саровскую Пустынь, не давая места гневу, и идти искать пристанища в другом монастыре.

Со скорбью проводила Евдокия сына в далекий и неведомый путь. Он был уже почти взрослым юношей, и она ясно видела, что невозможно ей всюду следовать за ним. Благословив его в путь, она осталась в Сарове.

3

Николо-Бабаевский монастырь

Послушник Петр, в последний раз помолившись в храме монастыря и мысленно спросив благословения и молитв старца Серафима на его могилке, покинул Саровскую Пустынь.

У него было письмо от одного расположенного к нему монаха. С этим письмом он направил свои стопы в Николо-Бабаевский монастырь, Костромской губернии, где жил, подвизался и погребен блаженной памяти епископ Игнатий Брянчанинов. Здесь он было охотно принят в число послушников. Вначале он исполнял послушание на братской кухне. Потом был трапезным. Некоторое

время читал Псалтырь по умершим. Затем, достаточно убедившись в исправном исполнении всех доселе возлагаемых на него обязанностей, ему дали пономарское послушание, которое он исполнял так же неленостно и добросовестно, как и предыдущие.

Однажды, когда он во внеслужебное время занимался уборкой храма, вошел отец игумен. Он, видимо, был чем-то расстроен. Обратясь к Петру, игумен сказал: «Что это здесь так холодно? Хорошо ли топишь?..» Петр ответил ему почтительно, но когда тот отошел, то тихо произнес: «На вас не натопишься...» У игумена оказался очень тонкий слух. Он услышал эти слова. Последствием этого разговора было то, что Петру пришлось оставить обитель. Не легко ему было покидать монастырь. Все ему здесь нравилось — и братия монастыря, с которой он успел духовно сблизиться, и весь порядок монастырского жизненного уклада, и бескрайние волжские дали...

Монастырские друзья его, послушники, провожая его, давали ему советы и указания, в какой монастырь идти. Между прочим, был указан и Ростовский Спасо-Яковлевский монастырь Ярославской губернии.

После недолгого раздумья Петр решил ехать в Ростов. В дороге ему пришла мысль попытаться поступить еще в один монастырь, на пути от Бабаевского. От станции до этого монастыря ему пришлось идти пешком несколько верст. Дорога шла лесом. Была зима. Легко и привольно шел он по укатанной дороге. Величественные сосны векового бора, как колонны некоего храма, обступили его со всех сторон. Торжественная тишина царила вокруг. Восхищенный красотой зимнего леса, он от полноты души начал петь. Шел и всю дорогу пел все, какие знал на память, церковные песнопения. В монастырь он пришел к вечеру. Переночевав в странноприимной, он на утро, после литургии, предстал перед настоятелем монастыря с просьбой о принятии его в число послушников. Каков же был его ужас, когда он обнаружил, что у него совершенно пропал голос. Это было последствием песнопения в лесу, на морозе. Настоятель, выслушав его просьбу, произнесенную едва слышным шепотом, сказал: «Мне безголосые послушники не нужны...» — И отошел от него. Так неудачно окончилось его путешествие в эту обитель. Значит, не было воли Божией на то, чтобы ему здесь оставаться...

Ростовский Спасо-Яковлевский монастырь находился в самом городе Ростове, на берегу озера Неро. В соборном храме его походят под спудом мощи святителя Дмитрия Ростовского.

В этом монастыре послушник Петр пробыл два с половиной года. Первоначально он проходил послушание пономаря. Затем был певчим, пел на левом клиросе. Оба эти послушания, в особенности последнее, вполне отвечали высоким потребностям его души. Будучи певчим и имея больше свободного времени, он употреблял его преимущественно на чтение свято-отеческих книг, развивая и усовершенствуя тем самым в себе духовного человека. Живя в Ростове, Петр, между прочим, не прерывал общения со своими друзьями по духу, иноками Николо-Бабаевского монастыря, которые искренне любили его за простой, открытый, всегда веселый характер и нелицемерную доброту. Они часто писали друг другу письма. Возможно, что это и послужило причиной тому, что Петр оставил Спасо-Яковлевский монастырь и возвратился в «Бабайки». Встретили его с любовью.

В продолжение своего вторичного пребывания в Николо-Бабаевском монастыре послушник Петр проходил преимущественно послушание пономаря и чтеца псалтири по умершим.

Здесь, так же, как и в Ростово-Яковлевском монастыре, он много читал. Вначале он пользовался книгами из монастырской библиотеки. Его любовь к чтению, столь редкая, обратила на себя внимание находящегося в монастыре на покое епископа Н., который заинтересовался юношей из народа, то есть из простой крестьянской семьи. Часто беседуя с ним, епископ расспрашивал Петра о его жизни, о планах на будущее, тем самым знакомясь с его внутренним, духовным человеком. Он начал приглашать Петра к себе и давать ему книги из личной своей библиотеки. Умудренный жизненным опытом и поэтому умеющий хорошо распознавать людей, епископ Н. скоро понял, что перед ним незаурядный человек. Учитывая жажду знаний и любовь к чтению, заметив истовое, неспешное чтение и благоговейное поведение в храме, а также великолепную память, епископ решил приложить все старания, чтобы не дать заглухнуть стремлениям способного и одухотворенного юноши и направить его на тот путь, к которому его невидимо призвал Господь, чтобы сделать из него не только «сосуд в честь», но и «свильник горя и свей»...

Руководствуясь этим благим намерением, епископ Н. предложил Петру заняться самообразованием, обещая при этом свою помощь. Петр с радостью согласился на это предложение. Он сознавал, что, кроме самых элементарных знаний, полученных в начальной школе, образования у него нет и что эта необразованность очень ему мешает. Епископом Н. были выписаны учебники

по курсу гимназии, и послушник Петр в свободное от послушаний время усердно и неленостно занялся своим образованием под его руководством.

В восторге от необыкновенных способностей и изумительной памяти юноши, епископ Н. часто пророчил ему блестящую будущность в деле служения Церкви...

4

В 1904 г., с разрешения монастырского начальства, снабженный благословением и рекомендательными письмами, Петр отправился в сердце России, Москву, для поступления в один из московских монастырей, имея основной целью продолжение образования. Благодаря высокому покровительству, а вернее сказать, — путеводимый и направляемый Промыслом Божиим он был принят в число братии московского Новоспасского монастыря.

В этой обители он преимущественно проходил клиросное послушание. Пел на левом клиросе. У него был тенор, слабый, но приятный по тембру.

Стремясь к осуществлению своей высокой цели, он и здесь все свободное от послушаний и церковных служб время употреблял на продолжение своего образования. С этой целью, при высоком содействии митрополита Владимира и епископа Макария, он поступил экстерном в духовную семинарию, которую с помощью Божией окончил в течение одного года. Весь преподавательский состав семинарии был поражен небывалым случаем в их практике, когда молодой рясофорный монах Петр (ему было в то время около двадцати семи лет) окончил четырехгодичный курс наук в течение только одного года.

По окончании семинарии Петр был принят в число студентов Московской Духовной Академии, которую окончил с неменьшим успехом. Во все продолжение обучения в Академии он числился в братстве Новоспасской обители, не прерывая с ним духовного общения.

В Новоспасском монастыре преосвященный прожил около семнадцати лет, считая и годы обучения в Академии. Здесь он принял ангельский образ — постриг в монашество, с наречением нового имени — Павлин, в честь святителя Павлина Милостивого, епископа Ноланского, память которого Св. Церковь совершает 23 января.

Впоследствии, будучи епископом, он вспоминал, что перед постригом им были намечены два имени, которые он желал бы иметь, Ор и Павлин.

Между прочим, надо заметить, что имя, данное ему при постриге, вполне соответствовало последующей его жизни. Он воистину имел сердце милующее ко всякой твари, а наипаче к образу Божию — человеку, и в деле служения Св. Церкви во всю жизнь подражал неленостно своему покровителю.

Впоследствии, в слове при наречении его во епископа, преосвященный говорил: «В этой обители, самой родной и самой дорогой для меня на земле, Господь породил меня духовно — сподобил принять ангельский образ, иноческое пострижение, священную степень иродиакона, иеромонаха и сан священно-архимандрита. В этой же обители Господь дал мне усердие и ревность к изучению богословских наук. С помощью Божией и своей родной Новоспасской обители и содействием блаженной памяти митрополита Владимира и епископа Макария я окончил Московскую Семинарию и Академию...».

В 1919 году иеромонах Павлин был назначен в Григорьево-Бизюков монастырь Херсонской епархии на должность преподавателя в Бизюковской Пастырско-Миссионерской Семинарии. В течение двух лет, проведенных им в Херсонской епархии, он не прерывал духовного общения с родной Новоспасской обителью, по-прежнему состоя в числе ее братства.

Во время пребывания в Новоспасском монастыре преосвященный Павлин пользовался, как уже было сказано, исключительным расположением как своего ближайшего монастырского начальства, так и высшей духовной иерархии. Будучи иеромонахом, а затем архимандритом, он своим истовым неспешным служением, полным благоговения и страха Божия, своею простотою и любовным обращением со всеми в самое непродолжительное время приобрел среди москвичей, посещавших Новоспасский монастырь, большую известность и любовь. И теперь, по прошествии многих лет, часто вспоминают старожилы Москвы светлый образ иеромонаха Павлина, впоследствии архиепископа, вспоминают с неизменным благоговением и любовью, как избранника Божия.

Епископ Рыльский

В 1921 году архимандрит Павлин «волею Божиею и святителей» был призван на епископское служение Св. Церкви, «чтобы чрез веру и таинство Боговоплощения приводить людей в живое общение с Богом Православной Церковью, этим Богочеловеческим организмом...». Такими словами, обращаясь к епископам и народу, выражал свои чувства преосвященный Павлин при наречении его во епископский сан.

Торжество хиротонии происходило в одном из храмов Москвы при большом стечении народа. Возведение его в высший сан епископа наполнило сердца его почитателей торжественной радостью. За исключением немощных, все присутствовали при его хиротонии. Но радость эта в значительной степени была омрачена предстоящей разлукой с ним, и не столько разлукой, сколько страхом за его будущее.

Преосвященный Павлин был назначен на епископское служение в Курскую епархию, с наречением его епископом Рыльским. По приезде в Курск он приступил к архипастырскому служению Церкви Христовой.

Здесь в полной мере развернулась его любовь к храму Божию, к службам церковным, к молитве как основному средству единения с вверенной ему паствой, воздействующей на нее силою благодатною. Преосвященному Павлину в то время было сорок два года. Полный сил душевных и телесных, он всю свою энергию, насколько позволяли обстоятельства времени, отдавал на служение Церкви. Он часто служил не только в храмах города Курска, но и за пределами его, все более приобретая любовь и уважение всех, кто имел счастье быть с ним в духовном общении.

В летние месяцы года он совершал объезды своей епархии, посещая и осматривая храмы, знакомясь со священно-церковнослужителями. Таким образом он посетил все города Курской области и прилегающие к ним села и монастыри. Преосвященный часто вспоминал впоследствии эти путешествия с большим удовольствием. Города Белгород, Обоянь, Сумы, Суджу, Дмитриев, Старый Оскол, Путивль, Рыльск и другие посетил он и везде, во всех храмах служил, привлекая массы богомольцев не только торжественным архиерейским служением, но и всем своим неотразимо светлым образом, своим кротким обхождением со всеми, своими простыми, безыскусственными, доходчивыми проповедями. Пропо-

веди он произносил часто. Они не блистали красноречием, но были насыщены глубокою верою и искреннею любовью к Богу и человеку. Они легко воспламеняли сердца слушателей, возбуждая в них стремление к жизни по Божиим заповедям, к покаянию.

Особенно часто посещал он древний город Путивль, «иже на костях». В окрестностях города было два мужских монастыря — Молченский Печерский и знаменитая Глинская Пустынь. Его боголюбивая и монахолюбивая душа вскоре приобрела много друзей и почитателей, как среди насельников монастырей, так и среди путивльских жителей, ревнующих о благочестии.

Во время пребывания своего в Курске преосвященный совершил путешествие на родину, в Пензенскую губернию. Был в городе Пензе и в своем уездном городе Мокшане, а также и в родной деревне. Ездил он туда в сопровождении матушки своей и других близких к нему лиц.

Посещение родных мест и восторженный прием со стороны всех, знавших его еще мальчиком, оставили в душе преосвященного самые светлые воспоминания.

На Курской кафедре, епископом Рыльским, преосвященный пробыл около четырех лет. Волею судеб Божиих, по независящим от него обстоятельствам, он был вынужден выехать из Курска. Проще сказать — он был арестован, отвезен в Москву и заключен в тюрьму. В тюрьме он пробыл около года, все время находясь в одиночном заключении.

Впоследствии, вспоминая этот отрезок своей жизни, преосвященный говорил, что жизнь в одиночной камере была для него «второй Академией» в том смысле, что в одиночестве, ничем и никем не развлекаемый, он имел полную возможность разобраться в своем внутреннем человеке, произвести пересмотр всей своей предыдущей жизни при свете Евангелия.

Не имея возможности совершать свое молитвенное правило и Божественную службу, он, стремясь не угасить духа молитвенного, заменял их краткими молитвами и поклонами. Причем из хлебной мякоти им был слеплен крест, пред которым он молился. За это ему пришлось претерпеть много унижений, оскорблений и даже побоев.

Вообще надо заметить, что преосвященный Павлин мало и неохотно говорил о себе, о своей жизни. Но иногда, глубоко задумавшись, вдруг вспомнит что-нибудь и скажет несколько слов. Вникнув в эти редкие, скупые слова о себе, можно было отчасти,

только отчасти, познать все богатство духа этого по наружности смиренного и как бы ничем не выдающегося человека...

Во время пребывания преосвященного в заключении почитатели не забывали его, снабжая по мере возможности всем необходимым. Не одна горячая молитва, из глубины души к Богу возносящаяся, приносилась в это время и в храмах, и в домашней обстановке. Господь внял гласу молений Православной Церкви. Преосвященный по истечении некоторого времени был отпущен на свободу. Радости не было границ. И понеслись к Престолу Божию благодарственные молитвы от сердец, горящих любовью и верою.

Некоторое время преосвященный Павлин жил в Москве то у одного, то у другого из своих друзей и знакомых. Хотя Новоспасский монастырь не существовал, но многие из бывших его насельников еще продолжали жить в Москве и ее окрестностях. Большую часть времени преосвященный прожил в одном особенно расположенном к нему семействе, вблизи бывшего Новоспасского монастыря, изредка входя в молитвенное общение с близкими по духу людьми. Жизнь он вел замкнутую. Свободное время употреблял преимущественно на чтение. Между прочим, за это время им были прочитаны все пять томов «Добротолюбия» и другие творения св. отцов.

6

Епископ Пермский

В 1928 году преосвященный Павлин получил наконец назначение на Пермскую кафедру, епископом Пермским и Соликамским.

Получив в управление большую в территориальном отношении и разбросанную епархию, он с неусыпной энергией в продолжении нескольких лет ревностно совершал свое архипастырское служение.

Так же, как в Курске, часто служил не только в храмах города, но и в его окрестностях.

В летнее время он совершал традиционный объезд вверенной ему епархии — осматривал храмы, служил, знакомился с причтом, разрешая на месте различные недоуменные вопросы по делам церкви.

Однажды он предпринял поездку в самый отдаленный угол своей епархии — город Чердынь. Путешествие это совершалось частью на пароходе, по рекам Каме и Чусовой, частью на лоша-

дах. Преосвященный впоследствии вспоминал эту поездку. Неповторимая красота берегов, с их утесистыми обрывами, поросшими густым лесом, молчаливая тайга, обступившая их со всех сторон, тишина, нарушаемая только пением птиц, дикость и нетронутость этого «медвежьего угла» на всю жизнь оставили глубокий след в светлой душе чуткого ко всему истинно прекрасному преосвященного.

Толпа народа во главе с духовенством Чердыни встретила их. Этот город — «на краю света», как выразился преосвященный — из-за дальности расстояния и неудобства сообщения редко посещали архиереи. Приезд преосвященного Павлина был поистине необычайным событием. Встретили и проводили его, как Ангела Божия, и долгое время спустя вспоминали это посещение, находя в этих воспоминаниях духовное утешение и поддержку.

Преосвященный Павлин, за годы своего служения на Пермской кафедре, в короткое время привлек сердца и приобрел нелицемерную любовь и почитание, как со стороны служителей Церкви, так и со стороны мирян. Во время его служения храм всегда был полон молящимися. Не только постоянные посетители храма, но и временно отставшие от Церкви, охладевшие — охотно шли в храм, когда служил владыка. Побывав однажды на его богослужении, не только взрослые, но и цветущая молодость, и дети в самое непродолжительное время делались постоянными посетителями храма и истинными его почитателями. Лучи благодати, невидимо исходящие от святителя Божия, просвещали и освящали души их.

Дом преосвященного во всякое время был открыт для всех желающих видеть его. Приходили и приезжали священники и другие служители Церкви за разрешением вопросов по церковным делам, за советом и указанием. Приходили старушки с незатейливыми приношениями, посильным даром признательного сердца. Приходили дети, которых он особенно любил. Всех он принимал, приветливо со всеми беседовал. Любовно светились его глаза.

В скором времени по его приезду в Пермь было найдено помещение и для матушки его, которая не замедлила приехать из Курска к своему сыну.

Некоторые духовно сблизившиеся с ним иноки Глинской Пустыни, а также и другие преданные ему люди тоже приехали на жительство в Пермь, поближе к любимому и почитаемому владыке, под его мудрое управление, и вскоре заняли, соответственно своему званию, места священнослужителей Божиих.

Находились, конечно, люди, и не совсем доброжелательно относящиеся к нему. Но владыка ни к кому ни при каких обстоятельствах не изменял своего доброго расположения. Он по опыту духовному знал, что враг, диавол, сеял и плевел в сердца людей, нерасположенных к нему, и сам никого никогда не обвинял. Кроме того, он глубоко верил, что «горе, егда добре рекут о вас вси человецы», и, руководствуясь этой истиной, никогда не изменял своего благодушного отношения к людям, любовно покрывая их немощи.

Так сравнительно благополучно текли годы служения преосвященного Павлина в Пермской епархии до тех пор, пока однажды, совершенно неожиданно для него, по независящим от него обстоятельствам, он был вынужден выехать из Перми...

Некоторое время он жил в Москве. Нерешенность положения тяготила его, только смиренное предание себя воле Божией да усердная молитва успокаивали и поддерживали его. Духом он был мирен...

В конце ноября 1930 года преосвященный Павлин получил неофициальное извещение из Св. Синода о переводе его в Калужскую епархию. Управление Пермской епархией было поручено архиепископу Иринарху из Якутска.

Скорбию наполнилось сердце пермских почитателей его, когда долетела до них эта горестная весть. Они все еще ждали владыку, думая, что он уехал временно. Все еще питали надежду на его возвращение. «Такого милостивого владыки у нас уже не будет», — говорили многие, когда слухи перешли в действительность и на Пермскую кафедру вступил новый архиерей. «Да и не было», — добавляли другие.

7

Епископ Калужский и Боровский

В город Калугу преосвященный Павлин был назначен в декабре 1930 года, он стал епископом Боровским.

Московские его друзья и почитатели были рады. Калуга — не Пермь. Она совсем недалеко от Москвы, всего 175 километров. Есть возможность владыке чаще посещать Москву, да и к нему можно будет съездить. Все это было большим утешением.

Вскоре стараниями преданных ему людей для преосвященного была найдена квартира в Калуге, на берегу Оки. Квартира была

неудобная во многих отношениях. Она была мала. Был общий с хозяйкой ход и общая кухня. Но у преосвященного к этому времени возник некий план, который он и старался по силе возможности осуществить.

Калуга ему нравилась. Она была близко от Москвы, его второй родины. В то время в ней было четырнадцать храмов, где еще совершалось богослужение, а это было уже редкостью. Здесь находилась чудотворная икона Калужской Божией Матери. Здесь когда-то подвизались святые угодники Божии — преподобный Тихон Калужский, Праведный Лаврентий и преподобный Пафнутий Боровский. Здесь была когда-то знаменитая, по всей России известная своими старцами Оптиная Пустынь. Мать Божия своим покровом осеняла Калужскую епархию. Святые угодники калужские своими молитвами охраняли ее. Даже самое местоположение Калуги своею живописностью невольно привлекало к себе. Все это заставило задуматься преосвященного, и думы его формулировались в таких словах: «Здесь покой, здесь вселюся...» О планах своих на будущее время он никому не сообщал, кроме матушки и некоторых, пользовавшихся его доверием людей.

В скором времени преосвященным Павлином был приобретен дом на этой же улице, на берегу Оки. После предварительного ремонта в нем поселилась его престарелая матушка, всюду следовавшая за своим сыном.

Домик был старый, но добротный, с мезонином-светелкой и запущенным, заросшим сорными травами садиком. Во дворе был колодезь. Домик стоял на тихой, поросшей зеленой травкой улице. А из его окон открывался чудесный вид на заречные дали. Из березовой роши, которая казалась совсем близко, ранним весенним утром доносилось пение соловья и кукование кукушки. «Здесь покой мой, здесь вселюся...», — радовался духом преосвященный. Но Господь судил иначе...

Служить постоянно преосвященному Павлину предназначено было в Казанском храме, находящемся в нескольких шагах от его квартиры. Это был большой, старинной архитектуры храм с позолоченным, потемневшим от времени иконостасом и выстланным чугунными плитами полом. Главный придел в этом храме был в честь Преображения Господня, а называли его Казанским потому, что там находилась местночтимая икона Божией Матери Казанской. Впоследствии храм был переименован преосвященным Павлином в Преображенско-Казанский собор.

Тридцатые годы в экономическом отношении были трудными.

Дров в храме не было, да и средств, чтобы приобрести дрова, тоже не было. Храм находился на одной из окраин города, под горой. К нему вел крутой спуск. Осенью и зимой, особенно в гололедицу, желающих посещать этот храм было мало, а поэтому и средств в храме не было.

Преосвященного очень огорчало то, что ему приходилось служить в почти пустом храме. Но так было только в начале его служения, в первые месяцы. Со временем, когда люди узнали и оценили по достоинству его богослужения, храм был всегда полон.

По причине невозможности отопить обширное помещение храма, церковным советом был оборудован для совершения служб подвал под церковью. Внутренность подвального храма была до крайности проста и бедна. Кое-как сколоченный, покшивившийся иконостас, низкий потолок со сводами, давно не беленые стены. Бедность и убожество. Было сыро и сильно пахло кислой капустой из соседнего, занятого «Овощебазой» подвала, но зато было тепло.

В этом «пещерном храме» и пришлось служить преосвященному в холодные месяцы года. В Калуге было много благолепных храмов. В них и средства находились для отопления. Но владыка, не желая на первых порах портить отношения с церковным советом, терпеливо служил в подвальном храме, вспоминая смирившего Себя Господа Иисуса Христа, родившегося в убогом вертепе. К концу Великого Поста 1931 года преосвященному удалось убедить церковный совет приобрести дрова для отопления верхнего храма и установить временную железную печку. Все расходы были оплачены владыкой из епархиальных средств.

Теперь, по прошествии тридцати лет, окидывая мысленным оком все, тогда происходившее, можно заметить, что в жизни преосвященного Павлина со времени его вступления на Калужскую кафедру наступила полоса особенно тяжелых испытаний и скорбей, как общецерковных, так и касающихся личной его жизни. Искушения и скорби были неизменными спутниками его и до приезда в Калугу, но они не были так остры и тяжелы. Эти постигшие его испытания были как бы предвестниками грядущих, еще более тяжелых испытаний и скорбей, неизбежных для всякого истинного последователя Христова в конце его земного странствования, в каком бы звании и чине он ни был...

Началось с того, что преосвященный волею судеб Божиих попал в крайне неблагоприятную обстановку в смысле служения в Казанском храме... Один Господь знает, сколько унижений, поно-

шений и обид, тайных и явных, перенес он от злых людей... О многом можно было только догадываться...

Независимо от воли преосвященного служение в остальных храмах города было крайне ограничено... Преимущественно он служил в Казанском храме, а в остальных храмах очень редко...

Духовенство калужское в подавляющем большинстве, как это ни странно, отнеслось к преосвященному Павлину с первых дней знакомства более чем холодно, даже, можно сказать, неприязненно. Причина этого нерасположения для нас остается непонятной. Можно было предполагать, что он шокировал их своим происхождением, так как все они были из «духовной» священнической среды и привыкли с малых лет смотреть на крестьян свысока, как бы с пренебрежением. Их коробила его простота в обращении, его смиренный монашеский вид. Они привыкли видеть в лице архиерея важного, окруженного ореолом недоступности владыку, начальника церкви, а здесь все было наоборот — преосвященный Павлин был неизменно прост и доступен. Некоторые из них даже к его образованию отнеслись недоверчиво, критически.

Эта холодность и даже недоброжелательность со стороны отдельных представителей калужского духовенства продолжалась до конца служения преосвященного в Калуге. Со стороны любвеобильного и общительного владыки было сделано все возможное, чтобы сломать этот лед холодности, но безрезультатно.

Некоторые действия преосвященного и поступки были непонятны окружающим его, обращены в превратную сторону. И это послужило поводом к злоречию и осуждению его. Потoki грязи лились на него особенно сильно после того, как он уже не был Калужским епископом. Если бы эти люди знали, какие причины заставляли его поступать так, а не иначе — с горьким вздохом позднего раскаяния припали бы они к его стопам, преклоняясь перед мудростью и смирением святителя...

Можно полагать, что не без воли Божией попущено было преосвященному Павлину потерпеть и сие испытание. Это был крест, и крест еще более тяжелый оттого, что он был непонятен. Владыка смиренно терпел все...

Со стороны же народа, так же, как и в Курске, и в Перми, с первых дней служения он приобрел большую любовь. Люди всех возрастов, начиная со стариков и кончая детьми, стремились принять непосредственное участие в молитвах совместно со святителем.

Владыка любил службу Божию и служил часто. По окончании божественной службы он всегда всех благословлял, стоя на амво-

не. Благословляя, он обычно начинал петь общеизвестные церковные песнопения, всех привлекая к общему пению. Преподав благословения и направляясь к выходу из храма, он останавливался у дверей, окруженный прислуживающими ему мальчиками и народом, — и опять пели различные церковные песнопения. В воскресные дни, а также в Господские и Богородичные праздники и в дни памяти особенно чтимых святых обязательно пелись тропари, а также и другие песнопения, соответствующие воспоминаемому евангельскому событию. Часто пелись: «Воскресение Христово видевше...», «Заступница усердная...», «Под Твою милость...» и другие. Особенно полюбился преосвященному умильный припев к акафисту иконы Божией Матери Казанской — «Радуйся, Заступнице, радуйся, Усердная, рода христианского».

Вообще, надо сказать, что владыка особенно любил церковное пение. Когда он пел вместе с окружающими, видно было, что он всю душу вкладывал в смысл слов песнопения. Казалось, что он и не ушел бы из храма, а все стоял бы и пел.

Надо полагать, что привлекая молящихся к общему пению, он имел в основном одну высокую цель — приучить их к сознательному произношению слов молитвенных, чтобы не только устами, но и умом, и сердцем возносились они к Небу.

Это общее пение, это «братание» с народом некоторыми, по наущению диаволу, было принято крайне недоброжелательно. Последовали насмешки, а в отдельных случаях даже грубые, оскорбительные выражения по адресу преосвященного. Но он как бы не замечал ничего... Перед собой он видел только одно — Господа Вседержителя, чрез святую церковь призвавшего его на апостольское служение. Это служение он и стремился по возможности выполнять, несмотря ни на какие препятствия...

Из храма преосвященный выходил всегда окруженный народом, который провожал его до самого дома.

Что привлекало к нему этих простых сердцем людей, преимущественно женщин и детей? Любовь... Любовь к людям, к человеку, каков бы он ни был — старый или молодой, красивый или безобразный, умный или неразумный. Он всех любил одинаково, видя во всех и каждом образ Божий. Поэтому и сердца всех людей бессознательно стремились к нему, движимые одним чувством — за любовь воздать любовью.

Летом 1931 года преосвященного постигло и другое испытание, другая скорбь. Из Перми он приехал не один, а, как выражались некоторые, «с целым штатом». С ним прибыл духовник его,

иеромонах Глинской Пустыни, молодой иеродиакон, исполняющий обязанности секретаря, и келейник. Совместно с ними он и служил в Казанском храме, так как там по штату был только один священник. Даже диакона не было.

И вот в одно ясное летнее утро иеромонах Н. и иеродиакон Н. были арестованы и заключены в тюрьму. Преосвященный остался с одним келейником, молодым парнем из Перми, который в эти трудные дни обслуживал не только его, но и старую матушку. В духовном же отношении преосвященный остался совсем одиноким. Он еще продолжал жить на своей квартире, ожидая окончания ремонта в купленном доме. Одиночество, скорбь о судьбе близких ему людей, беспокойное ожидание и для себя такой же участи томили его. Даже его почитатели, всегда стремившиеся побывать у него на квартире с целью получить благословение, услышать слова совета и утешения, преподнести от полноты благодарного сердца какое-либо приношение, в большинстве своем, исключая самых верных и преданных, как бы отстранились в это время от него, «страха ради иудейска...». Лишь усердная молитва и предание себя в волю Божию, да общение с простою, но мудрою старицею-матушкой поддерживали и укрепляли его. Духовно он не падал, не унывал...

Осенью 1931 года, мысленно благословив в далекий и неведомый путь своих близких, преосвященный переселился в отремонтированный к тому времени дом. Незадолго до этого из Перми приехали две сестры-девушки, которых владыка знал еще детьми. Они взяли на себя хлопоты по хозяйству и ухаживали за престарелой матушкой, которая стала заметно дряхлеть. Двери его дома по-прежнему были открыты для всех. Приходили и приезжали священники по делам церковным. Снова начали навещать его и миряне, взрослые и дети. Как растения стремятся к солнцу, источнику света и тепла, так и они стремились погреться в лучах его любви, унести в своей душе частицу тепла и света божественного.

Из Москвы, из Пермской и Курской областей, а также из других мест многие приезжали навестить его и отдохнуть душою около этого богатого любовью сердца. Иноки разных монастырей, помнящие и благоговейно любящие его, а также из мирян многие приезжали к нему запросто. Некоторые из них подолгу гостили, помогая своими трудами и посильными приношениями. Стараниями их рук домик преосвященного Павлина принимал все более и более уютный и благоустроенный вид. Был расчищен и засажен овощами участок земли при доме. Была устроена беседка под

большим развесистым тополем. В ней любил преосвященный читать в летние теплые дни. В ней и обедали. Там иногда он и посетителей принимал. В конце садика был вырыт небольшой прудик-сажалка, для того, чтобы спустить воды из подвала под домом, так как пробился ключ. В этот прудик были пущены карасики, которые хорошо прижились в нем и быстро размножились. Преосвященный любил прогуливаться возле пруда. Любовался на рыбок, кормил их и даже благословлял.

Надо заметить, что преосвященный отличался любовью не только к людям, но и вообще ко всему живому.

Во время обедов в беседке, еще до начала обеда, услышав звон посуды, со всех соседних дворов собирались кошки. Они окружали беседку, ожидая подачки — остатков рыбы. Тут же происходили и драки из-за лакомых остатков, сопровождаемые неприятными для слуха воплями. Владыка только посмеивался, но прогонять их не разрешал.

По дорожке, ведущей к беседке, пересекая ее, деловито сновали туда-сюда муравьи, занятые своими неотложными делами. Преосвященный сначала каждый раз перешагивал через них, боясь наступить, и других предупреждал об этом. Потом распорядился положить доски, вроде мостика, и приказал ходить только по доскам, чтобы не беспокоить муравьев.

Однажды недалеко от своего дома он увидел замученную мальчишками до смерти кошку. Каждый раз, проходя мимо этой безответной жертвы человеческой жестокости, он страдал до слез от жалости к бессловесному и беззащитному животному. Своим близким по духу он признавался, что это ему было попущено искушение, чтобы смутить его дух...

О чем говорят эти мелкие черты его повседневной жизни? О великой любви ко всякой твари, ко всему созданию Божию. Невольно при этом приходят на ум слова великого подвижника древних времен, преподобного Исаака Сирина, говорящие о том, что один из признаков совершенства духовного есть «сердце милующее ко всякой твари...», «горение сердца о всем творении, о людях, о птицах, о животных...»

Летом 1932 и 1933 года был особенно большой наплыв приезжих посетителей, преимущественно с Украины. Преосвященный всем им, по возможности, представлял места священнослужителей в церкви своей епархии, тем самым пополняя недостающее. Сам Бог помогал ему в этом деле архиастырского служения святой Церкви, посылая нужных людей.

Посещали его иногда и епископы. Приезжал архиепископ Иринарх, преемник его по Пермской кафедре, в сопровождении епархиального секретаря. Несколько дней гостил епископ Глеб, проездом в свою епархию, а также и другие.

Однажды из Москвы приехала компания юношей. Они погодили около недели, помогая преосвященному во время богослужений. Это были иподиаконы московские. Они хорошо знали преосвященного. Некоторые из них знали его, еще когда были детьми. Когда преосвященному приходилось служить в московских храмах, они всегда прислуживали ему. Все они относились к нему с благоговейной любовью и уважением. Его любовь и доброта как магнитом притягивали к себе сердца всех...

В 1933 году преосвященный Павлин принимал участие в сессиях Св. Синода. С этой целью поездки в Москву совершались им несколько раз в год. Из последней своей поездки на сессию им была привезена фотография — групповой снимок участников сессии во главе с Патриаршим Местоблюстителем, блаженной памяти митрополитом Сергием. В числе участвующих на сессии был и Ленинградский митрополит — впоследствии Святейший Патриарх всея Руси Алексей, тогда еще совсем не старый.

Деятельность Преосвященного Павлина как архипастыря Калужской епархии была, конечно, по независящим от него обстоятельствам крайне ограничена. Она вообще, можно сказать, была заключена в тесные рамки, которые с каждым последующим годом сжимались все теснее. Он страдал, видя Церковь, раздираемую извне и изнутри... Вдвойне страдал, сознавая свою беспомощность и невозможность развернуть свою апостольскую деятельность во всей силе. Молча страдал, смиренно преклоняясь пред непостижимыми для человеческого разума судьбами Божиими...

Не считая неоднократных поездок в Москву, предпринимаемых преимущественно по делам Церкви, преосвященный из Калуги никуда не выезжал. За время своего служения на Калужской кафедре он не только не был ни в одном городе своей епархии, но и вообще никуда не выезжал за пределы города.

Только один раз он, в сопровождении близких ему людей, посетил бывшую Тихонову Пустынь, находящуюся в восемнадцати километрах от города. Там они осмотрели остатки бывшего монастыря, побывали на святом колодце, вырытом по преданию преп. Тихоном Калужским, в трех километрах от монастыря, в глухом лесу.

Между прочим, колодезь этот и в настоящее время посещают

многие, веруя в целебность его воды. Особенно большой наплыв богомольцев, не только из Калужской области, но и из других областей страны, бывает 16 июня, в день памяти преп. Тихона.

Другой раз преосвященный Павлин совершил путешествие на Калужку. Калужка — это село в восьми километрах от Калуги, в котором было явление чудотворной иконы Божией Матери Калужской. До 1917-1918 годов икона всегда находилась там. В Калугу она была перенесена позднее и при преосвященном Павлине находилась в руках обновленческой церкви. На Калужку ходили пешком, так же как и в Тихонову Пустынь. В путешествии принимала участие матушка владыки и некоторые другие лица. Было очень жарко. На берегу речки Калужки отдыхали в тени больших развесистых деревьев. Потом, не спеша, поднялись по крутой горе к церкви, где были встречены преданным преосвященному священником о. Кириллом. Всю дорогу владыка был очень оживлен и весел. Всему он, как дитя, радовался. Осматривали храм, приложились к святым иконам. Потом взбирались все, кроме матушки, на колокольню. Любовались открывшейся оттуда широкой панорамой лугов, полей и леса. Вдали поблескивала на солнце стальная лента Оки. Правее её хорошо была видна Калуга — нагромождение домов, садов и колоколен...

День преосвященного Павлина обычно проходил так. По давно укоренившейся привычке вставал он рано. Если не было архиерейского служения, он, прочитав свое утреннее правило, отправлялся к божественной литургии или в свой Преображенско-Казанский собор, или в другой какой-либо храм города. Обычно он проходил прямо в алтарь и там стоял до конца службы. По окончании он иногда по приглашению причта или какого-либо церковного совета заходил запросто «попить чайку». Ходил всегда пешком, так как транспорта в Калуге в описываемое время почти никакого не было.

В летнее время преосвященный, иногда в сопровождении одного близкого ему человека, ходил гулять за реку Оку. Это происходило обычно ранними утрами. Никого не встречая на пути, овеянные утренней прохладой и тишиной, они спускались к реке под видом купальщиков, с полотенцами в руках, переходили по «живому мосту» на противоположный берег и там гуляли по лугу и березовой роще. Однажды преосвященный, увидев на лугу, пестревшем цветами, косившего траву человека, сам захотел покосить. Когда он скосил несколько рядков, человек этот сказал: «А вы, батюшка, косить-то умеете!..»

Возвратившись домой, до обеда он занимался обычными своими делами: принимал посетителей, разбирал и просматривал корреспонденцию, писал письма, читал.

Чтение книг для него было насущной потребностью. Без чтения он как бы не мог существовать. В продолжение 1931-1933 годов им, не считая других творений святых отцов, было прочитано вновь «Добротолюбие» на русском и славянском языках, а также годичный круг Четьи-Миней. Сам он не мог долго читать по причине головных болей, поэтому чаще читали ему вслух некоторые близкие ему люди.

Когда преосвященный приехал из Перми в Калугу, у него было сравнительно немного книг: два-три десятка томов. Живя в Калуге, он в течение непродолжительного времени приобрел много книг духовно-нравственного содержания. Кроме того, ему привезли его собственные книги, хранящиеся до времени в другом месте. Из этих книг составила порядочная библиотека, около двух тысяч томов. Часть книг находилась в его кабинете. Для этого были устроены полки на одной из стен, в несколько рядов. Все они до самого потолка были уставлены книгами. Большая же часть книг находилась наверху, в помещении матушки.

После незатейливого обеда, состоящего из двух-трех простых блюд, преосвященный иногда ложился на краткое время отдыхать. Вечерами он обычно посещал свою матушку и беседовал с нею. Иногда она сама приходила к нему, но это случалось сравнительно редко, в том только случае, когда было какое-либо неотложное дело. Вообще, надо сказать, это была простая, но мудрая старлица, горячо любившая своего святителя-сына и благоговейно преклонявшаяся перед ним.

Иногда, а это бывало довольно часто, преосвященный ходил на вечернее богослужение в один из храмов города, чаще всего он бывал в Богоявленском храме, ближайшем к его квартире, а также в храме Покрова Божией Матери, «что на рву». Летом он любил бывать в Крестовском храме, бывшем Крестовском монастыре, давно упраздненном. Там по пятницам совершалось всенощное бдение с чтением акафиста Животворящему Кресту Господню. Во время чтения канона пелись ирмосы — «Крест начертав Моисей...» Храм находился на окраине города, за кладбищем. Окруженный со всех сторон старыми высокими деревьями, остатком бывшего монастырского сада, этот уединенный, спрятавшийся за высокой каменной оградой храм особенно привлекал преосвященного. Возможно, он навевал какие-то неясные, но дорогие и близкие его душе воспоминания...

Служил преосвященный Павлин часто, не только в большие праздники и воскресные дни, но и в дни празднования многих особенно почитаемых им святых и вообще в памятные для него, по какому-либо случаю, дни.

В первый же год своего служения в Калуге он привлек в Казанский храм любителей церковного пения, из которых составилась довольно приличный хор. Певчие, мужчины и женщины, до такой степени полюбили преосвященного, что всегда старались узнать, когда и где он предполагает служить или только присутствовать при богослужении. Узнав об этом, они в полном составе являлись петь.

Однажды владыка, выразив приятное удивление, увидев их в хоре одной из церквей, где он присутствовал, услышал в ответ слова: «Мы, владыка, — ваша тень. Где вы — там и мы...»

Иногда он приглашал певчих к себе. Преимущественно это бывало в праздничные дни. После скромного угощения он всегда просил их петь, причем сам принимал участие в пении. Пелись, главным образом, церковные песнопения и изредка «псалмы», духовные стихи.

Во время пения он иногда останавливал певчих на некоторых словах, повторяя их раздельно. Так, например, во время пения «С нами Бог» из великого повечерия он останавливался на словах: «Отец будущего века». Или из «Величит душа моя Господа» он останавливал внимание поющих на словах: «Восприят Израиля, отрока Своего», поясняя при этом, что, как отрока, держит Господь руками Своими избранных Своих... Взор его при этом становился глубоким и проникновенным...

Особенно владыка любил тропарь Великой Субботы «Благообразный Иосиф». Даже в неслужебные часы и не только во время Великого Поста он предлагал пропеть это умирительное песнопение. Причем, во время пения он как бы уходил от всех. Лик его становился отрешенным... Казалось, что в этот миг он всецело переносится душою туда, где совершилось много веков назад искупление человеческого рода. Перед его духовными очами стояла, как живая, картина положения во гроб Богочеловека.

Преосвященным Павлином впервые в Калуге были введены вечерние Богослужения по воскресным дням. Они отличались особой торжественностью и совершались по особому, необычному чину, возможно, составленному им самим. Воскресные вечера совершались в честь прославления Воскресшего Господа и проводились даже тогда, когда по Уставу полагалась служба какому-

либо особенно прославленному святому, как, например, в канун памяти преп. Серафима Саровского.

Начало вечерни было обычное. По окончании вечерни совершался крестный ход внутри храма с пением «С нами Бог». Затем следовал акафист Спасителю. После акафиста — Евангелие, чтенное на Литургии в этот день. После Евангелия — пение всеми молящимися «Воскресение Христово видевше». Все заканчивалось поучением, которое произносил Владыка и которое особенно жаждали услышать присутствующие.

В воскресные дни Великого Поста за вечерним богослужением служились по примеру Иерусалимской Церкви «пассии», также с крестным ходом вокруг храма. Причем пелись песнопения Страстной седмицы, а акафист читался обычный Спасителю.

Пассии и доселе совершаются в Кафедральном Георгиевском соборе Калуги, но с некоторыми сокращениями и без крестного хода. В течение Пятидесятницы, по воскресным дням, преосвященным был установлен чин службы «Анастасис» — обычная воскресная вечерня, сопровождавшаяся крестным ходом внутри храма, с пением «Воскресение Твое, Христе Спасе...» Прокимен пелся — «Кто Бог великий». Затем следовал акафист Воскресению Христову, с общим пением после последнего икоса пасхального тропаря «Христос воскрес из мертвых». Заканчивалось богослужение пением всего Пасхального канона и поучением.

Преосвященный особенно восторженно совершал эти богослужения. Он вообще очень любил Пасхальную службу. Однажды в одной из частных бесед с близкими по духу людьми он сказал, что «хорошо бы было, если бы нашелся такой ревнитель благочестия, который составил бы Рождественскую службу по типу Пасхальной...»

В первый год его служения в Калуге, в Чистый Четверг Страстной седмицы, преосвященным был совершен обряд «омовения ног» в воспоминание Тайной Вечери, на которой Господь наш Иисус омывал ноги Своим ученикам. Этот обряд был совершен им только раз. По неизвестным причинам в последующие годы он не совершался.

Иногда за всенощным бдением, стоя на кафедре, он пел псалом «Помилуй мя, Боже» с общим пением после каждого стиха «Аллилуиа». Пение было чрезвычайно трогательное, но по неизвестным причинам оно тоже было оставлено...

За всенощным бдением непередаваемо торжественное впечат-

ление производило пение им, вместе с сослужащими, умирительного песнопения «Свете тихий».

Как выше упоминалось, преосвященный не был красноречивым проповедником. Простые слова, проникнутые глубокою верой и мудростью духовною, произносились преимущественно на различные тексты из прочитанного в этот день Евангелия, в данный момент остановившие особенно его внимание. Смысл этих слов, благодаря простоте изложения, легко проникал в сознание слушающих и запечатлевался в сердцах.

С внешней стороны богослужения преосвященного Павлина в Преображенско-Казанском соборе были обставлены бедно, по независящим от него обстоятельствам. С ним постоянно служил знаменитый своим голосом и выправкой не только в Калуге, но и за пределами ее известный протоиерей Н., которому преосвященный много оказал благодеяний в смысле материальной поддержки.

Прислуживали преосвященному во время богослужений преимущественно мальчики в возрасте от восьми до четырнадцати лет. Их было человек шесть. Старшие из них несли обязанности иподиаконов, а самый маленький был посошником. Все они были очень привязаны к нему и никогда не пропускали ни одной архиерейской службы. Они и в доме у него были частыми гостями. Владыка особенно любил детей. И они платили ему любовью.

Невзирая на малочисленность сослужащих и бедность обстановки, преосвященный умел придать своим богослужениям торжественность и поднять молитвенный дух предстоящих.

Служил он восторженно, весь отдаваясь молитве, вкладывая всю душу в смысл произносимых им святых слов.

Понятно поэтому, что все, имеющие «душу живу», стремились присутствовать при его богослужениях, чтобы самим принимать участие в совместных молитвах. Особенно много молящихся привлекали своею необычностью вечерние воскресные богослужения, так что вместительный Преображенско-Казанский собор всегда был полон.

Калужским духовенством эти «новшества» были встречены более чем холодно...

Так, окруженный любовью и уважением народа, скромно жил и трудился над возделыванием нивы Христовой преосвященный Павлин.

Служение его на Калужской кафедре длилось недолго — с декабря 1930 года по осень 1933 года.

Летом 1933 года он получил телеграмму от одного, близкого ему по духу, епископа из Москвы, извещающую его о том, что он переводится в Могилевскую епархию. Известие это поразило преосвященного своей неожиданностью. Не предполагал он, что так быстро придется оставить ему Калугу, и не хотелось ему отсюда уезжать. Сообщение о переводе было неофициальным, поэтому никто не подозревал, что скоро наступит день, когда придется расстаться с любимым архипастырем.

С этого времени преосвященный заметно изменился в своем обращении, всегда радушном и ласковом. Он стал как-то суровее, озабоченнее. Чувствовалось, что его что-то тяготит. Чувствовалась даже какая-то отчужденность. Трудно объяснить причину этого. Предвидел ли он тяжесть скорбей, ожидающих его в Могилеве, или были другие причины, омрачающие его светлую душу, — неизвестно. Это была его тайна. Ходили неясные слухи, что кто-то из калужского духовенства сделал на него донос в Св. Синод, но слухи остались только слухами...

Матушка его тоже ходила с озабоченным и замкнутым видом. Когда было получено официальное извещение из Синода о переводе преосвященного на Могилевскую кафедру и это уже не было секретом, она рассказывала своим близким, что незадолго до получения телеграммы видела сон, содержание которого указывало, что Могилев будет для нее могилой...

8

Архиепископ Могилевский

В конце августа 1933 года преосвященный был вызван в Москву, в Синод. Возвратясь, он официально объявил благочинному о своем переводе. Скорбью наполнились сердца всех искренне преданных ему людей, когда долетела до них горестная весть. Все были удручены близкой разлукой и, как это всегда бывает, даже представить себе не могли, что его уже не будет с ними, что какие-то другие люди будут молиться с ним, что на Калужскую кафедру вступит новый архиерей. «Такого владыки у нас не будет больше...» — со скорбью говорили многие.

Горестно было смотреть на преосвященного, когда он в последний раз служил в Преображенско-Казанском соборе божественную литургию. Вид его был, — как образ скорбного ангела. Когда он произносил возгласы, голос его неоднократно прерывал-

ся от с трудом сдерживаемых рыданий. Стоя на амвоне, после окончания литургии, и в последний раз благословляя теснившийся к нему народ, он плакал. Крупные слезы тихо катились по его бледным щекам. Плакали мальчики, его маленькие иподиаконы, плакали почти все, подходящие к нему. «Не плачьте обо мне... — сказал он некоторым. — О себе плачьте...»

Видимо, ему тяжело было расставаться с Калугой. Тяжелое предчувствие теснило его грудь и навевало безотрадные мысли... Но он был послушный сын Святой Церкви и потому принял безропотно это нежелательное назначение, как от руки Господней. Душа его томилась и скорбела, но дух был бодр...

В первых числах сентября преосвященный Павлин, простившись со всеми, уехал в Могилев в сопровождении одного близкого духовно иеромонаха, впоследствии епископа Гомельского. К тому времени келейника при нем не было. Он оставил своего владыку и уехал на родину, в Пермь. Перед отъездом преосвященный как бы повеселел. Ласково со всеми простился, утешая плачущих и ободряя надеждою на скорое свидание. На вокзале же он, обращаясь к провожатым, на вопрос «когда же мы вас увидим?» ответил: «Увидимся... Только не скоро... Не скоро...».

Матушка преосвященного осталась до времени жить в Калуге. Тяжело ей было оставаться одной в опустевшем и сразу как бы затихшем доме. Она привыкла всю жизнь следовать за сыном, неразлучно находиться близ него. Преосвященный, ободряя её, говорил, что служение на Могилевской кафедре не будет продолжительным, что он надеется опять жить в Калуге.

Служение его в Могилеве действительно не было продолжительным, но окончилось оно совсем иначе, не так, как думал и предполагал преосвященный...

Духом он еще ранее предвидел, что его ожидает в будущем. Не один раз, глубоко задумавшись, вдруг произносил: «Наш путь — крестный путь...». Или такие слова: «Наш путь — ссылка, тюрьма, смерть...» Однажды он сказал одной из своих духовных дочерей: «В конце жизни мы скроем себя от мира...»

Преосвященный Павлин в Могилевскую епархию был переведен с титулом «архиепископ Могилевский».

Духовенство и миряне Могилева тепло встретили нового владыку. Вскоре нашли ему квартиру, где он и поселился временно. Вещей из Калуги было взято совсем мало, только самое необходимое из белья и одежды. Видно было по всему, что он не пред-

полагал там устраиваться более или менее прочно, и весьма вероятно, что он имел на это веские основания.

Первый год своего служения в Могилеве преосвященный довольно часто приезжал в Калугу, тем самым как бы выполняя обещание видаться. Приезжая по делам церкви в Москву, он каждый раз не упускал случая заехать и в Калугу, повидаться с матушкой своей и другими близкими по духу людьми.

В один из своих приездов он встретился с новым калужским архипастырем, преемником своим, только что прибывшим в Калугу. Вернее, преемником преосвященного был епископ Дмитрий, но он пробыл в Калуге совсем мало, около полугода, на его место был назначен епископ Августин. С ним у преосвященного с первых же дней знакомства завязались хорошие, братские отношения. Несколько дней до приискания квартиры епископ Августин пользовался гостеприимством преосвященного — жил у него в доме.

В другой свой приезд в Калугу преосвященный присутствовал при погребении некоего мальчика Миши Гончаренко. Однажды, когда преосвященный еще служил в Калуге, к нему приехал мальчик, на вид лет четырнадцати, из Харьковской или Полтавской области. Преосвященный его совсем не знал. Из расспросов выяснилось, что Миша, в один день потеряв отца и мать (они были высланы), остался совершенно одиноким. Кто направил его в Калугу — осталось неизвестным. Писем у него с собой не было. Причем до Калуги он ехал без билета, зайцем. Он заявил, что у себя на родине читал и пел в церкви. Был сделан ему экзамен. Миша хорошо читал и пел по-славянски, хотя и запинаясь слегка от волнения. У него оказался звонкий, довольно сильный альт. Преосвященный был в большом затруднении. Он с радостью оставил бы Мишу у себя, но не мог сделать это по разным причинам. Приютил его добрейший иеромонах Н., служивший на приходе в одном из сел Калужской епархии. Миша сильно привязался к нему, и когда, волею судеб Божиих, иеромонах Н. вынужден был уехать, он заболел, возможно, и от переживаний. Слишком горячо реагировало его маленькое, чуткое сердечко на все случившееся. Больной, он пришел пешком в Калугу. Несколько дней пролежал в доме преосвященного, затем был отправлен в больницу, где и умер от менингита, как показало вскрытие. Так как у Миши ничего не было, его одели в рубашку преосвященного, которая была ему ниже колен, а голову обвязали белым платочком. Лежал он в гробу весь в белом, как девочка. Владыка, стоя у его гроба в «пещерном храме», плакал... Вечный тебе покой, маленький страдалец, блаженный отрок Михаил!..

В конце 1934 года матушка преосвященного, томимая тяжелыми предчувствиями и одиночеством (при ней оставалась девушка, прислуживавшая ей), обеспокоенная старческими недугами своими, убедила преосвященного разрешить ей жить вместе с ним в Могилеве.

С отъездом матушки и сопровождавшей ее девушки совсем опустел тихий домик на берегу Оки. Владыка реже стал приезжать в Калугу. Но вещи все, кроме самых необходимых, остались в доме, как бы ожидая своего владельца.

У преосвященного Павлина было очень много икон. Они украшали все стены не только его кабинета, но и стены приёмной комнаты, которая одновременно служила и столовой. Святыня его — святыне моги и другие ценные вещи, а также вся мебель, тоже оставались в доме, который был поручен некоторым доверенным лицам. В кабинете преосвященного все оставалось без изменений, как было при нем. Казалось, что хозяин ненадолго вышел из дома и скоро вернется. Сядет за стол, окруженный ликами угодников Божиих и книгами...

Судя по содержанию писем, которые преосвященный довольно часто писал, можно было заключить, что мыслями своими он всегда в Калуге... В одном из писем он даже написал однажды: «Берегите рыбок...».

Все это как бы говорило о том, что вот-вот скоро приедет хозяин и вновь водворится в этих уютных комнатах. Вновь зазвучит его бодрый, веселый голос, тихий, ласковый смех. Вновь полюбятся лучи благодатного тепла, света, любви в души преданных ему людей... Но ничему этому не суждено было быть...

В Могилеве преосвященный, так же, как и везде, быстро приобрел общую любовь и благоговейное уважение со стороны священнослужителей и мирян. Все любили его. Да и нельзя было его не любить. Даже дети евреев, которых много в Могилеве, в непродолжительном времени узнали «доброе батюшку»... Еще издали завидев его, бежали ему навстречу с приветливым «здравствуйте». Преосвященный, по доброте своей, частенько наделял их монетами, ласково поглаживая по головкам, не делал различий между ними и детьми православных родителей.

Он вообще был очень добрым, милостивым владыкой. В Москве, Курске, Перми, Калуге и Могилеве — везде он старался, насколько была к тому возможность, помогать материально нуждающимся. Многим регулярно посылались деньги по почте. Всем обращающимся к нему за помощью он всегда помогал, чем мог, хотя сам часто нуждался в самом необходимом.

Живя в Могилеве, преосвященный все чаще задумывался над выполнением своего намерения «со временем» уйти на покой, имея целью не столько отдых, сколько потребность в конце жизненного своего пути удалиться от суеты мирской для более уединенной жизни. Мысли его все чаще переносились в уютный калужский домик, в котором он так старательно все устраивал.

Несмотря на такие мысли и планы, преосвященный всегда предавал себя и все на волю Божию, смиренно преклоняя голову перед Его промыслом, непостижимым для нас образом устрояющим жизненные пути наши...

Жизнь его в Могилеве в общем текла довольно мирно и спокойно, если не считать некоторых мелких, неприятных случаев. Однажды его обокрали, как говорится, среди белого дня, даже в присутствии матушки и других. Какие-то опытные воры проникли в квартиру под видом монтеров с требованием осмотреть электропроводку. Осмотрев все, что было нужно, они, вежливо простившись, ушли. Вскоре после их ухода было обнаружено, что исчезли золотые часы преосвященного с репетиром, которыми он дорожил, и праздничная его панагия. В другой раз, в вагоне поезда, который вез его в Москву, у преосвященного украли его дорожный посох с серебряным набалдашником. Все это были мелочи, на которые никто особого внимания не обратил.

Гроза была впереди. Все эти мелкие, неприятные происшествия были как бы предвестием ее... И вот гроза разразилась... Жестокие ее удары сыпались на преосвященного один за другим. Он принимал их как неизбежное, как от руки Господней, всецело предавая себя и всех в руки Божии.

11/24 октября 193.. года преосвященный был арестован и заключен в Могилевскую тюрьму. Весть об этом, быстро облетевшая всех, наполнила сердца любящих и почитающих его скорбью и страхом. Горячие молитвы неслись к Престолу Божию от многих сердец, из многих городов и сел страны. Но Господу угодно было очистить и обелить его от грязи житейской огнем страданий, тем самым как бы приуготовляя к исходу в вечность...

Бедная старица, мать преосвященного, удрученная годами и старческими немощами, как-то сразу сникла и совсем одряхлела, оставшись одна. Ее старый организм не выдержал потрясения. Вскоре после ареста владыки с ней случился легкий удар, предвестник близкого конца, после которого она так ослабела, что не могла даже по комнате ходить без помощи девушки, ухаживающей за ней. Спустя непродолжительное время новый удар сразил ее,

и она тихо предала дух свой Господу, неоднократно напутствованная перед отходом в вечность Св. Тайнами Тела и Крови Господней.

Умерла она 25 декабря/7 января 193 . . года, на праздник Рождества Христова, во время совершения Литургии. Сбылись ее тяжелые предчувствия, сбылся и вещий сон, виденный ею в Калуге. Могилев оказался для нее, да и не только для нее, — могилой... Похоронили матушкины останки на могилевском кладбище.

А преосвященный в это время томился в тюрьме, терпеливо ожидая конца. Будущее было неизвестно — оно было в руках Божиих, но ожидать хорошего, по многим признакам, не приходилось...

Грустно поникла его голова при получении известия о кончине матушки. Тихий вздох раздался из его груди. Слезы текли по бледным щекам, и уста беззвучно шептали: «Вечная тебе память, Царство тебе небесное, дорогая мамаша! Помяни и нас пред Престолом Божиим... И да будет на все воля Твоя, Господи, едина благая и совершенная!..»

Перед его глазами вставала, как живая, его старенькая матушка, маленькая, сгорбленная старушка, верная спутница его жизни, его друг и советник... Старческое, такое знакомое, скорбное лицо и благословляющая десница, опустившаяся на его склоненную голову в час его ареста, в момент прощания. Это было последнее прощание... Это было последнее взаимное благословение... Его последние слова, обращенные к ней: «Мы не увидимся больше с вами, мамаша...» оказались пророческими...

Вечный покой тебе, добрая подвижница, добрая и примерная мать! Да упокой Господь твою праведную душу в селениях святых Своих, избранных от века!

Спустя некоторое время, преосвященный из Могилевской тюрьмы был препровожден в Минск, а оттуда, приблизительно через месяц, отправлен был в далекий-далекий путь — туда, куда не хотел и откуда уже не возвратился...

Вскоре рядом с могилкой матушки на Могилевском кладбище вырос новый, свежий холмик земли. Девушка, обслуживавшая ее в Калуге, сопровождавшая ее в Могилев и ухаживавшая за ней до последнего ее вдоха, легла рядом с ней. Она была еще совсем молодая, лет двадцати трех — двадцати четырех, и на вид довольно крепкая.

Девушка Агния скончалась 8-го августа 193 . . . года, в могилевской больнице, где она работала санитаркой, от брюшного тифа.

фа, на полгода пережив матушку. Верно, так угодно было Господу, чтобы она еще в начале своего жизненного пути отошла в вечность. Да упокоит Господь ее душу. Нам пути его неведомы...

Преосвященный Павлин в первые два года своего изгнания довольно часто писал близким своим, насколько позволяли условия его жизни. Письма его по-прежнему дышали бодростью. Как видно было из этих писем, он не падал духом, питая надежду на возвращение. В одном из своих последних писем, к своей бывшей квартирной хозяйке в Могилеве, как рассказывали впоследствии, он писал, что надеется еще увидиться.

К концу 1938 года письма прекратились. Ни на посылки, ни на письма его верных друзей ответа не было...

Что случилось с ним?

Предполагали, что в его судьбе произошли какие-то изменения в худшую сторону, но верных сведений о его последующей жизни получить не удалось, несмотря на неоднократные попытки...

Жив ли он, умер ли — неизвестно... Это было двадцать лет тому назад. С каждым годом огонек надежды на то, что он находится еще в живых, слабел и наконец совсем погас... Ведь ему теперь было бы более восьмидесяти лет. Где умер он?.. В какой обстановке и в каком окружении испустил он свой последний вздох?.. Где закрылись навеки его потухающие глаза?.. В какой неизвестной стране погребено его тело?..

Но, где бы ни лежал его прах, память о его светлом образе никогда не угаснет в душах знавших его...

9

Хочется сказать еще несколько слов о самой личности преосвященного Павлина.

Преосвященному в бытность его епископом Калужским было уже более пятидесяти лет. Он был немного выше среднего роста, довольно плотного телосложения. Не густая и не длинная светлорусая борода обрамляла его почти всегда бледное, благообразное лицо. Высокий лоб казался еще больше от лысины, но это не портило его лица. Печать мудрости, озаренной Духом Святым, лежала на нем.

Преосвященного нельзя было назвать красивым. У него было совсем простое русское лицо. Но внутренняя, духовная красота делала это простое лицо прекрасным. Оно светилось кротким, тихим светом, как бы от некоей лампы, скрытой внутри. Серые,

быстрые глаза с особенной силой излучали этот свет прекрасной души, освященной Божественной благодатью.

Одевался преосвященный просто, по-монашески. Его часто можно было видеть на улицах Калуги. Светловолосый, с бледным, одухотворенным лицом, в черной рясе и в черной скуфеечке на голове. В руках всегда — короткий посох. Походка и все движения — быстрые, полные бодрости и энергии. В домашней обстановке он одевался зимой в черный, а летом — в белый подрясник, с цветным, вышитым шелком поясом.

Отличительной чертой характера преосвященного, как уже неоднократно говорилось, была любовь — всеобъемлющая, святая любовь.

Он всех любил. Сердце его легко отзывалось как на горе и страдание, так и на радость. Он плакал с плачущими и радовался с веселящимися.

Памятуя о том, что «любовь есть союз совершенства» и что «любовь покрывает множество грехов», — веруем и надеемся, что Господь, за его большую любовь к людям, не отринул его от Своего Лица и сопричислил его к лику святых Своих, избранных от века...

Он был незлобив, как дитя. Никто никогда не видел его гневающимся. Он как бы не замечал зла. Некая благодатная сила охраняла его душу от духа неприязни. Трудно было вывести его из терпения, и терпение его было изумительно.

Смирение его и кротость достойны глубокого преклонения и подражания.

Известен один факт, о котором доселе вспоминают калужские его духовные чада и почитатели с благоговением.

Однажды преосвященный, возвращаясь откуда-то домой, встретился на улице с одним гражданином, старостой одной из калужских церквей, у которого покупался материал для ремонта дома. Гражданин этот начал грубо требовать деньги в уплату за материал. Преосвященный, ничего не подозревая, так как деньги давно были уплачены одному доверенному лицу, ведущему все расходы по ремонту, ответил, что все уплачено в свое время. Тогда Н. начал поносить его грубыми и неприличными словами, оскорбительными не только для епископа, но и для простого человека. Говорили впоследствии, что он, в порыве ярости, даже ударил преосвященного, требуя деньги. Верно ли это последнее, или оно плод фантазии — неизвестно. Достоверно то, что преосвященный возвратился домой необычайно взволнованным. На нем, как

говорится, лица не было. Быстро пройдя в свой кабинет, он заперся там. Минут десять-пятнадцать быстро ходил по комнате. Затем несколько минут длилась тишина. Внезапно открылась дверь, и владыка, с таким же взволнованным лицом, не говоря ни слова, ушел из дома. Это было необычайно... Через некоторое время он вернулся и опять, уже надолго, заперся в своем кабинете. Весь этот день преосвященный был очень молчалив и задумчив, что редко с ним случалось. Впоследствии выяснилось, что он ходил к этому человеку, так больно и незаслуженно оскорбившему его, и просил у него прощения. Пораженный таким смирением свяителя, Н. упал перед ним на колени, умоляя простить его...

Этот факт, говорящий о великом смирении преосвященного, стал известен только впоследствии, так как сам владыка никому об этом не говорил.

Прост и доступен он был необычайно. Всегда, во всякое время двери его были открыты для всех, желающих видеть его и беседовать с ним. Просящим совета он давал совет и наставление в духе Церкви Православной. Просящим материальной помощи — помогал чем мог, иногда деньгами, а иногда и продуктами, хотя сам питался очень умеренно и стол его всегда был прост.

Однажды один благодетель прислал ему несколько килограммов сахарного песка, который в то время доставать было трудно. Часть этого песка преосвященный в тот же день отослал старому, больному протоиерею, служившему с ним.

Одна из его почитательниц, иногда стиравшая его белье, рассказывала впоследствии, что почти все белье было сильно поношенное и даже в заплатках. «Ведь он все раздавал...» — добавила она...

Движимый чувством милосердия, он часто покупал вещи, которые ему совсем не были нужны, и платил за них столько, сколько запрашивали, по заповеди Евангельской — «просящему у тебя — дай...».

Примером его бескорыстия и любви к ближнему может служить следующий случай из его жизни. Испытывая недостаток в необходимых продуктах питания, преосвященный однажды, незадолго до Пасхи, послал прислуживающих ему людей к одному благодетелю в район. Продукты — мука, масло, крупа, творог, яйца и тому подобное — везли на лошади. Все это было трудно тогда достать. На пути в Калугу, в одной деревне, где они останавливались для отдыха, их обокрали. Унесли все, что было уложено в сани. Приехали они с пустыми руками, и, когда с волне-

нием и страхом предстали перед преосвященным, он, выслушав их скорбный рассказ о случившемся, спокойно сказал: «Не тужите... Ведь это мы голодного накормили...»

Приведенные факты его милосердия не единичны — их много. Но о них никто не знает, так как преосвященный не любил говорить об этом...

Характер у преосвященного был веселый, простой и открытый. Он был очень общителен и гостеприимен. В разговорах с окружающими любил пошутить, но шутки его были всегда невинны и беззлобны.

Он никогда никого не осуждал. Даже факты вопиющей несправедливости и беззакония он предпочитал обходить молчанием.

С каждым он умел поговорить в соответствии с возрастом и духовным интеллектом собеседника. С детьми был сам как дитя. С молодежью весел и приветлив. С подчиненными — снисходительно вежлив и терпелив. С людьми равного с ним положения — братски любовен и почиттелен.

Одного он не переносил — сплетен, клеветы, злоречия и предательства... К таким он сразу делался холоден, и уже трудно было впоследствии человеку, осмелившемуся на выражение подобных чувств, вновь снискать его расположение...

Достоин примечания его исключительно почитательное отношение к матери своей. Это был высокий пример исполнения на деле заповеди Божией — «чти отца твоего и мать твою...» Трогательно было смотреть, как, прощаясь перед отходом ко сну, после вечерних молитв, они взаимно благословляли друг друга. Получив благословение, она торжественно крестила его. А он стоял перед ней, маленькой, неграмотной старушкой, почитательно и благоговейно склонив голову. В обычных делах своей повседневной жизни он всегда советовался с ней.

Преосвященный благодатию Святого Духа, он поражал иногда мудростью своих изречений. Чувствовалась великая, сокровенная в духе жизнь...

Иногда он был прозорлив. Прозорливость его во многих случаях жизни, как частной, так и общественной, замечали многие... Некоторые из его духовных детей, имея частое общение с ним, не один раз замечали на себе в своей последующей жизни, много лет спустя, его прозорливость, как бы предвидение будущего...

Незадолго до переезда его в Могилевскую епархию преосвященный поручил одному близкому человеку, своему духовному чаду, написать его биографию. Приказание писать биографию при

жизни показалось этому человеку несколько странным и необычным. Неясное, тяжелое предчувствие сдавило его сердце... Но, за святое послушание, он согласился, хотя и отказывался вначале, сознавая свою неспособность и неопытность в этом деле. Материалом для биографии служили отрывки из дневника преосвященного, отдельные его записи, а также устные рассказы его матушки. Будучи в Могилеве, он часто напоминал о биографии в письмах, как бы заставляя поспешить... Когда приезжал в Калугу — всегда устраивал чтение вслух написанного, причем кое-что он исправлял и заставлял переписывать. Биография была написана или, вернее, оканчивалась периодом его жизни до приезда в Калугу. К великому сожалению, во время оккупации Калуги немецкими войсками, рукопись пропала в огне...

Невольно приходит мысль — не предвидел ли преосвященный еще в то, сравнительно благополучное, время жизни в Калуге, что наступает время разлуки со всеми, знающими и любящими его, что жизненный путь его склоняется к закату, и как бы в утешение своим близким оставляет он описание своей жизни... Как бы напоминание о себе...

Преосвященный Павлин не был аскетом в узком смысле этого слова. Он был призван на апостольское служение Церкви Христовой и ревностно подражал апостолу, вместе с ним как бы говорил: «Бых немощным, яко немощен, да немощные приобряшу. Всем бых вся, да всяко некия спасу...» (1 Кор. 9,22-23). Действительно, он «всем бых вся...» У него была единая, святая цель — спасти, привлечь в лоно Церкви Христовой. И только эту цель он преследовал по долгу своего архипастырского служения.

За то и любили его все, «имеющие душу живу», считая за счастье для себя видеть его, беседовать с ним, трудиться посильно под его руководством на ниве Христовой.

Дети, с их чистыми, незапятнанными житейской грязью сердцами, в особенности любили его. Они инстинктивно стремились к нему, как чистое к чистому. А он в обществе детей сам становился как бы ребенком. В его характере вообще было много детской простоты и непосредственности...

Что сказать в заключение этого грустного повествования?

Сказать можно только одно.

Все мы «странники и пришельцы на земле сей», и «наше отечество на небесах есть, идеже правда живет...». Туда, в свое отечество должны стремиться мы «высокими умы...»

Будем питать свои души надеждою на то, что там духом

своим увидимся с нашим дорогим «милостивым владыкой», если будем достойны этого.

А пока не пришел наш час предстать на Суд Христа, будем готовить свои души исполнением заповедей Божиих, покаянием, очищая недостающее...

Наш незабываемый владыка всегда с нами — смотрит на нас своими духовными очами, ждет от нас посильного исполнения на деле того, чему он так неленостно учил и словом, и примером в продолжение всей своей жизни...

Вечная тебе память, Архирею Божий!..

Ты ревностно потрудился на ниве Христовой, сея семена правды, любви и добра.

Ты всегда был пастырем добрым, «душу свою полагающий за овцы своя...»

Ты во всем и всегда «представлял себя, якоже Божий слуга» — в терпении мнозе, в скорбех, в бедах, в теснотах, в ранах, в темницах, в трудах, в бдениях, в пощениях, во очищении, в разуме, в Дусе Святе, в любви нелицемерне, в словеси истины, в силе Божией, оружии правды десным и шуим, славою и бесчестьем, гаждением и благохвалением, яко лестцы и истины, яко незнаеми, и познаваеми, яко умирающе, и се живи есте (2 Кор. 6,4-9)...»

Ты увенчал конец своего жизненного поприща венцом исповедничества и мученичества — «руганием и ранами искушение прияша, еще же и узами и темницею... проидоша в милотех и козних кожах, лишени, скорбяще, озлоблении. Ихже не бе достоин весь мир, в пустынях скитающиеся, и в горах, и в вертепах, и в пропастьх земных»... (Евр. II, 36-38).

Помяни пред лицом Всемогущего Бога, Владыка святыи, всех нас, духовных детей твоих, воспоминающих тебя всегда в убогих молитвах своих.

Умоли за нас Всемилостиваго, да простит нам прегрешения наша и сподобит нас, вместе со святыми Своими, праздновать вечную Пасху, в невечернем дни Царствия Своего.

Аминь.

Русская Церковь сегодня не укладывается в схемы. С одной стороны, несомненен приток верующих к Церкви и оживление литургической жизни, о чем свидетельствуют впечатления б. студента Ленинградской Семинарии. С другой, иерархи находятся в постоянном унижении: они постоянно вызываются на полицейские допросы Советом по делам религии. Даже нынешний Патриарх, в бытность свою митрополитом, боялся открывать властям подробности своей биографии. Тревожные вести доходят об о. Димитрии Дудко, пытающемся найти оправдание случившейся с ним беде и об продолжающихся грубых преследованиях верующих в провинции.

ПОДЛИННАЯ БИОГРАФИЯ ПАТРИАРХА ПИМЕНА

Из секретного отчета Совета по делам Религии (1968 г.)

СПРАВКА

на митрополита Ленинградского и Ладожского

Пимена (Извекова С. М.)

Митрополит Пимен (Извеков Сергей Михайлович), родился в 1910 году в г. Богородске, Московской области, русский, образование среднее. Монах с 1927 года, с 1950 г. — архимандрит, с 1957 г. — епископ, с 1961 г. — архиепископ и с 1962 г. — митрополит.

По анкетным данным, Пимен с 1926 по 1932 гг. служил регентом церкви в г. Москве, с 1932 по 1934 гг. — служил в армии, с 1936 по 1928 гг. был в заключении, в 1939-1940 гг. работал заведующим домом санитарного просвещения в г. Андижане, Узбекской ССР, в 1941-1943 гг. был на фронте, 1944-1945 г. находился в заключении, с 1946 г. служил в церкви, в начале он был священником (г. Муром, 1946 г.), казначеем в монастыре (г. Одесса, 1947 г.), затем секретарем епископа (г. Ростов, 1947-1949 г.), настоятелем монастыря (г. Псков, 1949-1953 гг.), и Троице-Сергиево Лавры (г. Загорск, 1953-1957 гг.), викарием Одесской епархии (1957 г.) и викарием Московской епархии (1957-1960 гг.), архиепископом Тульским и одновременно Управляющим делами патриархии (1961-1962 гг.), и наконец митрополитом Ленинградским и Ладожским.

В анкетных данных за 1953 и 1959 годы Пимен дает о себе противоречивые сведения.

Так, в анкете в 1953 г. он писал, что в 1937-1941 гг. был студентом Ферганского педагогического института и одновременно преподавал русский язык в неполной средней школе, а в анкете в 1959 г. написал следующее: «1936-1938 гг. санинструктор канала Москва-Волга, г. Химки, Московской области, 1939-1941 г. завед. домом санитарного просвещения г. Андижан». О пребывании в институте в этой анкете ничего не говорит.

Уполномоченный Совета по Узбекской ССР 28 сентября 1963 года сообщил, что «учеба Извекова с 1937 по 1941 г. в Ферганском пединституте и одновременная работа преподавателем русского языка школы не подтверждается».

В анкетных и автобиографических данных, изложенных для Уполномоченного Совета отмечается и другая сторона неправдоподобного и неоткровенного сообщения Пименом о себе. Как известно, в 1937 г. он был судим за дезертирство из рядов Советской армии и отбывал наказание, однако в анкете и автобиографии за 1959 г. Пимен пишет, что в это время «работал на строительстве Химкинского водохранилища канала им. Москвы в должности сан. инструктора», а в анкете за 1953 г. указал, что в 1935-1937 гг. находился на гражданской службе в г. Подольске.

Таким же образом Пимен обходит факт вторичной своей судимости в 1944 году. Оказывается, в 1943 году, т. е. во время Отечественной войны, будучи майором, он дезертировал из рядов Советской Армии и жил по подложным документам, в 1944 году был задержан и осужден на 10 лет, но благодаря амнистии, в связи с победой над Германией, был освобожден в 1945 году.

Однако в анкетах в 1953 и 1959 гг. Пимен фактически умалчивает об этом и пишет следующее:

В анкете за 1953 г.: «1944-1945 гг. — санинструктор Воркутуголь, г. Воркута», а в анкете за 1959 г.: «1943-1945 гг. демобилизован из РККА в связи с контузией и ранением и находился в госпиталях на лечении (в г. Фрунзе и Москве»).

Зачем понадобилось Пимену сообщить указанные выше противоречивые и неправдоподобные сведения о себе, до сего времени остается вопросом не понятным и не выясненным.

Наряду с изложенным необходимо отметить, что Пимен, став митрополитом, все больше стал отдаляться от Совета, и несмотря на приглашения заходить в Совет, не проявляет желания сделать это, уклоняется от его посещения, хотя в Москве бывает довольно часто.

МИТРОПОЛИТ ПИМЕН (ныне ПАТРИАРХ) НА ДОПРОСАХ В СОВЕТЕ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ.

Доверительно

ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ*

состоявшейся в Совете 21 февраля 1967 г.
с митрополитом Пименом (Извековым С. М.)

Митрополит Пимен по своей инициативе 21 февраля 1967 г. посетил Совет и сообщил о принятых мерах по отношению к протоиерею Шпиллеру (Москва), сказал, что на днях он вызывал Шпиллера и потребовал от него прекращения затеянной им провокации — натравливания одной группы верующих против другой с целью удаления из состава «двадцатки» неугодных ему лиц. Одновременно, говорит **Пимен**, спросил почему он (Шпиллер) распространяет свое письмо по этому же вопросу, по которому патриарх еще не принял решения. В ответ на это Шпиллер заявил: А знаете, что за порядками в церкви наблюдают иностранцы, они всё видят, в церкви был даже консультант МИД'а Франции и де Голля Андронников и это письмо может появиться за границей. **Пимен** говорит, что в связи с таким заявлением Шпиллера он назвал его действия Эшлимановскими** и предупредил об ответственности. Шпиллер после этого сказал, что он подумает и уладит свои отношения с «двадцаткой».

Далее **Пимен** сказал, что вчера его посетила группа членов «двадцатки» и вручила жалобы о том, что Шпиллер и священник Тимаков оказывают на них давление, добиваясь, чтобы они вышли из состава «двадцатки». Тимаков во время исповедания настаивает написать в райисполком заявление о выходе из «двадцатки», спрашивает кто уговорил о вступлении в последнюю и т. д. Жалобщики просят принять меры к Шпиллеру, избавить их от него и Тимакова.

Пимен заявил, что он решил внести предложение патриарху об отмене неканонических санкций Шпиллера по отношению к некоторым членам «двадцатки» и переводе его в другую церковь.

Какие явления наблюдается в епархиях, среди духовенства?

Пимен сказал, что каких-либо новых явлений он не замечает. Об Эшлимане и Якунине стали забывать, да среди Московского

* Все имена набранные жирным шрифтом в рукописи вставлены от руки, как особо конфиденциальные.

** О. Николай Эшлиман, автор совместно с о. Глебом Якуниным знаменитого Открытого письма Патриарху и Сов. властям в 1965 г.

духовенства широкой поддержки их действия и не получили. О них, пожалуй, больше говорили верующие, которые знают их. Действия их, полагаю, дело рук других людей типа архиепископа Ермогена, Леонида (Полякова), Феодосия Пензенского, Павла Новосибирского и Вениамина Иркутского.* (Были разговоры, что Якунин ездил в Иркутск, там он в свое время женился).

Сами они, пожалуй, не отважились бы на такой поступок, люди-то они мелкие и по-существу никого не представляют.

На какой почве, по Вашему мнению, возникли такие «идеи» у Эшлимана и Якунина, что побудило их?

Деньги, ответил **Пимен**. Изъятие из рук духовенства церковной кассы, лишение их возможности неограниченной наживы, я считаю является главным мотивом. Возьмите к примеру того же Шпиллера. Как только новый староста воспрепятствовал ему набивать свой карман столько, сколько он хотел, Шпиллер взбунтовался, стал писать и распространять слухи о том, что райисполком в «двадцатку» включил неверующих людей и т. д. Хотя этот староста является, как говорят, его ставленником. Еще патриарх Тихон говорил, заметил **Пимен**, что деньги портят московское духовенство, лишив его этого оно взбунтуется.

Прошедшие годы ясно показали, подчеркнул **Пимен**, правильность постановления архиерейского собора об освобождении духовенства от денежных дел в церквях. Теперь спокойнее стало.

Конечно, пояснил **Пимен**, у таких, как Леонид (Поляков), Ермоген очевидно другие причины, которые их объединяют. В частности, Леонид недоволен освобождением его из патриархии.

Положение Ваше высокое, но что-то мало видно и слышно Вас. Возможно имеются какие-либо причины. Не расскажите ли об этом откровенно?

Пимен заявил, что он всегда старался быть откровенным перед Советом и на этот раз готов рассказать все, что может интересовать.

Видите ли, — продолжал он, — по натуре свой я замкнутый человек и не хочу скрывать этого. Мало с кем общаюсь, если нет конкретных деловых вопросов. Понимаю, что может создаться впечатление, что я избегаю деловых контактов, чувствую, что редко обращаюсь в Совет, но существенных вопросов не возникает, а по пустякам идти считаю не солидным. Но я хочу со всей

* Из этих епископов в живых остался только Леонид (Поляков).

чесностью отметить, — сказал **Пимен** и прошу поверить, что с большим уважением отношусь к Совету, очень благодарен ему за все, что сделано для меня.

С московскими архиереями отношения нормальные, продолжал **Пимен**. Сам я ко всем отношусь хорошо и думаю, что нет оснований плохо относиться ко мне. У каждого свой участок работы. Например, у Никодима международные вопросы и он часто бывает в разъездах, у Алексия — Управление Делами, с которыми он освоился хорошо, вошел в курс дела. Поэтому встречаемся редко. Но, например, при решении общих вопросов на **Синоде** мы всегда имеем единое мнение. Архиепископа Алексия знаю давно, с начала 50-х годов, когда он был еще семинаристом и приезжал ко мне в Псково-Печерский монастырь со своими отцом и матерью. Затем в бытность мою Управ. делами патриархии, он приезжал в Москву, я много помогал ему. Считаю его порядочным и деловым архиереем. Бывают разные слухи, но я смотрю на это сквозь пальцы, мало ли что говорят.

Что это за слухи?

Раньше, — ответил **Пимен**, — говорили, что меня отправляют на Украину, а теперь пустили слух еще куда-то переводить хотят. И говорят-то об этом в церкви, миряне. Но я отвечаю, что это вздор какой-то, прекратите, говорю, распускать такие слухи. Про себя же думаю (**Пимен** при этом усмехнулся) возраст у меня пенсионный, да и где бывать не приходилось. Если надо служить в другом месте, значит надо, была бы польза делу.

Как чувствует себя в данном положении **митрополит**, не встречаются ли какие-либо явления, о чем можно было бы в данной беседе рассказать?

По своей епархии (**Московская область**) я конечно ни чем не ограничен и все вопросы решаю, как надлежит правящему архиерею. Контакт с Уполномоченным всегда поддерживаю. Такая же самостоятельность была и в Ленинграде. Но другое дело по г. **Москвы**.

Здесь я таких прав не имею и приходится только выполнять указания **патриарха**, а вернее **Остапова**,* который нажужжит **патриарху**, а потом передает от его имени, что надо сделать. А поди проверь, всегда ли все исходит от самого **патриарха**. Так что

* Даниил Остапов, состоял личным врачом и секретарем патриарха Алексия, имел колоссальное влияние, за что был прозван «Даниилом Первым».

такая роль незавидная. Возражать же бесполезно. Приходится всякий раз лавировать (**Пимен** при этом жестом руки продемонстрировал зигзаги), чтобы не вызвать ненужных обострений из-за мелочей. Я помню, — продолжал он, — когда работал Упр. делами, то по неопытности попадал в немилость и чтобы подальше держать меня от дел в **патриархии**, посылали временно управлять то Костромской, то Смоленской, а затем Тульской епархиями. **Остапов** это ведь такой нахал и провокатор, что пробы ставить негде, ужасный человек.

Не имеет ли **Остапов** против Вас что-либо такое, что позволяет ему повелевать Вами?

Нет, — ответил **Пимен**, против меня он ничего не имеет и иметь не может. Он просто нахал и наглый человек, использует **патриарха** так как ему надо, а если возражать против этого, то огорчения вызовешь у патриарха.

Так что лучше с ним не связываться. **Остапов** не повелевает, а всегда действует от имени патриарха. Командовать я ему не позволю. Он иногда до того доходит, что не пускает к **патриарху**, говорит, что **он болен** и обязательно спросит зачем идешь. Приходится уж делать так: напишешь три-четыре рапорта, а **Остапову** покажешь только один с маловажным вопросом. Тогда он скажет «ладно, идите, только долго у **патриарха** не задерживайтесь и не переутомляйте». Но **Остапов** почти всегда присутствует у **патриарха** так что другой раз с ним одним и поговорить не удастся. Вот так дело обстоит, — заключил **Пимен**.

А как **патриарх** относится к Вам?

Считаю, что хорошо, — ответил **Пимен**.

В беседе был проявлен интерес к личной жизни **Пимена**.

Он ответил на это так, что в основном пребывает в своей епархиальной резиденции, живет же большую часть в Перловке, (на своей старой квартире) и на новой 2-х комнатной квартире, которую он купил в кооперативном доме и дал телефон ее **АД 1-48 52**, сказал, что его обслуживает одна монашка, которая живет в Перловке на его быв. квартире, но когда он приезжает на свою новую квартиру, приглашает туда и эту монашку.

В конце беседы **Пимен** заявил, что он доволен тем, что так подробно поговорил, поблагодарил за беседу и сказал что, если можно, он будет чаще обращаться за Совет.

А. Плеханов

СПРАВКА

о посещении Совета митрополитами Алексием и Пименом.

26 февраля 1968 г. Совет посетил митрополит Алексей и сообщил следующее. Остапов Д. А. сказал ему, что он ездил к митрополиту Пимену, чтобы сообщить о назначении его Председателем Хозуправления Патриархии, но Пимен ответил отказом, сказав, что не может принять такое назначение, т. к. и без того перегружен делами по епархии и патриархии. При этом Остапов заявил, что Пимен лентяй и сибарит, и продолжал, что будто бы в Совете с ним (т. е. Пименом), «не считаются, кричат на него, как на мальчишку, что нас толкнут лбами и это будет губительно для одного и другого» — таковы якобы были слова Пимена. Остапов сказал еще, что Пимен считает более подходящей кандидатурой на пост председателя Хозуправления — управляющего делами патриархии.

В свою очередь, — сказал далее митрополит Алексей, — я тоже разговаривал с Пименом и он сообщил мне, что у него был Остапов и что если будет указ о его назначении Председателем хозуправления, то он подаст рапорт патриарху об отказе, т. к. мол не хочет нести пять пудов, если способен нести лишь три пуда, т. е. иными словами он и так достаточно загружен делами и кроме того ему много приходится служить за патриарха. Так что у него и этого достаточно. Пимен сказал также, что считает более целесообразным поручить руководство хозуправлением управ. делами, т. е. мне. (При этом митрополит Алексей сказал, что он считает это дело не подходящим для него, тоже будет возражать и может согласиться только на то, чтобы как члену Синода наблюдать за хозуправлением, а председателем был бы кто-то другой).

В этот же день 26 февраля по телефону позвонил митрополит Пимен и просил принять его. Прибыв в Совет Пимен, что называется с ходу, повел разговор о том, как он выразился «без меня меня женили» и рассказал следующее: В пятницу 23 февраля ему позвонил по телефону Остапов и сказал, чтобы он приехал в Патриархию, но сославшись на болезнь, Пимен не поехал, тогда Остапов сказал, что сам приедет к нему и тут же приехал (Пимен

говорит, что это вообще был первый случай, когда Остапов к нему приехал: раньше такого не было). Остапов привез копию указа о назначении Пимена Председателем хозуправления и стал доказывать ему необходимость и важность такого решения патриарха. Пимен говорит, что он тут же заявил Остапову, что ввиду перегруженности своими делами, не может принять такое предложение и просил передать об этом патриарху. Однако, Остапов настаивал не отклонять это и часа полтора уговаривал согласиться (Пимен при этом показывал как Остапов жестикулировал и какую делал мимику). Но я все же отказался, — говорит Пимен, — заявив, что никогда еще не было такого, чтобы митрополита Крутицкого назначали председателем хозуправления, — это унижает его; раньше хозяйством патриархии занимались викарные епископы. Здесь же я сказал Остапову, что если так надо, то более подходящим на эту должность был бы управделами, ему ближе эти вопросы. С тем Остапов и уехал. Тем более, что указа мне до сего дня не вручено, а копии это еще не указ. А если и будет таковой, то я уже заготовил текст официального рапорта с отказом от данного предложения (прилагается, Пимен просил принять для сведения).

Пимен продолжал: конечно, я не высказал Остапову других причин, а именно: при существующей обстановке, когда Остапов с одобрения патриарха все финансы и хозяйство держит в своих руках и патриарх если и дает какие-то указания по этой части, то они фактически являются указаниями Остапова и в этой ситуации ничего не изменится, кого бы во главе хозуправления ни поставили. Если занимать свою линию, то это неизбежно вызовет столкновение с Остаповым, а следовательно и с патриархом. От этого получаются одни неприятности и все останется по-старому. Сам патриарх в этих вопросах не разбирается, не знает их и делает то, что ему постоянно накручивает Остапов. Ведь были же председателями хозуправления викарные епископы Питирим и Стефан (Можайские), Леонид, а затем и я — в бытность мою викарием Дмитровским, — но все эти председатели были пешками, в том числе и я, т. к. фактически все вершил Остапов. И повторять эту роль пешки я больше не намерен. К тому же, в хозяйстве и мастерских патриархии сидят жулик на жулике и жуликом погоняют, творят они всякие комбинации, где-то достают различные материалы и т. д. Это же безобразие и делается все это в наше время. Тут если и быть председателем хозуправления то только и знай, что подписывай бумажки. Такая роль не сложная

и необременительная, но толк-то от этого какой? — заключил Пимен.

Выслушав Пимена, ему было сказано, что доводов для отказа у него немало, они убедительны и если он будет настаивать, то наверное, патриарх поймет его.

Пимен заявил, что он непременно будет говорить с патриархом, и если не удастся лично быть у него (он сослался на свое недомогание), то рапорт ему направит через управляющего делами с тем, чтобы он не попал в руки Остапова.

*
**

Наши мероприятия:

В связи с данной ситуацией, митрополиту Алексею рекомендовано назвать патриарху в качестве кандидатов на должность председателя хозуправления протоиереев Солертовского и Малютинского, дав им соответствующий отзыв.

И если при этом ему, как члену Синода будет предложено осуществлять наблюдение за деятельностью хозуправления, не отклонять такое предложение.

Председатель Совета данную рекомендацию санкционировал.

Плеханов

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОЧЕВИДЦА

Стать священнослужителем Православной Церкви я намеревался уже давно.

Разрешение этого вопроса для себя я видел в России. Будучи русским по духу и крови, но родившимся и выросшим вдали от России — родители приехали в Париж в двадцатых годах, — я с каждым годом все больше стал чувствовать, что поколение моих сверстников теряет чувство русского духа, тяготение к Родине, перестает ценить язык и духовно-культурные ценности нашего народа. К этому можно присовокупить еще одно мое сокровенное желание — стать монахом, чтобы хоть немного обогатиться неисчерпаемым духовным опытом многочисленного сонма последователей русского монашества. Всеми этими мыслями я несколько лет тому назад поделился с бывшим тогда Экзархом Западноевропейского Экзархата при Московском Патриархате митрополитом Никодимом, который поддержал мое желание и наставил меня на избранный мною путь.

Мой приезд в Ленинградскую духовную академию состоялся в знаменательный день, это был канун храмового праздника покровителя Академии, св. Евангелиста Иоанна Богослова.

Уже в первые месяцы моей учебы в Духовной академии меня поразило религиозное состояние народа, который меня окружал, а в дальнейшем я убедился в этом еще глубже. Если обычно принято считать, что прихожане — это так называемые «бабушки», то мне пришлось убедиться, что в среде этих «бабушек» находится 30% молодежи, которой до 25 лет. Также необходимо отметить, что эти «бабушки» обычно стоят с внуком или внучкой, которых обычно не примечают, а ведь это все активные прихожане завтрашнего дня, с неменьшим вниманием вдумывающиеся в слова проповеди наравне со взрослыми. Характерной особенностью верующего народа является то, с чем мне не приходилось встречаться на Западе — это вопросы, задаваемые священнику после службы. О характере вопросов трудно сказать в этой статье, так как жизнь диктует эти вопросы. Уже более чем полувековая история православных христиан в Сов. России еще раз подтвердила истину христианства и силу молитвы. Здесь невольно вспоминается впечатление монсеньора Пупара от русского храма, переполненного верующим народом: «Все может случить-

ся, даже землетрясение, но храм останется невредимым от такой молитвы народа», и далее этим западным епископом были сказаны еще более сильные слова: «Если и мысль отошла от молитвы, то в таком храме разум полностью подчиняется молитве».

Представьте себе на минуту, что вы находитесь, к примеру, в переполненном храме Ленинградской духовной академии. Диакон возглашает: «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы...», и весь народ поет дальше весь Евхаристический канон. Невозможно передать то духовное настроение народа, который «едиными устами и единым сердцем» прославляет имя Божие, и я уверен, что и впервые попавший в храм останется в этот момент в нем, так величественны и сильны эти минуты, да и что может быть сильнее того, что происходит в этот момент на Святом Престоле с участием народа. После службы народ не расходится, но ждет слов назидания, которое с вниманием воспринимает всем своим естеством. Для одних это подтверждение в том, в чем он уверен, для других — это слово учения духовного, становящегося пищей для размышления на целую неделю (для многих это единственный день в неделе, когда они могут посетить церковь), для третьих слова священника становятся в дальнейшем смысле жизни, до этого не знакомым ему. Чтобы сказать такое слово, недостаточно знать глубины критической науки и тонкости отвлеченного мышления, такое слово надо пережить.

Другой вид служб в академическом храме, который в то же время является и приходским храмом, — это акафисты Божией Матери и проповеди после них. Люди на них приходят со своим текстом, большей частью написанном от руки или перепечатанном на машинке, прихожане приносят с собой заранее написанные вопросы, на которые отвечает ректор академии архиепископ Кирилл, который возглавляет монашескую братию академии в 17 человек. Весь акафист поется народом, и продолжительность этих служб с ответами на вопросы — более трех часов. Во время этих акафистов тоже присутствует молодежь, процентное отношение которой составляет приблизительно 30-40% от общей массы верующих. Характерная картина для академии — молодежь, которую можно увидеть в вестибюле, на улице, перед дверьми академии, разговаривающей со студентами. Мне очень часто приходилось быть участником таких бесед, чуть ли не каждый день кто-нибудь из посторонних спрашивал меня о вере, и было видно, что это не просто любопытство, а глубокий, обдуманый интерес к Церкви.

Это можно сказать не только об Академии и ее храме. Для пострижения в монашество я прибыл 20 марта 1979 года в Жировицкий монастырь, где был рукоположен во иеродиакона Высокопреосвященнейшим Филаретом, митрополитом Минским и Белорусским, патриаршим Экзархом Западной Европы, и где проходили мои первые службы. В этом монастыре я имел непосредственный контакт с ведущим народом, который за 2-3 тысячи километров стекается со всей страны для того, чтобы хоть немного обогатить свой духовный мир.

Свою богослужебную практику я проходил в Троицком соборе Александро-Невской Лавры. В этом соборе мне тоже каждый день приходилось быть с народом. Но самое близкое отношение к народу мне пришлось иметь после того, как я был рукоположен во иеромонаха митрополитом Ленинградским и Новгородским Антонием в конце 1979 года. Тут началась моя пастырская практика, где мне уже пришлось непосредственно служить народу, совершая чередные богослужения, крещения, молебны, панихиды и др. требы. Меня всегда удивляло количество народа в храме в будние дни, и должен заметить, что почти всегда некоторую часть молящихся составляют молодые люди. Особенно был замечен приток молодежи в храмы в экзаменационную сессию.

Вот вкратце мои впечатления и некоторые мысли от нескольких лет пребывания в России, где, как ни странно, в противовес казалось бы логике исторических событий, я увидел живую Церковь.

Иеромонах Никон (Якимов)
студент ЛДС, Экзархат в Париже

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ВЕРУЮЩИХ

В 1383 году на реке Великой была явлена чудотворная икона Свят. Николая, ставшая одной из почитаемых святынь русского народа. Её именем (Николая Великорецкого) был назван один из приделов Покровского собора на рву в Москве (храм Василия Блаженного). Веками с иконой Святителя, хранившейся в кафедральном соборе г. Вятки (ныне разрушенном до основания), — к дню ее явления, 3-го июня нового стиля, — совершался недельный крёстный ход на реку Великую, собиравший многие тысячи верующих.

Жестокие гонения 20-30-х гг. не смогли помешать православным притекать к святому месту, хотя подлинника знаменитой иконы уже не было, «ушла» в годы братоубийства. После Великой Отечественной войны двадцатитысячные ходы считались не из самых больших. В 50-е годы священству было запрещено участвовать в процессиях, однако, до середины шестидесятых православные ходили с хоругвями, крестами, большие иконы везли на лошадях, в селах шествие встречали с хлебом-солью.

В 1967 г., когда в столицах видимо стихло Хрущевское гонение, здесь безбожники начали новую полосу террора: закрыта церковь села Великорецкого (устроили зернохранилище, зерно гниет от повышенной влажности), разрушена до основания часовня над источником, изведенным на месте явления иконы, сосна, на которой она была обретена, срублена. Милиция препятствует верующим совершать молебны, устраивает облавы на пути к селу Великорецкому, забрасывая паломников в машины как брёвна и увозя в сторону от реки. После одной из таких «операций» умерла пожилая женщина, у которой полученные ушибы вызвали скоротечную болезнь. В итоге, число участников ходов резко сократилось, хотя отдельные паломничества стали совершаться на протяжении всего года.

Как рассказывают верующие Кировской епархии, 3-го июня (21 мая) 1980 года около тысячи верующих, пришедших в с. Великорецкое, были встречены у р. Великой отрядами милиции, согнанной из окрестных районов (г. Юрья, Халтурин, Киров, Слободской). Берег был заграждён цепью милицейских машин, рычащих тракторов. В реку был спущен мотор (привезли из райцентра), взбаламучивающий воду.

К источнику не подойти.

Милиционеры поголовно пьяны, некоторые из реки — нагие! — бросились на паломников, избивая их в кровь. А ведь среди пришедших: старухи, старики, женщины. Избивали, стреляли холостыми в воздух. Из репродукторов кричали непрерывно: «Расходитесь! Только не собираться вместе. Расходитесь по квартирам.» «Вы по закону не имеете права на сборища. Вы нарушаете закон. У вас есть церковь.»

Когда несколько верующих попытались спокойно переговорить с представителями власти, что же делатьходакам сейчас, и кто дал право стрелять в них, им ответили в репродуктор: «Мы вас не трогаем и никто в вас не стреляет.»

Блюстители порядка особенно старались схватить мужчин, беспощадно избивая их. Василия, приехавшего из Кремнеца, увезли в райцентр (г. Юрья) и выпустили ночью, велев тотчас уходить из города.

Верующие вынуждены были разойтись по домам, в которых они остановились. Ночью в эти дома по несколько раз приезжала милиция. У хозяев брали подписку, что они не будут принимать приходящих богомольцев.

Несколько дней милиция наводняла Великорецкое. В продмаге верующим не продавали хлеб. В это же время были перекрыты подступы к мосту, ведущему в с. Фудиново, где находится действующая церковь. (В 10 км от Великорецкого).

При самом начале крестного хода, в г. Кирове, когда группы верующих переходили мост через р. Вятку, милиция возвращала их назад, обыскивала сумки, котомки, угрожала.

В Дивеево, за канавкой, выкопанной преподобным Серафимом Саровским по чудесно явленному благословиению Пресвятой Богородицы, ведется постоянная слежка органами милиции. Участились случаи задерживания богомольцев, их приводят в местное РОВД, переписывают паспортные данные, снимают отпечатки пальцев, угрожают избиениями, тюремным заключением, говорят: «После Олимпиады будем вас давить.»

13 июня 1980 года на Арзамасском вокзале арестован иеромонах САВВА (Кольчугин?).

Ранее неоднократно подвергался гонениям за проповеди и добросовестное исполнение пастырских обязанностей. Более года назад отстранен от службы, которую совершал в храме г. Ветлуги, Горьковской области. В дни ноябрьских празднеств 1979 года был насильственно помещен в психиатрическую больницу г. Горького, в которой находился до января 1980 года. В Вербное воскресенье арестован прямо после литургии и месяц находился в заключении.

В газете «Комсомольская правда» и Ленинская смена» (горьковская) были помещены обвинительные пасквилы в которых, в частности, иеромонаху САВВЕ ставят в вину упоминание в его проповедях о невозможности для верующего вступать в комсомол.

ДЕСЯТЬ ОБРАЩЕНИЙ

**В ЭТОМ СБОРНИКЕ* НЕТ НИЧЕГО ВЫДУМАННОГО.
ДЕСЯТЬ СОВЕРШЕННО НЕПОХОЖИХ ДРУГ НА ДРУГА ЛЮДЕЙ
РАЗНОГО ВОЗРАСТА И РАЗНЫХ СУДЕБ РАССКАЗЫВАЮТ О
ТОМ, КАК ОНИ ПРИШЛИ К БОГУ.**

МОСКВА — РИГА — ТАЛЛИН — ЛЕНИНГРАД

1979

1.

Пришел я на этот свет совсем слабеньким, и крестить меня пришлось дома. Тем не менее, уже с детства, я стал омрачать жизнь матери своими проказами. Добрая улыбка и застенчивость даже в обращении с ближними — таким я помню своего отца, умершего, когда я был еще подростком. Любить его я начинаю только теперь. Моим воспитанием занялся крестный. Он был известным адвокатом, но его красноречие против моей неугомонной жажды приключений оказалось бессильным.

Электрический шнур, исполняющий обязанности ремня, также не помогал. Тогда я пробовал иногда работать. На военную службу не взяли из-за порока сердца. Я же занимался спортом, писал стихи, рвал и печатался, рисовал, читал философов, но главным моим промыслом было — сидеть в кафе и разглагольствовать с кем попало о гениальности и политике, слушать и рассказывать анекдоты, придумывать и осуществлять всякие мистификации. Я был поклонником дилетантизма и черного юмора. Один день я ходил, как денди, второй — босиком, поедая на углах бульваров корки хлеба. Подчас пускался в далекие путешествия. Я бессовестно обижал мать, сидел у нее на шее, хотя и жалел ее.

Внезапно женившись в двадцать пять лет, очутился в столице. Потом вторично вступил в брак (оба раза вне Церкви), окончил

* Сборник составлен в Самиздате.

вечернюю школу и готовился к экзаменам на философский факультет. Занялся молодежными проблемами, и имя мое упоминалось в газетах. И это надоело. Я развелся и начал жить один.

Только тоска напоминала еще, что у меня есть сердце. Какое-то безумие влекло меня долгие годы. Мучительное неведение цели, оправдывающей наше существование, догадливый прагматизм, неуязвимый скептицизм, обиженный цинизм, наслаждение жизнью и разочарование в ней — вот итог моего тридцатилетия. Суетливость, надменность, издевка, ложь, измена, зависть, драки, кутежи, кражи, вымогательство, безделие были моими спутниками, когда я вертелся в обществе, не брезгуя этим даже в кругу дорогих мне людей. Опустошенность внутри и загадки вокруг, отрицание добра и стремление воспользоваться им — вот из чего я исходил, пойдя навстречу неведомому принятию бытия и служению ему. О самоубийстве я не любил думать.

Однажды вечером, в темном подъезде, когда мы с товарищами откупоривали бутылки, подошла старая и пьяная попрошайка и мечтательно произнесла: «Глаза у меня голубые, голубые...» Неужели все так кончается?

Как-то осенью пристала ко мне мысль о благодати смирения. Реньше о таком я никогда не задумывался. Потом эта идея угасла.

Летом следующего года, после беспокойной весны, проведенной в разгуле похотей и судорожном поиске смысла жизни, случилось необъяснимое. Я гулял по улице и неожиданно оказался в положении человека, ступающего по райскому саду. Вокруг все изменилось, хотя все те же дома и деревья, люди и шум города окружили меня. Все пришло в неземную гармонию, звучала тихая заоблачная музыка, цвета странно замерли, движение как бы остановилось, но не совсем, времени не было, везде царила кристальная чистота и любовь. Я испытал невыразимое счастье, все безобразное стало прекрасным. Как долго продолжалось мое единение со всем, — не знаю.

Опять потекли будни.

«Я вижу дни, которые любил, я вспоминаю ночи, о которых плачу и краснею. И не могу вернуться. И не могу исправить. Из загробного мира еще никто не приходил». Эти пессимистические строки при внимательном прочтении вдруг зазвучали по-новому. Они твердили, что умершие не приходят сюда лишь в том смысле, как мы не можем возвратиться в былое. Но это не уничтожает их. И я уверовал в будущее, в вечность, не требуя более никаких доказательств. Я почувствовал ласковое дуновение возможности

и опаляющую горечь ответственности. Я побратался с прошлым через покаяние и с грядущим через чудо, которое становилось действительностью во мне. Я понял, что все взаимосвязано в этом и том мире, и я перестал быть отщепенцем.

Мои новые друзья, которых я нашел в среде христиан, советовали мне молиться, но мне это казалось предрассудком. Я хотел читать Библию и упорно искал ее. Тогда я впервые обратился к Господу и попросил Его дать мне эту книгу. На следующий день в Церкви я познакомился с человеком, который тут же подарил мне совсем новенькое Писание.

В ноябрьскую ночь, в мои именины, душевный кризис был в очередном разгаре. Хмельной сидел я с сигаретой на кухне и беседовал с неудавшейся судьбой. Тут я встал, швырнул в окно окурок и понял, что Отец Небесный сжалился надо мной и что больше не буду пить, курить и искать женщин.

А раньше я писал: «Весна. Сквозь снег робко ручейки пробиваются. Так, сквозь стыд и смех, впервые девушки раздеваются». Или: «Горе твое из-за меня. Могу ли тебя оставить? Нас обвенчала печаль. Будем теперь ее славить».

Опомнившись от поэтических воздыханий, я притих. В елее красивых слов таился яд минувших событий. Хрупкие стебельки трепетных воспоминаний утопали в гуще неизменных плевел пошлости, разврата, заразы и преступлений. Страшный суд завершит не менее горький суд Совести.

Но на этом мои бедствия не кончаются.

Я начал проповедовать, и был полон энтузиазма, как любой новообращенный с таким издерганным прошлым. Я нашел свое призвание. Как и раньше, у меня не было личного наставника. Общение, споры, чтение, переживания и раздумья — воспитатели мои. Все лучшее, что имел, я вкладывал в эти речи, все равно, слушали меня один, двое или целая толпа. Иные впечатления были мимолетными, и я более года отгонял все искушения и соблазны. Раб страстей умер, считал я, и возгордился своей силой.

И моя самонадеянность расплатилась полным провалом. Обличающий чужие недостатки, сетующий даже на неудачи других, сам я растерял свое богатство гораздо быстрее, чем приобрел, и опять оказался на краю банкротства. Наказание обрушилось как будто внезапно, но созревало с тех пор, как я невольно, но утешился ограниченностью брата, посмеялся над наивностью сестры, заговорил с атеистом как с дураком и начал забывать тех, кто мне доверился.

Дьявол присматривался издалека, уязвив меня беззаботностью, а подступил, казалось, совсем с другой стороны, но это была обратная сторона той же медали. Меня стали захлестывать волны плотских грехов. Я не мог найти объяснения этим метаморфозам, проклинал себя и потерял надежду что-либо изменить. Этого-то и ждали бесы. Когда мы ослеплены и вдобавок опускаем руки, очень удобно накинуть на нас петлю. С каким-то злорадством я возвращался на свою блевотину, оценивая себя, примеряясь к другим, в поисках еще худших...

Будучи на родине, я пришел в Церковь Франциска. Там было темно, и я еле видел алтарь с Распятием, где, обняв ноги Иисуса, стоял на коленях святой. Я жаловался на свою беспомощность, просил совета и не каких-то намеков, а прямого и четкого ответа.

Богослужение кончилось. Я ждал. И вдруг на коленях Спасителя и Его бедного ученика заалели красные пятна. Впервые в этот день солнце прорвалось сквозь листья деревьев и витражи храма. Все оставалось в сумерках, и только эти пылающие четыре огня... И я ясно услышал слова: «На коленях сердца люби Бога и человеков». И я вспомнил, как говорил в эти дни, как пытался повлиять на людей, как важно было для меня добиться видимого результата, не спросив прежде: «Горемыка, что у тебя болит?» Я заплакал, и мой черный туман начал рассеиваться. Господь и падениями назидает. Внимай только!

Я же все ходил, как будто глухой.

Как раньше я лишился всего, вздумав, что оно — моя заслуга, так и теперь я захотел сам все вернуть. Я желал все или ничего, забывая, что в чистом виде ничего не бывает. И толкало меня не внутренне очищающее побуждение, а буква предписания и тайный замысел как-то обелиться, искупиться перед Всевышним...

Загнанный в тупик, я удивился, почему другим легко преодолимое мне никак не дается? Постепенно личные заботы заслонили ревность служения. Оглядываясь на новое житие, я вздрагивал, бледнел, покрывался потом и кидался в отнюдь не обязательное воздержание. Все это содействовало обострению замешательства и оцепенения. И я от перенапряжения надламывался, в полном отчаянии соскальзывал в лихорадочную распушенность. И с ужасом ждал, что будет завтра. Сифилис? Духовная смерть? Чем упрямей я рвался к праведности, тем ниже падал... Сердцеведец любим, даже добросовестным, если можно так сказать, противится.

Итак, я вложил перст в свое собственное ничтожество.

Но почему-то не рву одежды свои и на голову пепел не сыплю. Тихо каюсь. Сегодня похоже чуть-чуть на вчера. И тогда порыв тормозила трезвость. Такой уж я. Осуждая себя, ищу исцеления. Кто дал право еще надеяться мне? Поздно, поздно... Но откуда во мне столько сладостной веры? И чайный крик эха бездны громче. Рано, рано...

Ганди — первый, кто помог узреть мне свет, сказал: «Нет ничего безоговорочно хорошего, кроме доброго намерения». Иисус мне внушил: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе», Франциск утешал: «Согласно Евангелию, если даже у нас бесконечное множество грехов, то Божественное милосердие еще бесконечней». И я решил: «Смирись и дерзай. Нон-стоп!»

Моя воля и разум сопротивлялись до последнего патрона. И наконец я сдался. И победил. Это не капитуляция перед неприятелем, а примирение со своим Отцом и принятие Его условий. Его оккупация есть освобождение. Все могу, когда прибегаю ко всемогущему союзнику. Плоть еще продолжает отстреливаться, но уже не в силах изменить ход войны. Таким я начал готовиться к генеральной исповеди.

В то время я видел сон. Какие-то люди, как бы исполняя смертный приговор, резали свинью. Я с ужасом наблюдал за этим, стоя за забором, под которым лежала дохлая разлагающаяся собака. Мне было очень жаль животных. Я прошел мимо, разглядывая их, и мне стало противно. Накануне, исполнившись нечаянной радости, я явно почувствовал благословение Божие. Утром, когда, сопоставляя это с гнетущим сном, я недоумевал, кто-то указал мне на стих: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Это относилось к моему ветхому Адаму. Я долго ждал подобного подкрепления. До этого меня все еще преследовало беспокойство и опять возвращалась неуверенность.

Другое знамение, когда я искал ответ в наугад открытом Св. Писании, также подтверждало истинность Завета Божьего со мной. Да исполнится пророчество псалма 60-го!

С.

2.

Я знаю, что Господь любит меня. Он любит не только меня, но всех людей на свете. Я знаю, что Господь не смотрит на разделения и расколы между людьми. Он во всех видит Своих детей.

Есть только дети, отдалившиеся от Него, и дети — приблизившиеся к Нему.

Я грешен, и этим отдален от моего Отца. Но Отец наш послал Сына Своего возлюбленного, чтобы мы имели связь с Ним... В этом явилась Его любовь. Во мне нет никакой любви — только зло. Но Иисус Христос, который есть Сын Отца, страдал за меня и за всех, в ком есть зло и кого это мучает. Он прибил в Себе мое зло ко кресту. Если я нахожусь в Нем, то имею любовь в себе; если ухожу от Него, то нахожу в себе зло. Бог есть Любовь — это благая весть для меня и для всех. В Любви я нашел глубокий смысл жизни. Это открыл мне Бог Духом Своим Святым. Этот смысл для меня непостижим. Но я знаю, ради чего живу.

Я живу для того, чтобы помогать людям находить и для себя смысл жизни, находить Истину и путь к достижению этой Истины.

Иисус говорит: «Я есмь Путь, Истина и Жизнь». Мне не справиться с этим, но Господь велик и силен в наших немощах. В нашей нищете мы имеем это богатство — то, что Господь силен и всемогущ. Я могу только просить Бога, как просил наш брат Франциск: «Господи, сделай меня орудием Твоего мира...»

Я знаю, что Господь любит тебя, не только тебя, но и всех людей на свете. Я знаю, что Господь не смотрит на разделения и расколы между людьми. Он во всех видит Своих детей. Есть только дети, отдалившиеся от Него, и дети, приблизившиеся к Нему. Бог есть Любовь. Это благая весть для меня и для всех людей.

За все это благодарность и хвала и аллилуйя Ему, даровавшему нам жизнь!

Я.

3.

Сейчас бытует мнение о глубоком «кризисе религии» и ее «естественном отмирании». В подтверждение этого говорится, что верующие — в основном люди старые и неудачники. В атеистической литературе подчеркивается: «Вся наша молодежь, за редчайшим исключением, — убежденные безбожники».

Что можно на это ответить? Только то, что вся наша молодежь, за редчайшим исключением, не держала Библию в руках.

Так что «естественная гибель» религии не так уже естественна, если не считать естественной смерть человека, лишенного пищи.

Нет, сейчас мы являемся свидетелями небывалого духовного озарения!

Я хотел бы рассказать о моем пути к Богу. Может быть, это поможет другой юной душе оглянуться на свою жизнь.

Кроме бабушки, все мои родственники — убежденные атеисты. Но бабушка не жила с нами и не могла повлиять на меня в этом смысле. Долго я не видел Библии и считал ее книгой, полной нелепостей.

Мое представление о Христе было, как о мошеннике. Лишь позднее покорил меня Новый Завет. Мне казалось, что он составлен для меня. Но все же Христа я считал за великого, но... человека.

Через некоторое время я стал сильно пить. Я обожал музыку, и вначале мне казалось, что вино дает ее более тонкое восприятие. Потом это стало привычкой и способом ухода от начавшей мучить меня действительности. Я дошел до вопроса, который задавался, наверное, всеми людьми и во все времена — к вопросу о смысле моего существования, о жизни и смерти.

Я понял истину, которая стала поворотным пунктом в моей жизни. Из нее вытекало, что жизнь — бессмыслица. Но в это время я никак не мог осознать этого до конца.

Мне казалось, что можно найти какую-то цель...

Я начал принимать наркотики — я теперь имел выход и жил в других измерениях, но эта жизнь начиналась только после очередного приема «успокаивающих средств». Новые ощущения, сладостные галлюцинации, чарующие полеты в пространстве, объемность музыки — вот что давали мне наркотики. Потом галлюцинации перестали быть приятными, чтобы не сказать больше. И тут-то как раз меня захлестнула волна внешних неприятностей, и, в довершение всего, тогда, когда я был в трезвом состоянии — меня пронизывала страшная депрессия.

Я все яснее и отчетливее стал понимать, что и наркотики не могут вывести меня из пустоты. «Жизнь есть то, что не должно быть — зло; и переход в ничто есть единственное благо» — это высказывание Шопенгауэра прямо перекликалось с моими чувствами и мыслями. Мне казалось, что это логический конец моего существования.

И я решил прибегнуть к этому «единственному благу». Но Бог решил иначе.

...Пустота по-прежнему заполняла меня. Я стал размышлять так: жизнь в конечном счете сводится к удовлетворению желаний, а у меня было только одно-единственное — найти смысл. Разумно ли это? И я пустился в свистопляску наслаждений...

Так я подошел к иррациональному. Это была каменная стена, которая встала передо мною. И я почувствовал свою фактическую ничтожность и ничтожность всех людей. Но мой разум никак не мог остановиться, он опять стал искать объяснений. Голос сердца мне подсказал:

О человек, чье имя свято,
подняв глаза с молитвой ввысь,
среди распада и разврата,

ОСТАНОВИСЬ,

ОСТАНОВИСЬ!..

Какая-то неведомая до сих пор любовь стала наполнять мое сердце.

Я пришел к Господу, погрязший в грехах. Я смиренно сказал: «Верую», и Христос принял меня...

Невозможно передать словами тернистый путь блужданий наших... Ты говоришь, а получается бледная копия пересказа... Ты пишешь, а читатель, не переживший подобного, видит перед собой лишь отрывки каких-то заявлений...

«Не видел того глаз, не слышало того ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2,9).

Вот слова жизни.

В них Истина и Вечность, смысл и волнение, надежда и борьба, вера и победа!

Остальное, если оно не окрашено Любовью, — есть суетный самообман, опиум...

Я обращаюсь к вам, мой бывший собутыльник и подружка на одну ночь, мои братья и сестры по несчастью. Я вижу, как вы, оставшись наедине с собой, плачете и томитесь... Есть выход из этой тьмы, тоски и беспросветности. Это просто по-детски сказать: «ВЕРУЮ».

Чтобы каждый оказался верным (1 Кор. 4,2).

Очень важно в самом начале своего жизненного пути научиться решимости, исполнительности и долготерпению. Без этого ты — неосновательный человек.

«Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он Мне будет Сыном» (Откр. 21,7).

И герой не тот, кто достиг всего (таких и нет), а тот кто не отступал в годину испытаний, не сбежал с тернистого пути, не бросил крест в кусты.

В древней Церкви согрешившему говорили: «Пал? — Встань!»
Христианину чужда безнадежность. Но покаяние наше должно нести плоды, ибо никто не сказал: «Вставши — падай»...

А ведь случается по верной пословице: «пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи» (2 Петра 2,22).

Да не будет так, братья!

Пусть вразумляет вас пример святых!

А.

*
**

4.

«Когда св. Антоний, после сорока лет скитаний по пустыне, воскликнул в отчаянии: «Господи, где же ты? Я сорок лет ищу Тебя!», то услышал за спиной своей голос: «А Я сорок лет стою за твоей спиной...»

Так однажды было и со мной, когда я, обессилев от поисков, в свои двадцать лет взмолилась: «Где же Ты, Господи? Я двадцать лет ищу Тебя и не нахожу!», и услышала в сердце своем: «А я двадцать лет стою за спиной твоей...».

Да, Господь всегда с нами, с каждым из нас. Только мы, неблагодарные дети, в слепоте и гордыне своей, не видим Его, отворачиваемся от Него, удлиняем себе путь к Нему.

Моя первая встреча с Иисусом произошла еще в детстве.

В нашей семье только бабушка могла рассказывать мне о Нем. В молодости она готовила себя в монастырь, но по стечению обстоятельств ее мечта не сбылась и она была отдана замуж. Однако веру свою и любовь к Господу она сохранила на всю жизнь и очень желала передать ее мне. Не знаю, но, может быть, в тайне она видела во мне исполнение своих когда-то несбывшихся надежд. Как бы то ни было, она заставляла меня читать и переписывать Священное Писание, водила в Церковь, рассказывала разные притчи и истории. Но все, что давала мне бабушка, было порой странно и непонятно, ее слишком фанатичная вера пугала меня.

Чтобы не обидеть бабушку, я делала все, что она просила, но по возможности старалась уйти, избежать, перенести на дру-

гой день. Непонятное кажется темным, а темное страшит детей. Но то, что не смогла сказать бабушка, сказал Сам Господь...

Однажды сквозь темную эсхатологию бабушкиных слов, сквозь разные предрекания скорой гибели, всех нас ждущей кары за грехи наши, сквозь эти тучи глянуло солнце, один маленький лучик, коснувшийся моей души. Мое переписывание книг по несколько раз было механическим, и я мало что запомнила — но этот эпизод врезался в память на всю жизнь. К Иисусу привели на суд грешницу. За многие свои грехи она должна была быть побита камнями. Но Он сказал: «Кто без греха, пусть первый бросит в нее камень». И все просто и удивительно ясно. Для меня это было открытием. Значит, Господь не только карает, но и судит справедливо и прощает. Нет — Он не жестокий, Он милосердный и справедливый.

Перед моими глазами встал совсем иной лик, не как на бабушкиных иконах, где Он в образе Вседержителя приходит на Страшный Суд, но светлый и прекрасный лик с большими грустными глазами, полными слез. Придите, и Он не осудит — Он спасет...

Однако эта искра любви и веры, так внезапно появившаяся в моей душе, так же скоро была мною утрачена, искорка погасла, так и не успев стать пламенем. Из детской наивной и чистой веры я выросла, как вырастают дети из старой одежды. Но никого не оказалось рядом, кто бы помог обрести новую.

Детство, о котором всегда вспоминают, как о потерянном рае, у меня вызывает двойное чувство: одновременно и радость и боль. Радость от того, что тогда все было иным — близким, твоим, подлинным: и мир, и ты, и все вокруг. Боль оттого, что с первого моего самостоятельного шага на этой земле в душу мою вошла раздвоенность. Право выбора, которое так ценится взрослыми, для ребенка становится опасностью, оно может трещиной пройти в его душе. Так было и со мною.

В моем воспитании было все, кроме единства и целенаправленности. Когда я была с бабушкой, я слушала о Господе, читала Библию и верила в это. Когда я была с отцом, я пела революционные песни, слушала рассказы о войне и верила в счастье без Бога. Взрослые буквально рвали меня на части, из-за чего даже частенько были скандалы в семье. Но каково бедной детской душе, если любишь и того и другого, и все, что они говорят и дают, так прекрасно, но так различно!

Со временем победила нейтральная, беспроблемная, но компромиссная позиция матери. Не стало веры, но не было и воинст-

вующего атеизма. Но то, что приходит однажды от Господа, не может быть потеряно совсем. Просто оно было зарыто, как клад, в самом дальнем углу души — с тем, чтобы забыть, чтобы искать и вдруг обнаружить на том же самом месте.

Когда кончается детство? Может быть, когда солжешь в первый раз? Или когда впервые откроешь чужой обман и поймешь, что не каждому слову можно верить?.. Но однажды я увидела, что все люди страшно одиноки в этом мире, только лгут себе и другим, что это не так, и делают вид, что живут дружно в семье и обществе. И все вокруг ложь. В книгах, в кино, музыке — разумное, доброе, вечное, а в жизни этого нет. Зачем? Почему? Отчего слова людей так непохожи на их дела?

Та трещина, которая лишь наметиалась в моей душе в 10 лет, в 16 стала ощутимой до боли.

Как часто я была требовательна к другим, а к себе снисходительна, забывая о том, что ответил тогда Иисус. Чужие принципы я презирала, но другим навязывала свои. При этом я очень страдала от того, что не могу быть такой, какой хочу, и мир не такой, каким хотелось его видеть. Во мне постоянно жила раздвоенность, ложь и правда, гнусное и прекрасное, добро и зло. Я даже часто разговаривала сама с собой, как если бы это говорили два человека, противостоящих друг другу.

Я обращалась за помощью к людям, но с ужасом обнаруживала, что они больны тем же. О, Боже, почему я не обращалась к Тебе? В семье, особенно после смерти бабушки, и вовсе не было принято говорить о самом сокровенном, о потребностях души. Никто ни к кому в душу не лез.

Однажды мама случайно прочла мой дневник. И что же? Вместо помощи и ответа, мне в лицо полетело, как комок грязи, слово «Дрянь!» Комок моей же собственной грязи. Да, я ничтожество; слезы покаяния, обращенные в никуда, не очистили меня. Мать меня не поняла, не помогла, не ответила на вопросы. Да кто же вообще может помочь?

Соединенья Божества и праха,
Борьба враждебных вечно элементов,
Мы смесь ничтожества с гордыней,
Желаний низких и высокой цели...

Эти строки из Байрона стали эпиграфом моей юности.

Школу я окончила с сознанием собственного превосходства и одновременно полнейшего собственного ничтожества. И семена, и плевелы дали одинаково сильные всходы.

У меня всегда было много друзей и знакомых, и я не страдала от того, что мне некуда пойти. Но странно, чувство одиночества не покидало меня даже в толпе... Оно иногда уходило под натиском шумных компаний, вина, музыки, сигарет... Но с наступлением тишины вновь приходило, как немой свидетель моего ничтожества. Всеми силами я старалась подавить его, заглушить чем угодно, убежать куда угодно. Тем более, что средств для этого всегда оказывается достаточно. Но оно вдруг врывалось, как поток свежего воздуха через распахнутую форточку в душную прокуренную комнату, полную исступленно танцующих мальчиков и девочек, бесконечно далеких и чуждых друг другу, но почему-то собравшихся вместе. От этого хотелось и плакать и смеяться. Я часто забивалась в угол — благо в темноте никто не замечал — плакала, плакала от того, что под звуки «Jesus Christ Super Star» мимо пьяных, полных эротики и исступления тел вдруг проплывала худая фигура со светлым лицом и ясными грустными глазами, полными слез...

После всего этого я часто бродила по вечерней Москве, особенно осенью, в дождь, незнакомыми улицами. Шла куда-то без цели, без пути, словно ища чего-то, а чего — не знала. О, Иисусе, была тоска моя по Тебе — теперь я знаю.

Я довольно много читала о Христе и христианстве исторической и атеистической литературы. Как человек, Он сразу завоевал мое сердце. Но для того, чтобы осознать Его как Бога и Спасителя, понадобился путь длиной в несколько лет.

Человек должен чему-то служить и кому-то поклоняться. Если нет Бога истинного, то он воздвигает себе идола.

Моим идолом стало искусство. Одновременно оно стало и моим наркотиком, дающим забвение от одиночества и ничтожества, от самого себя. Зато на передний план выплывает, заслоняя собой все, твоя кажущаяся незаурядность.

«Красота спасет мир» — слова Достоевского, как, впрочем, и он сам в это время, стали оправданием моей жизни. Мне казалось — выход найден, и мир и я спасены. Вот панацея от всех болезней. Правда, очень скоро я убедилась, что, соприкасаясь с прекрасным и даже творя его, люди не делаются от этого чище. Но это было потом, а пока...

Три года я добивалась исполнения своей мечты с упорством человека, добывающего огонь трением.

Кто-то сказал, что когда человек падает, он испытывает некоторое время состояние полета, и только больно стукнувшись о

землю, он понимает, что падал. Меня от полного падения уберет Господь. Правда, я это осознала не сразу.

Когда я была уже на полпути к своему Олимпу, со мной произошла странная встреча. Жестокий и бескрылый век уже не верит в пророков и предсказателей и не встречает каждого человека как ангела и посланника Божия. И я была такая.

Однажды, после службы в церкви, возле которой я тогда работала, ко мне подошла женщина из тех, кого ранее называли юродивыми, а теперь сумасшедшими и побирушками. Не помню, за что, но она меня благодарила, а потом говорит: «Человек бродит во тьме и трудно ему. Но увидит он вдали огонек свечи и идет к нему. Свеча гаснет, а новая зажигается — он туда. Так и идет человек от свечи к свече в этой жизни, пока на свет истинный не выйдет». Все это она говорила, глядя куда-то сквозь меня, словно меня и не было. А потом очнулась и добавила уже в глаза: «И с тобой так будет»...

Она ушла, оставив меня в страхе и недоумении. Но этот случай вскоре перестал меня беспокоить. Да и что печалиться — ведь мой свет истинный: вот он — только руку протяни.

В этом же году я поступила в университет, меня повысили на работе, и я встретила человека, затмившего собой всех прежних.

В пошлых праздничных открытках обычно пишут: «Желаю здоровья, успехов в учебе, в работе, и личного счастья». Все это у меня было.

Наконец, жизнь моя приобрела основу, после долгого барахтанья в воде ноги мои встали на твердую почву — и теперь нужно было только добросовестно учиться и работать. Родители довольны, знакомые завидуют, я спокойна. В двадцать лет я имела все, что может пожелать человек в наше время.

Спокойна и только. Но отчего нет радости? Нормальной человеческой радости бытия? Успокоенность и сытость еще не счастье... Свет, который так манил меня, оказался тусклее карманного фонаря.

Меня охватила тоска и неудовлетворенность. «Ну, это уж слишком» — пожимали плечами подруги. «Пройдет» — прогнозировали друзья. «Заучилась» — говорили родители.

А для меня кончился полет. В 20 лет с ним кончилась и жизнь. Не надо бежать вверх по лесенке, прыгая через ступеньку в азарте погони. Не надо парить ввысь за мечтой.

А может, я просто боюсь трудиться повседневно, буднично, как все? Я представила себе дальнейшую жизнь: дом, работа, диплом, потом — дом и работа, потом — другой дом, может быть, аспирантура, а скорее — дети. Как все. Жизнь, похожая на заведенные часы, — все известно заранее. Мне сразу захотелось разбить эти часы.

Больше всего меня мучила моя беспомощность. Да, я не столь талантлива, чтобы открыть нового Ван-Гога или Рембрандта, и после шести лет столь интересной учебы меня не пошлют ни в Лувр, ни в Метрополитен. Впрочем, какая разница, где вытирать пыль с картин? В Париже или в Москве? И дело тут не в том, что кто-то более или менее талантлив, чем я, — но мне просто нечего сказать людям. Чтобы давать, надо иметь, что давать, а в моей душе пусто. В 20 лет для меня все самое большое и дорогое было в прошлом. Что-то еще было в настоящем, которого едва хватит на шесть лет, пока я буду учиться. Но у меня нет будущего.

Я взбираюсь на Олимп, а забрела в тупик... И еще одна открывшаяся для меня истина в это время усугубила мое катастрофическое положение. Я поняла, что само искусство — ничто, оно не спасет, а язык чего-то более высокого. Оно средство для передачи Истины. Оно следствие, а где же причина? Нельзя понять и почувствовать творение и его смысл, не зная Творца. В это время меня особенно увлекало религиозное искусство, хотя я и поняла, что все искусство опосредованно религиозное, если оно истинное.

Но все, что я смогла постичь, — это непостижимость Бога-Творца. В моей душе тогда не связались тот Творческий Абсолют, что есть всему причина, — и прекрасный и величайший в мире человек, которым был для меня Иисус.

Если в душе человека нет единства, нет мира, то и мир воспринимается им без единства, словно в осколках, во всем исчезает смысл.

Вместе с этим ушла и любовь. Впрочем, только теперь я могу сказать, хотя это больно, что это был лишь суррогат, жалкий заменитель того доброго, великого чувства, каким является любовь.

Ничем не вымолить, никогда не выплакать у Тебя, Боже, прощения за то, что так разменивала дар, данный каждому человеку, дар любви, как разменивала свою душу.

Люди, привыкшие к потребительству в жизни, так же относятся к себе и другим. Когда хочешь отдать человеку душу и

тело — оказывается, что ценится только последнее. А душа, как шагреневая кожа: с каждым разом становится все меньше и меньше...

Смириться с этим не дал мне Господь. И вот была осень на улице и на душе. Мне казалось, что все кончено. Конечность бытия не была для меня особым открытием, мысли о смерти, говорят, больше волнуют в 17 лет, нежели в 70. Но именно это стало для меня реально, как никогда. Каждый день мной воспринимался как шаг к смерти. Жизнь мне казалась дорогой на эшафот.

В кругу моих знакомых декаданс был моден, в некоторой степени даже обязателен, ибо считалось большим шармом говорить о смерти и считать поэтов и художников-самоубийц своими кумирами. Некоторое время и я думала, что просто заражена болезнью университетской полубогемы, где сам воздух любой из компаний был пропитан пессимизмом цветаевских строк и словно выписан нервно-надрывными штрихами Лотрека. Но главное, что было неприятно, это неискренность и наигранность того, чем они отгораживались от мира. Поначалу и я была такой. Разочарование и скепсис на фоне красивой музыки и тут же разговоры о Боге, Вечности, Красоте.

Но вскоре я поняла, что мое гнетущее «предсмертное» состояние вышло за рамки красивой игры. Острее ощущалась ненужность, ошибочность моего существования здесь, на земле, и одновременно страх, что все кончится. Так скорее! Но мысль о самоубийстве была слишком отвратительной для меня, может быть, оттого, что сейчас она очень затаскана. Но вернее всего — меня хранил Господь.

Когда я ближе всего в мыслях подошла к смерти, она вдруг перестала страшить меня. Вдруг я поняла, что момент, когда уже ничего нельзя добавить или убавить от прожитой жизни, когда нельзя вернуться, исправить, что-то переделать, перед кем-то извиниться — он ужасен.

И еще, не знаю, как и почему, но я почувствовала, что смертью не кончается все то, что «здесь» и «там» взаимосвязано — и в этом смысл; так что я не должна, не имею права жить, как жила. Не смерть уже страшила меня, но жизнь — бессмысленная, никчемная жизнь. Я словно очнулась от летаргического сна. Однажды я решила, что все будет иначе. Тут началась жизнь, вернее, не сама жизнь, но поиск ее. Куда идти? Как и где искать?

Я по возможности ограничила свою жизнь до минимума — работа, учеба, друзья лишь самые близкие. Для многих моих знакомых это была прямо пустыня. Все больше меня привлекал опыт жизни Христа. Но имея долгое время дело с историей, я воспринимала христианство как исторически прошедшее событие. Отголоски религиозной революции на западе, доходившие до меня по радио, казались мне неубедительными. Неубедительным примером была и жизнь знакомых мне верующих людей. Нигде я не встречала живой веры. Я даже считала себя в некотором роде тоже христианкой, но любви в себе не имела. Храмы и иконы были для меня мертвым искусством, рождали эстетические, но никак не религиозные переживания. То же музыка, философия, литература. Везде я видела лишь свидетельство чужой веры.

Интересовала меня и религия Востока, но она мало что давала в этом плане. И появились сомнения: а может, опять я гонюсь за призраком? Может, зашла в тупик? Нет — в этом я была уверена. Здесь все во что-то верят, у каждого есть свой Бог. У меня его нет. Может быть, ничего и нет? Мне стало больно и жутко от этого.

«Где же Ты, Боже? Я 20 лет ищу Тебя и не нахожу!» И услышала в сердце своем: «А Я 20 лет стою за твоей спиной»...

Я услышала это, когда повстречала людей, ставших моими братьями и сестрами.

Встреча поначалу походила на множество других в моей жизни. Особенно нового они ничего не рассказывали, но то, что они засвидетельствовали живую веру, — и было ответом Господа на мои искания.

Я шла к Тебе, Господи, от свечи к свече, всю мою жизнь, и Ты принял меня, простил и причастил. Я помню радость первого причастия, легкость после генеральной исповеди, ликование Пасхального утра.

Может, кому-то покажется, что здесь остановка, долгий и трудный путь кончен. О нет, вы ошибаетесь — путь только начался, путь к Нему, к Спасителю, к Свету, Теплу Его Любви. Еще год назад мне казалось бы это странным и невозможным. Но Ты — Господь невозможного, и за это время я испытала это много раз. За этот год были и сомнения, и падения, и взлеты — и Ты всегда приходил на помощь.

Помню, в последнюю минуту перед исповедью я вдруг испугалась, что Ты никогда не простишь мне грехи мои. Меня охватило сомнение, что я смогу смыть грехи, грязь с души и

рук своих, и подойти к причастию я недостойна. Но сестра открыла мне Евангелие на первой попавшейся странице и я прочла и поразились — эпизод Христа и грешницы, тот самый, что так порастил меня в детстве. Это был Твой ответ мне, Господи, и сомнения рассеялись. Христос и грешница — словно Ты и я, и Ты говоришь мне: «Иди же и больше не греши». Камень свалился с души моей и я готова была взлететь. Все, что Ты мне простил, уже не составляло труда открыть священнику.

И еще случай, когда я вновь усомнилась, для меня ли Твой призыв. Я не знала братьев до того, как они уверовали, поэтому мне казалось, что они всегда были Твоими, чистыми и безгрешными, они были безнадежно далеки от меня, словно из другого теста. А я такая грешная и грязная, что я могу? Едва научившись молиться, я каялась и плакала, что не могу стать такой, что удел мой — грешный мир.

«О Боже, пошли мне кого-нибудь, кто мог бы мне помочь!» Это было в храме во время службы, и вдруг рядом с собой я увидела девушку, с которой когда-то вместе работала и дружила. Ты ее призвал, Боже, и она изменилась, благодаря Твоей любви — значит, и я могу так же. Ты поднял меня, Господи, — и так каждый раз.

Многое было в моей еще очень небольшой жизни, но главное — у меня есть Ты, Иисусе, Твоя Любовь и Радость. Единственное, что бы я хотела, — чтобы эту Любовь и эту Радость имели все. И если я что-то смогу для этого сделать, это будет моим ответом на Твою Любовь, Боже.

И.

*
**

5.

Я хочу рассказать о том, что может Иисус. Я читал одну историю, где написано, как Иисус воскресил мертвого. Он подошел к нему и сказал: «Выйди вон из гроба!» Больше он ничего не делал — только сказал это. Без магии, без волшебства, без опьяняющего ладана, без стимулирующей музыки. Он просто говорил...

Я тоже был мертвым — Он и меня вызвал к жизни из кошмарного мира наркотиков...

Я сам себе не мог помочь. Иисус меня призвал. Своим словом Он это делал — и это Слово на меня подействовало.

Раньше я христианам всегда говорил: «У вас одни только слова». Когда я принимал наркотики, я жил в психоделическом мире представлений.

Я чувствовал, насколько нереален и фантастичен этот мир. Сейчас я переживаю слова Иисуса как лекарство.

В истории, которую я читал, написано еще больше. Этот мертвый был в гробу четыре дня и уже вонял. Друзья, которые знали меня раньше, скажут, что я тоже вонял. И многие из нас воняют. Иисусу это не мешает. Он не отводит нос в сторону, Он смотрит на нас, любит нас и говорит нам: «Выйди!» Больше ничем Он не украшает Свои слова. Но этого хватит. Для меня этого было достаточно.

Я благодарю Бога за то, что Он показал мне, что может Иисус. И об этом я всем хочу рассказать.

М.

(продолжение следует)

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С О. ДИМИТРИЕМ ДУДКО?

С тяжелым чувством берешься за перо, чтобы писать о человеке, о священнике, стяжавшем мировую известность, вселившим во многих столько надежды, но с которым стряслась беда.

Прежде, чем вдуматься что случилось с о. Дмитрием Дудко (и с двумя членами Комитета защиты прав верующих, Л. Регельсоном и В. Капитанчуком), воздадим должное тем христианским борцам, которые одолели испытание и остались верны до конца: о. Глеб Якунин, В. Пореш, А. Огородников спасли честь христианского имени. Будем вдохновляться их стойкостью, их подвигом, приложим все усилия, чтобы мировая общественность добилась их освобождения.

То, что эти трое не сдались, позволяем утверждать, что и к трём сдавшимся не было применено никаких особых методов воздействия, кроме как психологических. По дошедшим до нас рассказам на о. Дмитрия Дудко в тюрьме напал страх смертный, чувство бесполезности приносимой им жертвы, даже богооставленности, т. е. в терминах православной аскетики, он подвергся хорошо известному монахам дьявольскому искушению, которым ловко воспользовались как посланцы Московской Патриархии, сыгравшей здесь роковую роль, так и изощренные, хотя и вполне вежливые, следователи.

То, что о. Дмитрий поддался искушению, а затем попался на удочку гонителей могло остаться прискорбной, но всего лишь частной трагедией. Кто из нас не поддается искушению, малому или великому? Не случайно по многу раз в день мы просим избавления от Лукавого. Одни отвернулись от о. Дмитрия, и это понятно: «Взялся за гуж, не говори что не дюж». Другие остались ему верны, и это справедливо: «Кто иже жив будет и не согрешит». Христианство проповедует милосердие, и всякому павшему Христос протягивает руку.

Но вот что усугубляет трагедию о. Дмитрия: уже в телевизионном выступлении, но еще больше в последующих за ним письмах и обращениях, о. Дмитрий ищет религиозно-нравственного оправдания своему поступку. Вместо того, чтобы подобно Петру просто заплакать о случившемся, о. Дмитрий, наряду с покаянными вздохами, все же стремится найти в своем поступке положительный смысл и промыслительный урок. Голос искусителя, смешавшийся с голосами Патриархии и следствия, нашептывает

о. Димитрию, что он был арестован не за христианскую веру, а за «политику». Конечно, если бы о. Димитрий довольствовался отправлением служб и бледными проповедями, он в тюрьме не оказался бы, но о. Димитрий хотел большего: следуя велениям совести, он стремился расширить границы церковной свободы, проповедовать «во-время и не во-время». Не за политику была арестован о. Димитрий, а за христианскую активность, которую Советская власть запрещает. (И даже в его несвоевременном и ненужном призыве к канонизации Николая II не было политики, а лишь желание свободно говорить о запрещенном).

О Димитрий как будто не отдаёт себе отчёта, что в политику, и причем в худшую из политик, он вдался уже после ареста, когда согласился по телевидению произнести ложные слова об агрессивности Запада по отношению к СССР (и это в дни завоевания советскими войсками Афганистана! После Венгрии, Чехии, Анголы, Эфиопии...)

В дальнейших заявлениях эта тенденция еще усилилась. Последний текст, от 29 сентября, угрожающе и вместе с тем знаменательно, озаглавлен: «Можно ли с безбожниками говорить на их языке?» Под безбожниками о. Димитрий имеет в виду партийных руководителей и, в частности, следователей. При такой постановке вопроса, ответ может быть только однозначным: нет! Кто бы ни был следователь КГБ в частной жизни (добрым малым, верным супругом и т. д.), он в своей функции служит объективно злу, делает дела князя тьмы. Говорить со следователем КГБ его языком значит войти в опаснейшую игру со злой силой, пойти на сговор с неправдой. Увлекаясь самооправданием о. Димитрий идет еще дальше: «любезного» следователя он ставит выше отвернувшегося от него, о. Димитрия, христианина. Но неужели о. Димитрий не понимает, что следователь любезен «функционально», чтобы лучше опутать свою жертву, в то время как бывший друг или ученик отворачивается по невыносимой боли?

В этом оправдании власти, в худших ее проявлениях (с привкусом дешевого антизападничества: мол, на Западе «не лучше»), во имя патриотизма и нравственности, а на самом деле самооправдания ради о. Димитрий поддается давно известному политическому соблазну, который именуется «национал-большевизмом». Национал-большевизм, как таковой, не существует. Советская власть его не исповедует да и не признает. Но с польско-советской войны 20-го года, с генерала Брусилова и проф. Устрялова, через евразийцев 30-х годов до советских патриотов конца 40-х и вплоть до

наших дней, национал-большевизм служит «приманкой» для привлечения к Сов. власти людей, ей по убеждениям чуждых или далеких.

Мы сказали, что в политику о. Димитрий вдался только после ареста. Это не совсем точно. Незадолго до ареста о. Димитрий высказал свою поддержку художнику Глазунову. Этот шаг многих насторожил. Глазунов, даже если его картины и пробуждают какие-то национальные чувства, — глубоко порочное явление. Нельзя одновременно живописать Брежнева и «русские лики», как нельзя служить одновременно двум господам. Коммунизм по сути своей антирелигиозен, античеловечен и всегда антинационален.

Значит ли все сказанное, что мы осуждаем о. Димитрия? Нет, мы просто судим, рассуждаем о его действиях и хотим предупредить его о новой и горшей опасности. Слишком многое сделал о. Димитрий (и сделанного им не отнимешь), слишком много даров получил он, чтобы мы могли быть равнодушны к его судьбе. С о. Димитрием стряслась беда. Но от него (и от его друзей) зависит выйдет ли он из этой беды или в ней погрознет. Чтобы преодолеть искушение следует раз и навсегда отказаться от всякой попытки самооправдания. Труден путь покаяния и смирения, но, как учит все православное предание, он один может позволить падшему подняться и обрести себя.

Никита Струве

А. СОЛЖЕНИЦЫН

ИМЕТЬ МУЖЕСТВО ВИДЕТЬ

Полемика в журнале «Форэн Аффэрс»

Уровень политической полемики заставляет выслушивать весьма плоские, а притом дружные обвинения, — например, что я идеализирую прошлое России, не знаю истории собственной страны, а уж тем более не понимаю Америку и всё современное человечество, ибо мало разговариваю на бензоколонках. Я предупреждал против злостных искажений русской истории, — мне приписали это как исчерпывающую систему взглядов. Историей русской революции я занимаюсь более 40 лет, сейчас оканчиваю 8-томное повествование, которое начнёт выходить по-русски через 2 года, по-английски может быть через 5. В объёмном художественном анализе открываются куда более коренные пороки и ошибки многовекового русского развития, чем могут мне представить мои горячие оппоненты по газетной поверхности или временной страсти. Конечно, художнику не место в политической полемике, она огрубляет аргументы, но больно слышать легковесные безответственные суждения, произносимые с научным видом, а между тем поражаться беззащитности и ненаходчивости современного Запада перед мировой ситуацией — прежде всего в составе идей и уровне их исполнителей. При таком течении трудно найти покой отложить высказывание ещё на 5 лет.

1

Жизнеспособность всякой системы хорошо характеризуется её приемчивостью к критике. Я всегда был уверен, что американская система жаждет критики и даже любит её. Уверенность поколебалась после моей гарвардской речи, когда в потоках гнева прессы отчётливо прозвучало: «не рассуждай, замолчи и даже убирайся прочь!» Никак не ожидал встретить такую тональность и на страницах «Форэн Аффэрс» (г. Тривс). Я не «читаю нотаций», я передаю коммунистический опыт. Мне-то лично проще всего замолчать и предоставить заботу о будущем Америки исключительно единомышленникам мистера Тривса. Когда они испы-

тают всё на себе, — у нас будет полное понимание. Но боязнь критики и свежих мыслей — роковая черта обречённых систем.

Статья Тёрстона — как будто специально написана показательной иллюстрацией к моей статье: как легко западного человека дурачить в СССР. Юмористично звучит его ссылка на «личный 10-месячный опыт» наблюдаемого иностранца в советской столице, в отработанных условиях советской «показухи», — опыт, который он отважно противопоставляет полувековому коренному опыту жителя в запретных глубинах страны. Вот и результат: его открытие о «советском патриотизме» и «гордости материальным прогрессом» (металлургии? военной промышленности?), когда нечего есть, — оскорбительно звучит цитатой из «Правды» или «Женьминьжибао». Спор о локальных и искажаемых Тёрстоном юридических деталях прежних русских десятилетий никак не вмещается на страницы «Форэн Аффэрс» и в эту дискуссию. Но поразишься, с какой опрометчивостью он заключает о «социальных симпатиях» России на основе «выборов» в Учредительное Собрание — уже после большевистского переворота, когда не социалистические партии реально были жёстко ограничены. Он механически переносит американское понятие «выборы» в крестьянскую Россию 1917 года, не понимавшую даже этого процесса «выборы», не готовую ни к какому сознательному голосованию. (В 1945 американцы спрашивали советских: «так если вы недовольны Сталиным, отчего вы его не переизберёте?»)

Более неловко чувствуешь себя, когда такой советолог, как профессор Далин, внушает нам, что живое полувековое наблюдение за скрытыми глубинами советских пространств не столь важно, как вникнуть в мотивы тех, кто направляет советскую политику, — а для этого, очевидно, нужны только встречи в Москве и анализ «Правды». Но сам же Далин в другом месте соглашается, что деятели СССР скрывают свои мотивы. Результаты таких бесед мы и видим на сплошных многолетних промахах Запада. Видел ли профессор Далин своими глазами предмет своего изучения — пространства этой порабощённой страны и жителей провинции и деревни? По каким данным он так уверенно судит о неоскудении русской деревни и подъёме советской жизни? Его суждения о Луне были бы точней, ибо доклады астронавтов надёжней. О советской провинции, где не хватает картофеля до весны, а других продуктов вообще не знают (и это, мистер Далин, никак не «гипербола», вам только трудно это вообразить), наш оппонент серьёзно пишет, что там распространены гордость за

успехи космонавтов и шахматистов. Или вознаграждает нас расцветом «безопасной» для правительства культуры, — какой именно? Гуманитарная пропитана ложью, «точная» поставлена на службу войне, — что ж остаётся от «культуры»? (А в провинции и такой нет.)

Законно желание г. Далина узнать, откуда взялись при утаённой советской статистике цифры погибших в СССР. Но цифры профессора статистики Ивана Курганова были опубликованы в Соединённых Штатах 16 лет назад («Новое Русское Слово» 12.4.1964) на языке, доступном профессору Далину, — и странно, что он их не заметил. О новых подсчётах наших потерь Иосифом Дядькиным, сейчас арестованным, можно прочесть в «Уолл Стрит Джорнал», 23.7.1980. Порядок этих цифр — десятки миллионов — совпадает у обоих авторов. Конечно, ещё много времени пройдёт, пока мы получим уточнённые данные: советская пасть не выдаёт тайн, даже и в доверительных беседах функционеров.

Далее нам предлагают (г. Лёбль) не вдаваться в историю возникновения коммунизма в СССР, а судить о сегодняшней угрозе. Но во всех областях знаний установлено, что всякое явление можно понять только зная историю его развития. От того, считать ли сегодня коммунизм (в том числе кубинский, вьетнамский, китайский) явлением исключительно русского происхождения или интернациональным и даже метафизическим, — определяются совершенно разные ответы на него: губительная ли капитуляция, идущая со времён Ф. Рузвельта, или попытка твёрдого стояния. Утверждения мистера Лёбля, что коммунизм так же национален по природе, как и национал-социализм, совсем не убедительно: тот никогда и не проявлял себя интернациональным, а только национальным, ввёл понятие «высшей нации»; и не выжигал и не вырезал прежде всего жизнь «своей» нации, как это делает в каждой стране каждый коммунист с первого шага. И именно поэтому (как никогда не делает хитрый коммунизм) нацизм открыто заявлял, что идёт обратить народы СССР в своих рабов, — и на этом, как правильно пишет Лёбль, потерпел поражение. Однако Лёбль приписывает моей статье свою тенденциозную трактовку, что только украинцы и прибалты готовы были поддержать Гитлера, — я же свидетельствую, что и все захваченные русские области ожидали от этой войны себе освобождения, и Красная армия потому бежала с такой лёгкостью. Но Гитлер объявил войну именно русскому народу, не оставляя

ему выхода. И именно этот совет повторно предлагают сегодняшнему Западу те, кто считает нависшую над миром опасность не коммунистической, а русской. И этот совет будет иметь тот же уничтожительный результат.

В тоталитарных государствах самой разрушительной деятельностью считается и более всего преследуется — восстановление исторической правды. Но и в условиях Запада этой цели достичь нельзя, если разрешать себе высказывания недобросовестные и даже неграмотные. Тот же Лёбль: «в конце прошлого века русское правительство было союзником всех деспотических правительств». Интересно — каких именно? Справка: в конце прошлого века (с 1892) Россия имела единственного союзника — республиканскую Францию, с 1907 — Англию. «Царские мечты о мировом господстве захватили души русского народа». В XIX веке единственный «царь», который мечтал о мировом господстве, был Наполеон. Более нигде такой феномен не наблюдался, кроме необъятной Британской империи на 5 материках. Где в русской литературе, искусстве и народном фольклоре Лёбль может указать жажду мирового господства? Каким другим способом он подслушал это из «душ русского народа»? «Русская культура на первом месте повсюду в Советском Союзе». Мистеру Лёблю простительно не знать, что такое русская культура, но не следует судить по газетной наслышке. Я свидетельствую, что **русская** культура разгромлена и уничтожена с ненавистью в первое же советское десятилетие. Сегодня под псевдонимом «русской культуры» выступает антинациональная и атеистическая **советская культура** — притом на испорченном, изгаженном русском языке. Интересы коммунистической Москвы — «в первую очередь русские интересы», — пишет Лёбль в споре против моей статьи, даже видимо не прочтя целых разделов её. Я именно указываю, что никакая нация под советским господством не разорена в такой степени, как русская.

Впрочем, подобные безответственности мы обнаруживаем и у более видных американских лиц. Руководитель русского цикла Принстонского университета профессор Стефан Кохен пишет («Нью Репаблик», 29.12.1979): «за период 1-й и 2-й пятилетки (то есть 1928-1937) в основном отсталое общество было преобразовано в преимущественно промышленное, получившее доступ ко многим благам современного государства всеобщего благополучия!» Фантастическое высказывание! Будь оно известно у меня на родине, его восприняли бы как глумление: это всё сказано о

десятилетия всеобщего разорения, голода, хлебных карточек в мирное время, 6 миллионов голодных смертей на одной Украине, 15 миллионов уничтоженных крепких крестьян, конца сельскохозяйственного изобилия, конца промышленности изделий массового потребления, отсутствия по всей стране одежды, обуви, тканей, домашних предметов, — с заменой на тяжёлую индустрию и показные для иностранцев магазины в Москве. В эти годы пещерного оскудения и озверения, которые Кохен сравнивает со всеобщим благополучием, — населению моей страны казался утеряннным чудом последний предвоенный 1913 год. И к изобилию того «царского» года наша страна и издали не приближалась за минувшие 70 лет.

Если такой промах может допустить руководитель всего русского обучения ведущего университета, — удивляться ли, что один из кандидатов в президенты США, Э. Кеннеди, недавно выразился, что стеснения в мясе несколько не страшны советскому руководству: оно «просто» будет кормить население курами. Человек, который претендует направлять мировую политику и экономику, не знает такого простого, что в СССР куриное мясо — на вес золота, что его нигде нет, невозможно достать даже для диетического больного.

Это парение в сфере иллюзий, этот как будто нарочитый самообман — характерная черта западной прессы и многих западных политических деятелей: верить только в желаемое и словесно заклинать, чтобы осуществлялось именно оно. Так «Нью-Йорк Таймс» в июне 1945 собственным авторитетом подтверждала — для какой же цели? — что катынские убийства совершены не коммунистами, а гитлеровцами. Это, с тех пор, едва не всеобщее желание иметь дело с иллюзиями, а не с фактами, и доверчивое приятие недобросовестных сплетен о русской и советской истории — закрывают глаза Западу в нынешний грозный момент, закрывают возможность понять истинное положение и найти пути спасения. Запад как будто **не хочет** знать истины до того момента, когда знать её будет уже поздно.

2

Статья профессора Таккера явно выражает не только его личные взгляды, но устойчивые взгляды целой среды, весьма влиятельной, даже определяющей для направления американской политики: приходят ли к власти демократы или республиканцы, тот или иной президент, --- все ведущие эксперты и советчики

набираются из этой среды. (И характерно, что проф. Далин присоединяется к существенным опорным пунктам статьи проф. Таккера.)

Центральная точка здесь — непонимание природы коммунизма: как концепции непримиримого и динамического Зла (ведь слово «зло» теперь считается ненаучным, и даже неприличным, ни «зла», ни «добра» нет, а есть только плюрализм равноценных мнений); как явления интернационального и всеисторического (лишь крайний полюс социализма), а вовсе не локально русского. От этого — непонимание всего нынешнего советского феномена.

Кто вчитается внимательно в статью Таккера, — увидит, что Таккер испытывает сочувствие к «чистому» коммунизму, к ранним ленинским годам его и, конечно, никакого осуждения марксистскому учению. Ему, быть может, неловко выразить это сегодня прямыми словами, но это — во всей композиции его мышления. Для того и понадобилось ему передвинуть всё зло коммунизма на сталинские годы и от них потянуть хобот в поисках происхождения в русский XVI и XV век. За ленинскими годами Таккер отрицает даже насильственную систему ГУЛАГа, отрицает принудительность труда в ленинских концлагерях, и даже оправдывает их тем, что в них заключались будто бы лишь «противники большевистской власти», — а не просто подряд все яркие личности, и кто не нравился большевикам по происхождению и личному поведению. (Это всё достаточно изложено в «Архипелаге ГУЛАГе», и я предлагаю профессору Таккеру решиться на то, на что не решилась советская власть: прямо опровергать «Архипелаг» по пунктам.)

Пора же, наконец, называть вещи своими именами: что октябрьский переворот Ленина и Троцкого против слабой русской демократии был бандитским. Что он был произведен с большой финансовой помощью вильгельмовской Германии. Что коммунизм первых лет был такой же грязной, коварной, жестокой, бесчеловечной системой, как потом и сталинский. Что заслуга изобретения многомиллионного насильственного ГУЛАГа принадлежала Троцкому (принудительные «трудармии»), и ему же — бессмертное изобретение первых «газовых камер» (баржи, потопляемые в море с сотнями людей), и ему же — массовые расстрелы собственных военнообязанных, не идущих воевать за большевиками. И народный геноцид на Дону — расстрел более 1 миллиона 200 тысяч гражданского казачьего населения, принадлежит тем же двум

бессмертным авторам. Весь замысел: пропагандно наделить крестьян землёй и тут же отобрать её вместе с урожаем — Ленин. Объявить войну зажиточному крестьянству (ниже уровня среднего американского фермера), и с тысячными расстрелами крестьян, — Ленин. Согнать крестьян в управляемые коммунуны и артели — Ленин. Подавить всякую печать, кроме коммунистической, — Ленин. Разгромить независимое рабочее движение («съезды заводских уполномоченных») и профсоюзы — Ленин и Троцкий. Неумеренно эвфемистично называет Таккер такой строй «авторитарным», — а слово «тоталитарный» он не может выговорить в отношении к нему.

Читая полную переписку Маркса и Энгельса, опубликованную по-русски (такая возможность у проф. Таккера есть), — можно было бы изумиться крайней беспринципности и бессовестности этих заговорщиков и их яростной «ортодоксальности» («русская черта» по Таккеру), если б не иметь перед глазами более поздних множественных примеров. В их взглядах мы уже узнаём и лютый атеизм как главный стержень мировоззрения, и лютую нетерпимость и злобу ко всем остальным партийным направлениям и даже к некоторым славянским народам, взятым в целости. А вот из их известных высказываний:

«Существует лишь одно средство сократить, упростить и сконцентрировать кроважидную агонию старого общества и кровавые муки родов нового общества, только одно средство — революционный терроризм».

(К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения (на рус. яз.), 2-е издание, т. 5, стр. 494.)

«Мы беспощадны и не просим никакой пощады у вас. Когда придёт наш черёд, мы не будем прикрывать терроризм лицемерными фразами». (Там же, т. 6, стр. 548.)

«Народная месть прорвётся с такой яростью, о которой и 1793 год не может нам дать никакого представления».

(Там же, т. 2, стр. 515.)

«Противодействовать попыткам буржуазии внести успокоение, вынуждать демократов привести в исполнение их теперешние террористические фразы... Не только не выступать против так называемых эксцессов, против случаев народной мести к ненавистным лицам или официальным зданиям... но и взять на себя руководство ими».

(Там же, т. 7, стр. 263.)

«Насилие (то есть государственная власть) — это тоже экономическая сила».

(Там же, т. 37, стр. 420.)

«Политическая свобода —...хуже, чем самое худшее рабство». (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, М. 1929-1935, Госиздат, т. 2, стр. 394.)

«Смотря в будущее, я вижу нечто такое, что будет сильно отдавать изменой отечеству; вот это для нас фатально».

(Там же, т. 22, стр. 138.)

«В одно прекрасное утро наша партия благодаря беспомощности и вялости всех остальных партий вынуждена будет стать у власти... Мы будем вынуждены проводить коммунистические опыты и делать скачки, о которых мы сами отлично знаем, что они несвоевременны... Прежде чем мир будет способен дать историческую оценку подобным событиям, нас станут считать... чудовищами, на что нам, конечно, наплевать».

(Там же, т. 25, стр. 187.)

Маркс и Энгельс не раз повторяли, что «став у кормила власти, мы вынуждены будем разыграть 1793 год».

И Ленин никогда не скрывал своих исторических истоков и не приписывал им происхождения из русских традиций. Он и постоянно цитировал и клялся именами, и применял на деле Маркса и Энгельса (что, однако, не делает коммунизм немецким явлением). И, следуя им, открыто и многократно восхищался якобинским террором — и массовыми казнями и массовым потоплением обречённых. Он говорил: «террор обновляет страну» и не скрывал, что следует Бабёфу: побеждённые классы полностью уничтожать. (Но это не делает коммунизма и французским.) Именно во Французскую революцию возникла расправа по классовой принадлежности. И названия и форма «революционных трибуналов» и даже «чрезвычайных комиссий» (по-советски ЧК) заимствованы от якобинцев (не от Ивана IV из XVI века). Сходство теории и тактики большевиков и якобинцев имеет школьную наглядность для всякого, кто только пожелает перечитать те исторические материалы. (До всех подробностей: запрещение свободной печати; уничтожение фракций; «диктатура как лучшая форма свободы»; монолитное единство всего населения; слияние государственного аппарата с партийным, а партийный подчиняется диктатуре одного лица; и даже — продовольственные отряды, гра-

баше крестьян, разрушение церквей, переливка колоколов, отнятие церковных ценностей.)

Странно, что проф. Таккер как будто никогда ничего об этом не слышал и не задумывался над этой прямой обнажённой преемственностью. В изложении, претендующем быть научным, он применяет совершенно несерьёзный довод в доказательство «исконно-русского» происхождения большевизма: так полагал Бердяев!..

Уже, кажется, давно ни в какой науке не считается аргументом ссылка на авторитет. Осмелимся возразить, что философия Бердяева вообще есть весьма капризное творчество. В течение своей жизни он по меньшей мере два, а в чём и три раза менял свой образ мыслей почти на 180 градусов*, выступая против своих прежних взглядов как против чужих. Его книга о коммунизме в России не есть объективное историческое исследование, не анализ исторических фактов, а претворение его индивидуальных философских переменчивых установок, законченных тем, что он вывесил на своём доме советский красный флаг. Многие общемировые процессы (как подмена религиозного творчества социальным) он искусственно приписывает одной России. Не останавливается перед тем, чтобы человеконенавистнический марксизм назвать «этическим учением», о Марксе и Ленине заявить, что они «хотели добра», — это звучит кощунственно над трупами замученных миллионов и перед рылом сегодняшнего мирового завоевателя. Бердяев признаёт, что в русской истории были «перерывы органического развития», — и тут же, сам себе противореча, всё строит на «органической традиции», по удобству — то от Московской Руси, то от исключавшей её Петербургской.

Однако Бердяев писал в 1937 году, когда ещё не выступил весь исторический объём явления. Но как можно в 1980, при 25 коммунистических странах на 4 континентах и во всех расах, — продолжать считать, что коммунизм (и его Интернационал Тераора, разветвлённый ещё в 20 странах) — определился русскими чертами?

Идея Таккера, что сталинский период коммунистического Левиафана создан заимствованием из XVI и XVIII веков русской истории, не только ненаучна, но производит впечатление импрессионистической фантазии. Неужели это научный аргумент: что Сталин, для того чтобы рубить головы своим врагам и наводить

* См. например — Н. Полторацкий, «Бердяев и Россия», Нью-Йорк, 1967.

ужас на население, нуждался в примере Ивана Грозного? А без Грозного — он бы не догадался? Мировая история даёт мало примеров тираний? Глубокие познания, что тиран должен держать народ в страхе, Сталин мог почерпнуть из первого школьного учебника по всеобщей истории, а может быть — из истории грузинского феодализма, а ещё раньше — из собственного лукавого и злобного нутра: что-то, а именно это он от рождения понимал, ему ничего не надо было читать. Или, пишет Таккер: ГУЛАГ происходит от насильственного труда при Петре I, — оказывается, насильственный труд изобретен в России! А почему не от египетских фараонов? А ближе по векам: демократические Англия, Франция и Голландия применяли насильственный труд в своих колониях, а США — даже на собственной территории, и все — позже Петра. А уж гребцы на галерах — хрестоматийны. (К чему приводит Таккер отрывок из Кеннана-старшего — совершенно не ясно, разве: доказать, что в дореволюционной России и каторга была так же открыта иностранным наблюдателям, как и суд? Можно не полениться найти у французских романистов ещё более яркое описание каледонской каторги, — и что это доказывает относительно 5-й республики? Когда в Англии впервые вышел (1881) перевод «Записок из Мёртвого дома» Достоевского, один из ведущих журналов отмечал отсутствие строгости, которое «привело бы в ужас английского тюремщика».* Исконной русской чертой объявляются и захваты территорий, — хотя Англия имела захватов побольше, и Франция немало, значит ли это, что английский и французский народы хищны по своей природе? И уж тем более колхозы — всемирная социалистическая идея коммуны — объясняется как проявление русского крепостного права.

Неужели это научный метод: объявить перенос приёмов управления и учреждений через 4 столетия — при отсутствии каких-либо конкретных носителей, передатчиков, партий, сословий, лиц, вперепрыг через тотальное уничтожение всех общественных институтов в 1917, — какой-то мистический перенос, очевидно через кровяные гены? (Или, как изящнее выражается проф. Далин, — «что-то в русской почве, созданное наследственностью или средой».) И тут же рядом «не заметить» прямое наследование всего через 5-10 лет всех нужных традиций и готовых уч-

* The Athenaeum, № 2788, April 2, 1881, p. 455. Более тяжелые условия английских заключённых по сравнению с заключёнными русскими отмечали и другие журналы.

реждений! — от Ленина и Троцкого: того же самого ЧК-ГПУ-НКВД, тех же самых «троек» вместо суда (при чём тут Александр III?), того же самого (уже в наличии) ГУЛАГа, той же самой 58-й статьи, того же самого массового террора, той же самой партии, той же самой идеологии — в пределах того же поколения и через живых носителей, успевших убивать там и здесь, и тот же самый принцип сверхиндустриализации (подавить потребности народа и съест его тяжёлой промышленностью), выдвинутый Троцким? (Нет никакой «двусмысленности» в наследии Ленина и Троцкого, которую ищет Далин.)

Я отказываюсь приписать профессору Таккеру такую невероятную слепоту! Я вынужден увидеть в этом сознательную попытку обелить ранний коммунистический режим, будто все его дьявольские преступления и учреждения вообще не существовали, а созданы позже Сталиным, который будто бы «разрушал» большевизм, — и почерпнуты якобы из русской традиции. Какую такую «революцию сверху» (избитый марксистский термин у Таккера) совершил Сталин? Он честно и последовательно углублял и укреплял доставшееся ему ленинское наследство в его же формах. Но даже если бы Таккеру (и многим его единомышленникам) удалось бы доказать невозможное: что ЧК, ревтрибуналы, институт заложников, ограбление народа, тотальное насильственное единство мнений, партийная идеология и диктатура взяты не у своих коммунистов и не у якобинцев, но у Ивана IV и Петра I, — то и тут бы Таккер просёкся с «русской традицией». Дело в том, что для национальных мыслителей России оба эти царя были предметом порицания, а не восторга, а народное сознание, фольклор, решительно осудили первого как злодея, второго как антихриста. Что Петр I **разрушал** быт, обычаи, сознание, национальный характер, подавлял религию (и встречал народные бунты) — это лежит на поверхности, это всем известно.

Неужели это исконная русская традиция: коммунистическая подрывная деятельность во всём мире, система экономического саботажа, идеологического разложения, террора и восстаний? Горячая сегодня среднеазиатская точка даёт нам понять разницу. Да, бухарский эмират (не Афганистан) был захвачен Россией — в том XIX веке, когда и все демократические страны Европы с моральной лёгкостью позволяли себе любые завоевания. (И Англия пыталась, но не сумела, взять Афганистан.) Мне горько и стыдно, что и моя страна участвовала в общеевропейском насильственном покорении слабых народов. Но за 50 лет россий-

ского протектората в Средней Азии был мир: не подавлялась религия, быт, личная свобода — и не было движения к восстаниям. А едва захватил власть Ленин, — он с 1921 года готовил, под видом «революционной федерации», захват Турции, Персии и Афганистана. А с 1922 в Хивинской и Бухарской областях в ответ на методы коммунистов вспыхнула мусульманская повстанческая война, как сегодня в Афганистане, и продолжалась 10 лет, и подавлена уже при Сталине безмерными расправами над населением. Вот чья «традиция» — вторжение в Афганистан.

Справка Таккера (поддержанная и Далиным), что слово «сталинизм» изобретено в 20-х годах троцкистской фракцией в борьбе со Сталиным, — мне конечно известна. Но называть сегодня «сталинизмом» осуществлённую 25-летнюю эпоху гигантского коммунистического государства — значит отвлекаясь прикрывать непримиримую античеловеческую сущность коммунизма — главную угрозу сегодняшнему миру.

Оттого, что коммунизм — явление интернациональное, значит ли, что вовсе исключаются какие-либо его национальные признаки или обстоятельства? Не совсем, ибо коммунизму приходится действовать на живой земле, в среде конкретного народа и поневоле пользоваться его языком (для своих целей калеча его). В Китае преследуют стенные плакаты, а в СССР — самиздат. Русское городское население насильственно выгоняют на картофельные поля, а кубинское — на сахарный тростник. В СССР уничтожали население ссылкой в тундру, а в Камбодже — в джунгли. В Югославии провели манёвр одним способом: Тито поспешно совершил массовые убийства 1945 года, — а затем притворился барашком, чтобы получать западную помощь. А Чаушеску виртуозно достиг доли внешнеполитической независимости, — но укреплением внутреннего тоталитарного духа выше 100%. По восточногерманскому коммунизму ясно, что страна не должна объединяться, а по северокорейскому так же ясно, что должна. (Не знаю, откуда взял Далин, что по моему мнению всякий итальянец, голосующий за коммунистов, или всякий узбек, принудительно вовлечённый в партию, теряет свою национальность? У меня сказано: «люди, отдавшие себя коммунистическому **руководству**, уходят душой от своей нации и от человечества вообще», — и профессор Далин мог бы не делать этого ошибочного переноса. «В ряде случаев коммунизм служит инструментом для развития национальных движений или интересов», — уверяет Далин, и так действительно думали в Штатах относи-

тельно Северного Вьетнама. Но теперь-то, кажется, разуверились? Теперь-то всем ясно, что ни в Эстонии, ни в Польше, ни в Монголии и нигде никогда коммунизм не служил национальным интересам?) В дополнение к коммунистической пропаганде — отчего не использовать ловко ещё и национальную? — этим коммунистические правительства не брезгают. Но значит ли это, что «коммунизм во всех странах разный»? Нет, он во всех одинаковый: везде тоталитарный, везде с подавлением личности, совести, и даже уничтожением жизни, везде с идеологическим террором и везде агрессивный: конечная цель мирового коммунизма, всех видов коммунизма — захватить всю планету, в том числе и Америку. Можно понять кремленологическую кастовую обиду профессора Далина, что так неприятно упрощается проблема, хотелось бы видеть более тонкие градации в увлечённости вождей идеологией, — но идеология влечет их помимо личных убеждений, — например, бессмысленно и неудержимо влечёт на мировой захват, не нужный им самим лично: как в фанатизме захватывают они Анголу, Абиссинию, Афганистан. Плохую услугу оказывают американской политике те, кто предлагают играть на «тонких вариациях» между разными коммунизмами.

Меня пытаются опровергнуть моим личным опытом: вот как заметно развивается коммунизм: при Сталине Солженицын сидел в тюрьме, при Хрущёве — напечатали «Ивана Денисовича», а при Брежневе — выслали. Удобный бродячий сюжет, он кочует из статьи в статью, прикочевал и к Таккеру! — потому ли, что не могут найти другого за 63 года благодетельного примера, чем «Иван Денисович»? (А не появись «Иван Денисович» — ещё лучше: или вовсе не было при коммунизме лагерей, или русский народ не способен сам о них сказать.) Но пример Хрущёва — это то самое исключение, которое ещё строже подтверждает правило: из всех коммунистических правителей он единственный был свергнут внутренними партийными силами именно за то, что он единственный иногда оступался от коммунистической догмы в сторону человечности, уж Ленин-Троцкий-Свердлов-Молотов-Брежнев в сторону человечности никогда не делали ни шагу. Но и Хрущёв был верен марксизму в его главном сатанинском стержне: в истребительной ненависти к религии.

Тактические манёвры у коммунизма можно найти и покрупней, чем «Иван Денисович», — НЭП, обманное «восстановление» понятия родины и церкви Сталиным, «борьба за мир» во времена американской ядерной монополии, «пусть цветут сто цветов»,

«мирное сосуществование», даже уход из Австрии, теперь «разрядка», — но это всё показывает не изменение природы коммунизма, а его маневренную гибкость и беспощадность.

Полемизируя со мной, Таккер — да и Далин — избежали кардинального вопроса, а жаль: коммунизм («чистый», марксистский) — зло или нет? Способен он «подобреть и излечиться»? Угрожает он, как удав, удушением всему остальному миру, или нет?

От этого вопроса Таккер уклонился. Зато он спешит предупредить мир о несравненно большей опасности: «остро-злонакачественной форме национализма», которая «прорастает» разгромленный, обезглавленный, в порошок истёртый, при последних вздохах своей жизни русский народ.

3

Плодоносность политической теории определяется её практическими результатами. Теория о том, что коммунизм есть явление по своей природе национальное русское, что коммунизм и русский народ едины и надо воевать против них соединённо, есть не только повторение обезумелой гитлеровской тактики, которая в самой себе несёт поражение. Но она и в других отношениях питает иллюзиями вместо реальности: она заставляет видеть в нынешнем коммунистическом СССР наследника прежней России, **а значит** «нормальное» государство, которое стремится к обеспечению интересов своих и своего населения, — а потому с ним можно действовать традиционно, вступать в разумные переговоры, договоры, компромиссы, делить сферы влияния. А это **совсем не так**: никакое коммунистическое государство не заботится об интересах своего населения, и не зависит от его мнения, — и готово хоть полностью этим населением пожертвовать, чтобы достичь интернациональной победы. (Может быть, это виднее поблизости, на примере Кубы.) Поэтому с коммунизмом невозможен никакой реальный компромисс, его невозможно ни задобрить, ни подкупить, ни умиротворить, — и вереницей уступок западный мир лишь ухудшает своё положение. Советская держава отнюдь не преследует своей государственной выгоды, советские народы только страдают от бесконечной мировой агрессии и растраты капиталов и людских жизней по всем материкам, — но ничто, ни даже личность правителей не может остановить свойства коммунизма расширяться. Для коммунистических стран

нестерпимо само существование на Земле других стран с преимуществами экономики или свободы, невыносим этот завидный для населения пример другой жизни, — такие страны необходимо подавить и завоевать. Коммунизма нельзя объяснить на дипломатическом, юридическом, экономическом языках.

Но самый большой успех, достигнутый коммунизмом, — даже не военный, а пропагандный: что остальной мир верит в его смягчение и в «хорошие» варианты коммунизма. Что западный мир послушно принимает даже язык коммунизма: называет тираннические режимы Восточной Европы — «народными демократиями», подрывную войну по расшатыванию Запада изнутри — «разрядкой». В первые месяцы коммунистической Камбоджи по тону из Пном-Пеня иные западные газеты попугайски называли начавшийся там геноцид — «крестьянской революцией». Да советские агенты имеют свободу даже на страницах крупнейших американских газет высмеивать, что никакой советской агрессии не существует вовсе, расслаблять американцев ложью, что коммунизм — не интернационален и никому не угрожает. Напротив, западная читающая масса уже и поверить не может, что в Советском Союзе и в Китае — по сегодня всеобщее недоедание и нет главнейших товаров для населения, во многих снабжение по карточкам, — а считает это «пропагандой» врагов коммунизма. 35 лет идёт реальная война, вереница западных отступлений, отдано более 20 стран, — а на Западе все согласно называют эту Третью Мировую войну — «мирным сосуществованием». Меняются президенты, государственные секретари, эксперты Белого Дома и Госдепартамента, а новых идей нет, идеи всё те же: проводить всё более «тонкие различия» между разными коммунизмами, группировками их и лидерами, и балансировать на них, — то есть неуклонно сползать в пропасть ступенями уступок и капитуляций. (И ещё следующие, быть может, зреют сегодня в Государственном Департаменте.) Теперь мы слышим настойчивую «новую» идею: предупреждают бояться не того давящего катка, который прокатал уже полчеловечества и скоро прокатает вторую, — но бояться возрождения национальной России к своему излечению.

Новых идей нет. Мудрено им и вспыхнуть в самодовольной секулярности, замкнутой сама на себя.

Теория тонких различий в разных коммунизмах (или по Далину: «значительных вариаций внутри коммунизма», «вариаций, градаций и перемен», «более дифференцированного и сбаланси-

рованного понимания», «искусного подхода») в вопросах более крупных, чем продажа партии товара, мало сказать бесполезна, — она для Запада губительна. Перед лицом всеуничтожающей мировой силы, нависающей уже над самой Америкой, предлагается: верить, что коммунизм вдруг переменится к добру и откажется от агрессии; что существуют «миролюбивые советские руководители» (особенно — Брежнев); что есть принципиальные расхождения в Политбюро; что сменится их поколение — и всё смягчится... Надеяться, что коммунистические правительства Восточной Европы или Азии вдруг выйдут из повиновения Москве (пример Албании или Северной Кореи не слишком укрепил Запад, пример Румынии не принёс добра её народу), и для того подкупать их торговыми льготами (облегчая финансовое бремя СССР). Что расколется европейское коммунистическое движение (не слишком долго французская компартия играла в самостоятельность, и все компартии в момент оккупации готовно предоставят кадры для управления своими странами). Что вьетнамский, кубинский, ангольский, абиссинский и другие рассыпаемые по земле метастазные коммунизмы будут проводить свою национальную политику и охотно дружить с Соединёнными Штатами. Что коммунистическое движение увянет в исламе.

В цепи этих несбыточных надежд пока не осуществилась ни одна, кроме советско-китайского раскола, на котором и строятся теперь надежды и планы Соединённых Штатов. Уж Китай — мыслится, как будто это и вовсе не коммунистическая страна, как будто там нет тоталитарного угнетения своего миллиарда людей. А Китай — как Советский Союз в 30-е годы, — остро нуждается в западной технической помощи и для того старается изобразить собой приличное государство. Но в глубинах Китая, для народа, поддерживается прежняя неприязнь к Америке и отвращение к американскому образу жизни, — и поворот против Соединённых Штатов будет для властей осуществим в одну ночь. Да даже и сегодня, твёрдый во внешних действиях, как всякий коммунизм, Китай уже потребовал снять защиту с Тайваня, а вот и предложил американцам убраться из Южной Кореи. Придёт время, Китай взвесит: стоит ли ему сталкиваться с СССР, а не выгодней ли сговориться? (Нынешняя отмена культа Мао в Китае — уже шаг в этом направлении.) И в отношении Китая просчёт американской дипломатии всё тот же: его рассматривают как «нормальное» государство, а это только — корпус коммунистической агрессии, для которой сегодня просто ещё нет сил.

35 лет Соединённые Штаты и весь Запад идут дорогою добровольных поражений — треть столетия! это движение уже исторических масштабов, и оно не пройдёт даром. Соединённые Штаты начинали это отступление ещё при подавляющем превосходстве своих сил, а сегодня в Вашингтоне спохватились, что баланс мировых военных сил — уже против Запада, перевес весов пропустили по благодущию и самодовольству. Если не устояли тогда, — то теперь устоять труднее. Нагонять — труднее. Но самая большая слабость — не военная, а психологическая. От молодых людей-призывников и до руководителей государства все надеются на хороший исход и робеют принять самоотверженные и смелые решения, — до тех пор, пока это станет уже поздно: когда придётся биться за собственную территорию. Запад морально не готов к конфликту и борьбе, не готов дать себе отчёт, как далеко, если не бесповоротно, зашла опасность. Запад всё питает надежды на ложную «разрядку» — наиболее удобную форму затяжной победоносной войны для СССР. Советские вожди и предпочитают захватывать все мировые позиции именно в форме «разрядки», терроризма и государственных переворотов, — зачем им всеобщая война, особенно атомная? (Атомная война, я думаю, уже исключается — к счастью для человечества — из обоюдной стратегии: советские вожди становятся основательно уверенны, что завоюют мир и без неё, а Запад морально не сможет применить атомное оружие первым, — да и что такое был бы западный атомный «успех»? уничтожение не столько своих действенных врагов, сколько потенциальных союзников — порабощённых народов.) Под видом «разрядки» Западу ещё удастся оттягивать прямое столкновение, но с тем, что оно произойдёт в обстановке куда более тяжёлой для Запада. Скоро Соединённые Штаты узнают горячий и свою близкую южную границу: уже и так 20 лет прямо в американский живот наставлен кубинский пистолет. Теперь Соединённые Штаты ещё немного помогут, как уже и делается, никарагуанским и панамским революционерам, — уже палач Кастро похвалил их за это, — и Южный фронт против Соединённых Штатов будет готов. Кубинский пистолет, 20 лет беспрепятственно наставленный на Америку, каждый день демонстрирует миру и унижение американских принципов и степень американской слабости. Сегодняшняя американская внешняя политика — утлое, робкое лавирование, угождение и задабривание возможных врагов. (Но не поможет оно ни в Зимбабве, ни в Анголе, ни в Никарагуа, и атомное снабжение Индии не от-

вернёт её от СССР, пустой лотерейный номер.) И даже те, кто предлагают твёрдую позицию относительно коммунизма, удерживают иллюзию, что коммунизм можно обратить к внутренним демократическим реформам. Всерьёз — никогда.

Только если признать неотвратимость мировой опасности, интернациональность коммунистической задачи от самого начала, понять, что решающего конфликта с коммунизмом западному миру избежать не удастся и уже откладывать осталось недолго, — только в этом случае Запад способен будет перейти к открыто-принципиальной и гордой защите свободы во всём мире — от Кубы до Тибета, до Волги и до Берлина, а не сделок с угнетателями. Только вняtie в тотальную непримиримость коммунизма даёт единственную трезвую надежду на спасение человечества при стольких уже загубленных и сданных позициях. Зрение состоит в том, что **все** народы, порабощённые коммунизмом, от кубинского под вашим боком и до русского в противоположном бастионе, суть жертвы коммунизма и враги коммунизма, а потому — естественные ваши союзники. Запад так чуток к пожеланиям народов Третьего мира — и так глух к чаяниям народов коммунистических стран.

Единственная и глубокая политика Соединённых Штатов может состоять не в заигрывании с каждым переворотчиком в шатко-нейтральной стране, не в угождении каждому советскому эмиссару, который представляет не население, а свою правящую клику, не в игольчатом балансировании между мнимо соперничающими коммунистическими фракциями, — но: открыто стать на сторону всех порабощённых народов против поработившего их всемирного коммунизма. Открыть пропагандное наступление такой же силы и проницательности, как 60 лет ведут коммунисты против вас, и не трепетать, что в ответ будет браниться лживая «Правда». В моей статье я и поражался, как бездумно отбросил Запад мощную невоенную силу эфира, зажигающий эффект которой в коммунистической мгле даже не может вообразить западное сознание. Так можно установить прямой контакт с подневольными народами и способствовать росту их самосознания и высвобождения. (Радиостанции и телестанции Запада в их сегодняшнем виде совсем не готовы к такой роли. А, например, «русская секция» радиостанции «Свобода», несмотря на многолетнюю работу, из-за своей принципиальной чужести и даже враждебности русскому национальному сознанию катастрофически утерjala контакт с русским населением и русскими интересами.) Для всего этого

нужна крутая ломка традиционной межгосударственной «вежливости», но коммунисты давно её растоптали, да и в Тегеране мы видели цену ей.

Для спасения Запада из сегодняшнего положения нужно вырваться из рутинного процесса, нужны смелые решения выдающихся руководителей.

Я мог бы и не спешить со всеми этими аргументами. Уже становится ясно, что ни одна моя статья, ни десять моих статей, ни десятеро таких, как я, — не посильны перенести Западу наш кровавый выстраданный опыт и даже нарушить тот эвфорический комфорт, который царит в американской политической науке. Я мог бы не спешить, — потому что уже на пороге те события, которые сами бесповоротно откроют Западу его просчёты.

Июль 1980

Вермонт



Петр Карлович Паскаль

О ПРИЧИНАХ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА

(Беседа с Н. А. Струве)

26 июня 1980 г. проф. Петру Карловичу Паскалю исполнилось 90 лет. Но годы не имеют власти над тем, кто заслуженно считается самым крупным во Франции историком-славистом. Автор замечательной монографии об Аввакуме, небольшой, но ценнейшей «Истории России», ряда книг о Пугачеве, Достоевском, Народной религии, крестьянской цивилизации, а также двухтомных воспоминаний о пребывании в России (безвыездно с 1916 г. по 1931 г.), Пьер Паскаль не только блестящий и объективный историк, он одновременно и большой друг России и русских, которых он полюбил раз и навсегда. За годы преподавания в Школе Восточных Языков и в Сорбонне (с 1937 г. по 1960 г.) ему удалось передать это сочетание зыскательной объективности с благожелательным отношением к России целой плеяде нынешних профессоров-славистов.

Пожелаем юбиляру еще много лет жизни и плодотворных трудов.

Ред.

*
**

Н. А. Струве — Откуда пошло Ваше русское призвание?

Пьер Паскаль — Начал я по линии классической филологии, как и мой отец, который был профессором греческого и латинского. Но вот в моем парижском лицее — это было в 1903 или 1904 г. — ввели преподавание русского языка, с бурным, но кратковременным успехом. На второй год ученики все рассеялись и курс был упразднен. Я же продолжил, так как меня захватила русская тема; я ходил на уроки к пожилой революционерке-эмигрантке Вяльцевой, вот видите, еще помню её фамилию.

Н.С. — И она повлияла на Вас в политическом смысле?

П.П. — Нисколько, как впрочем и другие революционеры, которых я встречал, когда ходил покупать русские газеты. Я особенно любил Суворинское «Новое Время», его литературные приложения, газета была прекрасно сделана.

Н.С. — У Вас тогда уже сложились политические убеждения?

П.П. — О, да. И определенно правые. Я тогда много читал, проглотил не только всех русских классиков, но даже брал и пошире, вплоть до сочинений Екатерины Великой. Я выписывал книги из магазина «Нового Времени», русские книги стоили тогда страшно дешево: например, полный Пушкин, стихи, проза, даже

письма, стоил рубль. Полезно знать, что русские в то время могли читать прекрасные книги почти задаром. Русский язык помог мне поступить в Эколь Нормаль,* что тогда было редкостью. Я прочел «Историю России» Рамбо, благожелательную, но чуть чопорную, труды Валишевского. На письменном экзамене по истории выпал вопрос об эпохе Александра I-го. Я был здорово подкован, знал не только внешнюю политику, но и все тонкости внутренней. А потом я написал свою кандидатскую работу на смежную тему: Жозеф де Мэстр и Россия. Так из классика я постепенно превратился в русиста. Для работы над этим сочинением я и поехал впервые в Россию, через Киев. Киев мне страшно понравился: весна, прогулки вдоль широкого Днепра или по холмам, как это было прекрасно! Тогда я уже много понял в русской жизни; например, что русские не любят экономить (даже генеральские вдовы), в споре с молодой студенткой мне пришлось защищать религию! Тогда же я посетил с воодушевлением Лавру, имея рекомендательное письмо к русским священникам от аббата Кэне.**

Н.С. — Вы были католиком с молодости?

П.П. — Да, родители мои были неверующими, а я стал католиком под влиянием Боссюэта...

Н.С. — Из этих первых путешествий Вы и вынесли убеждение, что Россия, несмотря на авторитарно-монархический строй, была демократична? В недавней статье я привел это Ваше мнение, которое слышал на Ваших лекциях: Вы любили говорить, что дореволюционная Россия была более демократична, чем это часто думают.***

П.П. — Совершенно верно.

Н.С. — Но в каком смысле?

П.П. — Прибегнем к сравнению. Демократия не существует сама по себе. Демократия не означает эгалитаризм, а то, что народ не ощущает классовых перегородок. Демократический дух предполагает некоторую долю равенства, свободы. В дореволюционной России некоторых смущает сословная система, но ведь до-

* Высшая школа, подготовляющая профессоров для средних и высших учебных заведений. Чтобы поступить в нее, надо пройти через трудный, по малому количеству мест, конкурс по всем гуманитарным наукам. Из Эколь Нормаль вышли писатели (Жан Жиро-ду), мыслители (Р. Арон), а также государственные деятели (Помпиду) и др.

** Автор монографии о Чаадаеве.

*** См. «Вестник» № 130.

статочно было закончить высшую школу, чтобы получить личное дворянство, или по службе пройти несколько чинов, чтобы добиться и потомственного дворянства. Ни во Франции, ни в Англии такой системы не существовало, а это и есть демократия. В крестьянстве демократическими чертами можно считать «мир» и прямое голосование, как в Швейцарии: все главы семейства имели право высказывать свое мнение на собраниях мира. Власть мира была куда шире, чем власть теперешнего французского муниципального совета, ограниченного префектом и его подчиненными, в то время как «мир» принимал свои решения, не запрашивая губернатора. В России не было ни префектов, ни их подчиненных (*sous-préfet*), что, между прочим, сказалось во время революции.

Н.С. — У центральной власти не было приводных ремней?

П.П. — Да, центральная власть не была представлена во второстепенных городах.

А что касается личных отношений между людьми, их было куда больше, чем в Англии или во Франции.

Н.С. — Меньше социальных перегородок?

П.П. — Безусловно. В республиканской Франции буржуазная семья, которая выдает замуж дочь, непременно требует, чтобы муж принадлежал к той же среде, и по уровню и по богатству. Я сам видел, как убивалась «буржуазная» мать, что дочь её выходит замуж за учителя начальной школы. Для нее это было равносильно падению.

Н.С. — В России общество было более подвижно?

П.П. — Да, я не наблюдал желания выделиться из массы, добиться определенного социального уровня. Была солидарность с массой. Это еще не настоящая демократия, но все же демократические черты. Теперь это не так. На советской фабрике молодой инженер, вышедший из низов, ведет себя очень надменно с рабочими.

Н.С. — Это нас приводит к основному вопросу: почему произошла революция?

П.П. — О, причины разные!

Н.С. — Что Вы думаете о модных в наши дни теориях (особенно в третьей эмиграции, да и у некоторых американских историков), согласно которым революция как бы вписана искони в русскую историю?

П.П. — Русская революция крайне любопытное явление. Она произошла невзначай, хотя её давно ждали. Можно сказать, что

она не была сделана волевыми усилиями определенных личностей. Революционеры распространяли революцию, верили в неё, но относительно к определенному времени. Когда она произошла, они сами были застигнуты врасплох. Подготовленная издалека, она все же в какой-то мере была спонтанной. Революционеры её готовили, но когда она стала близкой, их-то и не было. Положение революционеров было незавидным. Большевики были разложены шпионами, были сильно деморализованы.

Н.С. — Это то, что описал Солженицын в «Ленин в Цюрихе»?..

П.П. — Да. Главный виновник революции — война. Кому была нужна эта война, разве что Царю, который хотел оставаться верным слову, данному союзникам. Он поступил здесь очень нелепо, это отнюдь не было обязательно.

Н.С. — Вы думаете, он был вправе подписать сепаратный мир?

П.П. — Конечно.

Н.С. — Но немцы победили бы тогда Францию...

П.П. — Он мог подождать, чтобы положение ухудшилось, прежде чем вступить в войну.

Н.С. — Тут Вы как будто тоже сходите с Солженицыным, он говорит, что Запад должен быть признательным России, и чувствовать себя виноватым.

П.П. — Да. Русский народ не понимал, для чего ему воевать. Говорили: ради славянских братьев! Но это годилось в 1877 г., а не в 1914 г.! Русское национальное чувство не определяется границами, оно идет от общей русской идеи, согласно которой Россия выше других народов. Ну, как у Достоевского, Россия — страна истинного христианства. А границами народ не интересуется. У русских мыслителей, у Евг. Трубецкого, во время войны появилось очень удачное выражение, характеризующее французский патриотизм как «зоологический национализм». Никогда не скажешь так о русском патриотизме, он совершенно иной. Для патриотизма, не связанного с защитой границ, война эта лишена была смысла. К тому же она длилась, и длилась, поражения шли за поражениями. Всего не хватало, амуниции, ружей, артиллерии. Другая причина поражения — в первых наступлениях, во время которых было перебито среднее и низшее офицерство. Наиболее подготовленная часть армии быстро исчезла. Её заменили свежееиспеченные студенты, часто левого уклона, и гораздо

менее преданные военному делу. Армия была деморализована. Стали сомневаться в генералитете, а затем в высшей власти. Поражения наводят мысль об измене.



П. Паскаль с женой в России (1924)

Н.С. — Тут роковую роль сыграли кадеты?

П.П. — Да, они одновременно хотели продолжения войны и революции, а это было несовместимо.

Н.С. — Милуков несет тяжелую ответственность.

П.П. — Да, он себя повел жалким образом: обвинять Царицу в измене мог только бессовестный политик! Не будь войны, не было бы и революции.

Н.С. — Это Ваше твердое убеждение?

П.П. — Да, доказать этого нельзя, но интуитивно я не имею ни малейшего сомнения. Не будь войны, Россия через несколько лет, после ряда реформ, стала бы самой демократической страной в мире в силу присущего русским демократического духа.

Н.С. — Вы стоите ровно на противоположном полюсе той теории, которая считает, что русские рабы от рождения и только и могут быть рабами или рабовладельцами.

П.П. — Что за глупости!

Н.С. — К сожалению, эта теория распространена не только среди третьей эмиграции, но и среди американской интеллигенции. Такой, как Пайпс...

П.П. — Ах, этот Пайпс! А слывет умным человеком! Нет, русский народ свободолюбив, он показал это в течение всей своей истории.

Н.С. — Вот, в «Вестнике» встал вопрос о старообрядцах. Их преследовали, но возьми они верх, не стали бы и они преследовать инакомыслящих?

П.П. — Да, была несчастная фраза у Иваска. Он в старообрядчестве ничего не понял. Он принял за чистую монету выражение Аввакума: — «разчетвертовать». Но Аввакум не был ни прокурором, ни судьей, да и фанатиком не был. У него имеются ровно противоположные высказывания. Он упрекал Николиан именно в том, что они проводят реформы насильно. Тогда уже началось истребление старообрядцев огнем. Тут-то Аввакум и воспротивился. Нет, Иваск кругом неправ.

Н.С. — Но ведь Аввакум страдал догматической узостью, даже в тюрьме анафематствовал своих же товарищей за еретические взгляды.

П.П. — Вы имеете в виду диакона Феодора... Это богословские споры, но в жизни он был другим. Собственно, у него был темперамент «южанина». Иногда на словах перебарщивал, часто себе противоречил. Но он умел приспосабливаться к самым трудным обстоятельствам, проявляя большую широту, к сыну например. Нет, фанатиком он не был.

Н.С. — Вы провели лет десять с Аввакумом, выбор этот был случаен?

П.П. — Да, совершенно случаен. Я познакомился с Аввакумом, когда работал в Институте Маркса-Энгельса, под руководством Рязанова. Дела у меня было мало, и я стал рыться в погребе, где складывались книги, забранные у «буржуев», тут я и напал на житие Аввакума. Прежде всего меня потряс его язык, а потом я подумал, не буду же я вечно жить в России, не пора ли мне приняться за научный труд.

Н.С. — Поначалу, примкнув к революции, Вы намеревались оставаться в России?

П.П. — В начале революции я чувствовал себя единокрушным с русским народом, который в феврале был целиком или почти на ее стороне. Февральская революция была единокрушна, это ее главное отличие. Но я предчувствовал, что будут «дни» (в отличие от Милукова), у меня было чутье, я предвидел, что настанет роковой день для Милукова, предвидел июльские дни.

Н.С. — Но октябрьские события не умалили Вашего доверия к революции?

П.П. — Октябрь — это не революция, это переворот. Революция произошла при белом свете. Октябрь — это ночь. Этим все сказано.

Н.С. — Все же, почему Октябрьский переворот, который Вы ощущаете как ночной, демонический, Вас не поколебал?

П.П. — Потому что я понял, что он только продолжение тех народных стремлений, которые не были удовлетворены. Народ хотел мира, мира во что бы то ни стало.

Н.С. — И земли...

П.П. — Нет. Крестьяне уже обладали 9/10 всех земель, пусть не всегда задаром, но тем не менее 9/10. Земельный вопрос не был столь остр, как некоторые утверждают.

Н.С. — Но крестьяне убивали помещиков, разоряли барские дома...

П.П. — Ну, кое-кого убили, больше награбили. Но иных помещиков крестьяне прятали, ухаживали за ними. Было по-разному. Один человек понял, как нужно действовать — это Ленин. Ленин понял, что народ хочет мира и обещал дать мир. Его противники не были достаточно лукавы, чтобы пообещать народу мир. Они остались верны союзникам, как Николай. Ленин продолжал революцию, и потому я не имел оснований быть против. Продолжалось это до апреля 1918 г. Заключив мир, насадив советы, Ленин уже не продолжал народной революции, а стал зачинщиком своей собственной. Тогда я и переменял мнение.

Н.С. — В этом Вы похожи на Блока. Он говорил, что революция длилась шесть месяцев.

П.П. — Я настаиваю на апреле. Тогда и народ не обманулся. Помню молодого солдатука, сказавшего мне: «Вот старый порядок вернулся». Ленин заявил: «Теперь хватит шуток, за работу». Вот мой солдатука правильно эти слова понял, я, кстати, тоже.

Н.С. — Вы сказали, что были единодушны с народом в феврале 17 года, а в апреле 18, весь народ ли понял, что революция делается отныне против него?

П.П. — Да, но постепенно. Заключен мир, установлены советы, все должно было бы быть прекрасно, но вот уже советы не похожи на себя: возвышаются какие-то личности, которые всем заправляют, приказывают крестьянам...

Н.С. — В 1918 и 1919 г. вспыхнуло много крестьянских восстаний. Как Вы их расцениваете?

П.П. — Ленин стал натравливать крестьянскую бедноту на зажиточных крестьян. Тогда еще допускали середняков. Но самых работающих крестьян травили.

Н.С. — Можно ли считать, как утверждают некоторые, что крестьянская масса была сплошь консервативна, чужда всяким формам социализма, не поддавалась влиянию социалистов-революционеров?

П.П. — Нет, это не верно. Социалисты-революционеры имели свою главную опору в крестьянстве. Это остатки марксистских взглядов: крестьяне, мол, консервативны, потому что собственники...

Н.С. — Верно ли, что революция была совершенно чужда крестьянству, что оно ей неукоснительно противостояло?

П.П. — Нет, крестьянство не было слишком привязано к старому строю. Оно бы не пошло против революции, если бы его оставили в покое.

Н.С. — Вы хорошо знали крестьянскую среду?

П.П. — Да, я её описал в «Моей деревне». До революции крестьяне работали, ели досыта, не было искусственного неравенства. И помещики были куда лучше иных председателей колхозов, даже при крепостном праве.

Н.С. — А в чем, по Вашему, причины неудачи Белого движения?

П.П. — Белые вели себя нелепо, они хотели восстановить старый порядок, крестьяне это почувствовали. Вот с немцами случилось то же самое. Освободили крестьян от колхозов и совхозов, не много осталось бы в наши дни большевиков.

Н.С. — А НЭП?

П.П. — НЭП для меня конец всего, признание Лениным полной своей неудачи. По мне, Ленин от НЭПа и умер. Другие, как

Томский, застрелились. Я не покончил собой, но перестал абсолютно интересоваться революцией.

Н.С. — А когда Вы приняли решение покинуть Россию?

П.П. — Оно сложилось постепенно и в силу личных соображений. Я сначала закончил свою работу об Аввакуме... В Париже защита прошла хорошо, за исключением одного члена жюри, который был возмущен, что я сравниваю Аввакума с Пор-Роялем. Пор-Рояль — верх изощренной культуры, а Аввакум — дикарьство.

Н.С. — Вот мы и вернулись на круги своя. На Западе часто считали, и до сих пор считают, что Россия — варварская страна. Вы бывали в России до революции, жили там вплоть до страшных лет коллективизации, как по Вашему, Россия — варварская страна, не имеющая ничего общего с Западом, или она, как и все другие страны, принадлежит к той же истории?

П.П. — Вопрос поставлен ясно и круто. Варварская, ни в коем случае, меня коробит такое определение.

Н.С. — Но Вы его услышали во время защиты диссертации...

П.П. — Мой оппонент и был варваром, совершенно глухим ко всему, что касается России.

Определить Россию в нескольких словах нелегко. Отбросим варварство и все, что с этим связано. Меня в России привлекла больше всего культура, и там, где её обыкновенно не предполагают: в крестьянстве. В России меня заинтересовали не европейские, западные начала, не подражательное... Россия Петра Великого меня мало привлекала...

Н.С. — Все же, все же... а Пушкин, а русская литература?

П.П. — Ну, об этом можно спорить. Крестьянская культура... некоторые утверждают, что я её выдумал, что своей культуры у крестьян не было, всё ими было заимствовано у высших классов. Я с этим не согласен, и как мне кажется, в некоторых моих книгах я достаточно убедительно об этом говорю.

Н.С. — По Вашему, крестьянская культура существует на всём протяжении русской истории.

П.П. — Вот именно. Крестьянская культура в своем роде законченная культура, в ней ничего нет ущербного. Она содержит в себе и юридическую сторону, как например «обычное право», которое было в ходу до революции. Это целое «уложение» прав наравне с другими, в котором предвидятся многие случаи

жизни. Имеются даже сборники обычного права в разных местностях, которые были изучены специалистами.

Н.С. — Можно ли судить о крестьянах по Чеховскому рассказу «Мужики»?

П.П. — Ни в коем случае! Чехов обыкновенно извращает вещи. Он очень неправильно описал интеллигенцию, он интеллигентов превратил в марионеток, слабых и подлых. А взять хотя бы земских деятелей, они были куда действеннее, чем государственные чиновники. Я не люблю Чехова, по мне он лжет.

Н.С. — В крестьянской культуре было и эстетическое начало?

П.П. — Да, и это как раз и позволяет говорить о цельности этой культуры.

Н.С. — Которую даже крепостное право не испортило?

П.П. — Даже в самую жестокую пору крепостничества, под конец, крестьяне сохраняли свой юмор. Они подсмеивались над барином, над его европейским костюмом.

Н.С. — А вот как объяснить, что во время революции часто крестьяне отказывались от религии?

П.П. — Это чисто искусственное явление, сверху поощряемое...

Н.С. — Кто же разрушал церкви в 20-х годах?

П.П. — Кто угодно, но не крестьяне. Когда Красная Армия приходила, оцепляла церковь, сваливала колокола, что могли сделать крестьяне?

Н.С. — Но Красная Армия сама же состояла из крестьян?

П.П. — В армии солдаты не имеют личности, а уж тем более социальной принадлежности; крестьянин в армии превращается в раба...

Н.С. — А в эмиграции с кем Вы были близки?

П.П. — Бердяева я еще знал и в России, в один из его «периодов». А у него было много периодов. Тогда это был период мистический, апокалипсический, долго он не длился, но вылился в «Философию неравенства», с которой я не целиком согласен.

Н.С. — С Бердяевым никогда нельзя быть согласным вполне...

П.П. — Да, я с ним всегда спорил. Когда мы с женой приехали из Советской России, он меня расспрашивал, я ему рассказывал все как есть. Он был огорчен: «Значит Вы ничего не нашли

там положительного». — «Ничего. Все испорчено, исковеркано. Даже образование, оно не приводит к свободной мысли, а к забиванию мозгов». Но я его не убедил.

Н.С. — Тогда начинался его романтический период...

П.П. — Это было в 1933 г. Обыкновенно он мыслил правильнее. С его идеей о том, что не следует выбирать между коммунистами и капиталистами, я согласен. Потом наступила война. В начале он был философски спокоен, но когда Гитлер напал на Россию, он вдруг сделался бешеным советским националистом. Тогда я перестал его видеть. Он был наивен как ребенок. Вокруг него была банда советизанствующих, которые его убеждали в разных сказках. Он гордился «Катюшами»! Но под конец жизни все же отрезвел.

Н.С. — Последний вопрос. Вы создали во Франции целую школу славистов, отличающуюся своим благожелательным отношением к «вечной» России. Вы зачинатель этого подхода, или он существовал и до Вас?

П.П. — Я думаю, такое отношение было для меня естественным, но конечно я обязан и своим предшественникам, Леруа-Болье, чей трехтомный труд до сих пор не устарел, Буайе, Легра, которые, каждый по-своему, любили Россию. А такой человек как аббат Грасье,* тот даже преувеличенно любил Россию, это был подлинный славянофил...

* Автор монографии о Хомякове.

Борис СУВАРИН

ОТВЕТ СОЛЖЕНИЦЫНУ

В итоге ни один из 136 немецких документов не компрометирует Ленина, всего лишь один упоминает «Правду» как получившую фонды, посланные разными каналами и под разными отправителями, т. е. получатели не знали от кого. Солженицын придает большое значение сообщению от фон Кульман Кайзеру, сообщению смутному и позднему (декабрь 1917), написанному второстепенным секретарем (Берген), это типично обыденная бумага, исходящая от чиновника, который хочет без всяких доказательств набить себе цену. А «Правда» не появлялась с июня 1917 г. Кульман этого не знал, как не знал и Кайзер, как продолжает не знать этого Солженицын.

Парвус получил от Wilhelmstrasse в 1915 г. миллион рублей: он уверяет, что послал их в Петроград, значит не Ленину, который жил в Швейцарии. Я объяснил, что на самом деле он «слопал лягушку». И Солженицын признает, что после этого Парвус не получил ни одного пфеннинга. Ну, как?

С другой стороны, биография Парвуса, широко использованная Солженицыным, совершенно обеляет Ленина и его сторонников (стр. 181). Воспоминания Шляпникова тоже. Историк Л. Шапиро, заслуживающий доверия, насчитал около сорока большевистских газет, а не сотни, как опрометчиво сказал Солженицын. И это все малюсенькие листочки, временные, на 2 или 4 стр., многие из них выходили только несколько дней. Социалисты-патриоты всех оттенков издавали в сто раз больше.

Вопреки утверждениям Солженицына, противники Ленина располагали огромными суммами. Я цитирую книгу Olivier Radkey, который уточняет цифры: Екатерина Брешковская, «бабушка, русской революции», располагала крупными средствами для поддержки противобольшевистской прессы.

То, что говорит Солженицын о пребывании Ленина в Швеции, где он был в течение 32 часов, чистая выдумка. Парвус открыто пошел в гостиницу, откуда Ленин, не желая его видеть, послал ко всем чертям. Большевистская фракция, соединившись,

* «Histoire», № 25, juillet-août 1980, p. 110-111.

создала Иностранное бюро информации в Стокгольме и поручила его тройке: Воровскому, Ганецкому и Радеку. Все, о чем говорит Солженицын, сводится к небольшому бюллетеню, на машинке напечатанному женами Ганецкого и Радека. Вот и всё.

Ленин, в своих писаниях, ругал Парвуса последними словами. Я его цитировал. Это исключает всякие отношения между ними, даже если беллетрист им придает вымышленные разговоры. Солженицын забыл себя перечитать, он отрицает, что говорит о пресловутом вагоне: он о нем говорит на стр. 181, 184, 185, 188 французского издания, точнее на стр. 186 (пломбированный вагон) и стр. 191 (запертые купе).

Неверно, что Анжелика Балабанова сопровождала Ленина.* Она была во втором поезде, состоящем из 240 лиц, упрекавших Ленина, что он уехал слишком рано. Все, что утверждает Солженицын, так резко неверно, за исключением упрека в мой адрес, что я считаю законным возвращение 400 русских, торопившихся домой. Действительно, я считаю законным этот возврат ссыльных единственным тогда возможным путем, причем они не поступились ни одним из своих прав, ни одним из своих обязательств.

В свою очередь я упрекаю тех, кто их упрекает. И считаю возмутительным, что из Ленина делают кинематографическую звезду, невзирая на других 400 путешественников, к которым относятся с презрением, в то время как в марте 17-го Ленин был всего только социалистом среди многих других.

Остаются 29 телеграмм, не зашифрованных, которые говорят о коммерческих делах, подробно описанных в книге Michael Futrell: *Northern Underground*. Евгения Суменсон, которую Солженицын обвиняет, представляла известную швейцарскую фирму Нестле, между прочим. Шум, поднятый всей прессой (несуществующей по Солженицыну), вызвал судебные преследования, которые ничем не кончились.

Так кончатся, я полагаю, Солженицынские нападки на историческую правду во имя прав литературы.

Борис Суварин

* Прим. Переводчика.

В своей полемике с А. Солженицыным Б. Суварин пользуется нечестным приемом: он приписывает Солженицыну неточности французского перевода, хотя и знаком с русским текстом. Так, словосочетание «пломбированный вагон» ни разу не употребляется Солженицыным, но появляется под пером переводчика. В оригинале не сказано, что Балабанова сопровождала Ленина, но переводчик допустил двусмысленность.

О ФРАГМЕНТАХ г. СУВАРИНА

Я затрудняюсь иначе определить жанр сообщения г. Суварина по поводу моего открытого письма к нему в «Histoire». Как прежде в своей пространной критике моей книги «Ленин в Цюрихе» он миновал главные вопросы её, так и в отклике на моё письмо снова минует их, — и представляет в возражение не концепцию, но несвязанные фрагменты весьма разной значимости.

В каком же смысле он настаивает и сейчас на **законности** переезда через воюющую Германию русских социалистов (тех и только тех, которые имели целью вывести Россию из войны)? Законность — по каким законам? Признаёт ли г. Суварин сегодня, что по законам всех тогдашних союзных государств это была государственная измена, а не просто 400 революционеров «торопились домой»? Он прямо пишет, что считает их безупречными, — стало быть, по законам Коминтерна. Вот этот реликт и делает невозможным нам с г. Сувариным найти общий язык: для России Коминтерн был вампир, выпивший её кровь и соки. «Ранняя» советская власть была такая же грязная и жестокая, как и «поздняя».

Парадоксально звучит возмущение Суварина, что из всех тех 400 «почему-то» выделили Ленина «как кинематографическую звезду». Он выделился сам своим беспредельным цинизмом, лицемерием, лукавой хваткой — не как «звезда» вовсе, сравнение не подходит, но как крупнейший злодей русской и мировой истории. Именно Ленин (и Троцкий), а не кто-нибудь другой возглавили бандитский октябрьский переворот против беззащитной русской демократии, а затем установили массовый террор. Как может г. Суварин употреблять слово «обелён» по отношению к убийце миллионов, в сочинениях которого с гордостью печатаются его приказы захватывать невинных людей заложниками и расстреливать их? Ленина (как и Троцкого) уже ничто не «обелит» до конца человеческой истории.

К счастью г. Суварин не отрицает подлинности 136 документов, напечатанных Земаном (Zeman). Но он даёт им изумительную трактовку: ни Ленин, ни газета «Правда», ни, очевидно, и все большевики ни в чём не скомпрометированы! — они просто «не знали, от кого» текут им миллионы! Да любой средний читатель, кто беспристрастным взглядом прочтёт эти документы (а еще сколько личных и самых важных контактов не попало в них!), увидит решающее материальное вмешательство Германии

в русскую революцию на стороне большевиков — и что помощь эта принималась жадно и радостно. Не отрицает Суварин и 29 скандальных большевистских финансовых телеграмм 1917 года, — но обороняется на том, что «судебные преследования ничем не кончились». Да, из-за безграничной нерешительности и бессилия Временного правительства, — но это никак не очищает большевиков до уровня ягнят. Нельзя без смеха прочесть у Суварина объяснение Иностранного Бюро ЦК в Стокгольме: три перво-классных функционера-интригана большевистской партии оставлены в Стокгольме для того, чтобы две их жены напечатали на машинке один бюллетень. Через этот-то стокгольмский центр и осуществлялась в 1917 году парвусовская и непарвусовская связь с питающими германскими финансовыми источниками (по Эд. Бернштейну — 50 миллионов золотых марок). И на эти деньги большевики становились на ноги и осуществляли именно такие тиражи сотен газет и листов, которые в 3 месяца разложили 10-миллионную армию, что и требовалось. Эта германская помощь большевикам продолжалась и после октябрьского переворота — все месяцы до убийства Мирбаха. (В последний месяц еще было назначено для германского посольства в Москве 40 миллионов марок.)

Тайная встреча Парвуса с Лениным в Берне, отрицаемая Сувариним, подтверждалась даже ранней советской печатью («Бакинский рабочий», 1 февраля 1924). Что даты перемещения Ленина по Швеции в апреле 1917 зачем-то фальсифицированы советскими историками — показал Ф. Платтен-младший («Volksrecht», апрель 1967, серия статей). Не только новая встреча с Парвусом или контакты через Ганецкого и Радека должны были быть утаены, но и сам Парвус, прежде подробно изучаемый в советских марксистских курсах как видный социалист, затем во-все выброшен как несуществовавшая личность, также и из 2-го издания Большой Советской Энциклопедии.

Поскольку г. Суварин имеет преимущество знания русского языка, он мог бы и лично убедиться в русском издании «Ленина в Цюрихе», что слово «запломбированный» не употреблено **ни разу** — и не предъявлять мне этого обвинения. И если Балабанова «проделала через Германию ленинский путь» — это ни на каком языке не означает, что — в одном вагоне с ним.

Так постепенно г. Суварин мог бы перестать считать меня сочинителем-беллетристом, но заметить, что во всех моих книгах я нахожусь у истории на службе.

Темира ПАХМУСС

ИЗ АРХИВА ЗИНАИДЫ НИКОЛАЕВНЫ ГИППИУС

Письма к Е. М. Лопатиной и С. Л. Еремеевой

Екатерина Михайловна Лопатина (сестра философа Л. М. Лопатина) и З. Н. Гиппиус познакомились еще в Петербурге, задолго до революции 1917 г. Искренне привязанные друг к другу, они всегда стремились до мельчайших подробностей, с предельной ясностью осветить свой внутренний мир в письмах и при личных встречах. Они часто виделись в Клозоне, на юге Франции, где Лопатина, вместе со своей подругой, Ольгой Львовной Еремеевой, учредила на свой счет санаторий для больных детей и руководила им в течение многих лет. Гиппиус и Д. С. Мережковский постоянно гостили у «сестер», которых Гиппиус горячо любила и которые были близки ей по духу, как и она — им. Естественно, что они много говорили о русской интеллигенции в изгнании, о трудной жизни русских эмигрантов во Франции, о христианском учении, христианском подвиге и о Православной Церкви. По этим письмам нетрудно проследить систему мысли Гиппиус и ее религиозные концепции. (Подробное их изложение можно найти в уже опубликованных дневниках Гиппиус, например, **О Бывшем**,¹ **Коричневая тетрадь**,² и **Выбор**?³)

Неоспоримая ценность писем (и дневников) Зинаиды Гиппиус заключается в том, что они воссоздают мировоззрение поэта, чья метафизическая направленность вызывала полную переоценку всех духовных ценностей на пороге нового века, вплоть до бурного расцвета религиозного ренессанса в России. В письмах мы находим главную, жизнеутверждающую мысль Гиппиус, что воля людей, их «параллельное действие» и общая молитва откроют им то, что еще скрыто в уже существующем образе «живого Иисуса Христа» и «живой Святой Троицы» в сердце каждого верующего. Одной из самых важных для нее самой тем была ее идея о двух мирах — «этом» и «том», двух бытиях, двух плоскостях, которые, существуя друг с другом и друг в друге, образуют органическое единство, одно целое. По мнению Гиппиус, «до» и «после» (смерти человека), «теперь» и «потом» не существуют, и «соединение, соприкосновение двух миров, может быть, находится в н е этих категорий. «Тот» мир может быть и «здесь»... И даже по всем вероятностям здесь: мы видим воочию, что избравшие путь, святы христианства... у ж е были там, будучи здесь. **Здесь** дается им все, на **здесь** пролегающем пути»,⁴ — писала она в дневнике **Выбор**? «Здесь» и «там» понятия «пространствен-

ные», и от них нужно отказаться, чтобы стройнее видеть мироздание. Человеческое страдание происходит из «разности двух миров, из реальности бытия обоих и сосуществования в непонятном (мистическом) единстве в человеке».



Зинаида Гиппиус

Иисус Христос, а через Него вопрос христианства и христианского спасения, неразрывно связан со страданием и с человеческой трагедией. Но «страдание усиливает счастье любви».⁵ Любовь, как проявление высшей реальности, нетленна, неуязвима. Любовь — это «свет немеркнущий, перед которым свет солнца — не естественный, а темный». Люди в страдании близки к спасению, «то есть они скорее могут увидеть путь спасения от страданий, победы над ними верной и окончательной».⁶ Христианство дает человеку высочайшую свободу: «Христос не зовет на свой «путь» — Он его открывает... Основ-

ное начало христианства и есть свободное пленение, иначе — любовь».⁷ Путь к этому счастью открыт для каждого, и первая обязанность Церкви, по мнению Гиппиус, это — открыть человеку глаза на этот путь, «чтобы каждый услышал, увидел, что путь открыт, обратился — и спасся».⁸ (В благодарность Гиппиус за ее «разрешение проблемы любви» Андрей Белый посвятил свою Четвертую симфонию, **Кубок метелей**, Николаю Метнеру, «внушившему тему симфонии, и моему дорогому другу Зинаиде Гиппиус, разрешившей эту тему».⁹ Как и Достоевский, Гиппиус твердо верила в единство «того» и «сего» миров и в потенциальную возможность Царства Божия на земле. Идеализм Гиппиус отметил К. М. Вендзягольский, знавший Зинаиду Гиппиус в Варшаве в 1920 г. В своем письме от 16-го декабря 1969 г. к автору данного предисловия Вендзягольский сообщает о «поэтическом, почти на границе фантазии, идеализме» поэта. «Мне уже и тогда, — продолжает Вендзягольский, — было ясно, что З. Н. является человеческим феноменом, одаренным нечеловеческой способностью воспринимать явления вне трехстепенного статута... Все, исходящее из ее личности, было на очень возвышенном интеллектуально-мистическом уровне».

В этическом и религиозном аспектах идеалистической философии Гиппиус концепция свободы играет большую роль. По убеждению поэта, только христианство предоставляет человеку возможность познать высшую форму свободы. 8-го ноября 1893 г. двадцатитрехлетняя Зинаида Гиппиус записывает в свой дневник *Contes d'amour* следующее: «Мысли о Свободе не покидают меня. Даже знаю путь к ней. Без правды, прямой, как математическая черта, нельзя подойти к Свободе. Свобода от людей, от всего людского, от своих желаний, от — **судьбы...**»¹⁰ Во имя достижения этой «новой священной Свободы», Гиппиус стремилась обратить внимание своих пассивных в религиозных и духовных вопросах современников, полностью ушедших в личный, узкий мир, на иной путь. Считая своим долгом открыть людям глаза на высшие ценности земной жизни — свободу, равенство, любовь, — Гиппиус отошла от прежних единомышленников для встречи с новыми, потенциально способными к духовному возрождению людьми. В течение двух первых десятилетий двадцатого столетия, вместе с Мережковским и их долголетним другом и соратником, Д. В. Filosoфoвым, она пыталась пробудить «новое религиозное сознание». Целью этой деятельности было создание единого человеческого общества внутри соборной Церкви как основания будущего Царства Божия на земле.

Гиппиус различала три фазы в истории человеческого прошлого, настоящего и будущего. Три фазы представляют собою три различных царства: Царство Бога Отца, Творца — Царство Ветхого Завета; Царство Бога Сына, Иисуса Христа — Царство Нового Завета, настоящая фаза в религиозной эволюции человечества; и Царство Святого Духа, Вечной Женщины-Матери — Царство Третьего Завета, которое откроется

человечеству будущего. В Царстве Ветхого Завета произошло откровение силы и власти как истины; в Царстве Нового Завета нашло себе место откровение любви как истины; Царство Третьего Завета проявит себя в любви как свободе. Третье и последнее Царство, Царство Третьего Человечества, разрешит все существующие поныне антитезы: пол и аскетизм, индивидуальность и общественность, рабство и свобода, атеизм и религиозность, ненависть и любовь. Все противоречия исчезнут в синтезе единого Царства, Царства апокалиптического христианства, таинственного и чудесного слияния Земли и Неба. Тайна Земли и Неба, плоти и духа, найдет свое разрешение в Святом Духе — союзе Земного и Небесного, воплощенном Девой-Богоматерью. Трое в Одном претворятся в реальность, и христианство найдет в этом претворении свое завершение. Бог Отец и Бог Сын соединятся в Святом Духе, в Вечной Женственности-Материнстве.

Зинаида Гиппиус критически относилась к историческому христианству, которое, по ее мнению, не в состоянии открыть связь, существующую «между первой книгой Библии, книгой Бытия, и последней — Апокалипсисом. Конец и Начало, Ветхий Завет и Новый Завет, древо познания и древо жизни должны явиться нам в последнем и современном соединении»,¹¹ — утверждала Гиппиус. Человек должен «понять тайну непорочного зачатия, девственного материнства, тайну пола до конца — до конца мира — и не теоретически, не отвлеченно, богословски, — а пламенно, даиственно, жизненно. Историческое христианство не разрешает, а лишь упраздняет этот вопрос — отсечением плоти, всепоглощающим, односторонним аскетизмом».¹² Человек должен постигнуть, что девственное материнство, вечная женственность, Небесная Мать, завершает Святую Троицу. Гиппиус неустанно подчеркивала значение Святой Троицы, Трех в Одном, отражающиеся на всех аспектах жизни человека на земле. В **Выборе**? она отдает дань христианским Церквам за их продолжение дела Христа на земле: они открывают для каждого индивидуума в отдельности «путь к Истине», показанный Иисусом Христом всем, кто хочет следовать по этому пути. Но христианские Церкви, утверждала Гиппиус, не открывают этих дверей для всего мира в целом, т. к. они не открыли еще одной большой тайны — «сокровища Христа», Божественную Троицу. «У нас есть пока только одна догма, — сетует поэт. — Конечно, эта догма представляет собою большую ценность. Но что означает такое обладание догмой, если мы не видим и не чувствуем этого сокровища? Если оно спрятано за семью замками, если мы просто не владеем им?» В **Выборе**? она делает и свое заключение — «Задача будущей Церкви — открыть тайну Святой Троицы — пламенно, даиственно, жизненно».

Зинаида Гиппиус имела в виду религиозную революцию, духовную метаморфозу человека во имя Третьего Царства. В этом процессе человек, она надеялась, воспримет Бога как Отца и Мать; Богоматерь как Святой Дух и Святую Плоть; и

Иисуса Христа как Отца и Святого Духа, Трех в Одним. Христианские Церкви, по мысли Гиппиус, существовали до сих пор, придерживаясь исключительно Христа и упоминая Бога Отца и Святого Духа только в обрядах. Но Иисус Христос Один, продолжает она, «лишь правда, жизнь и путь к Истине».¹³ Настоящая Церковь не может «начинаться и кончаться Христом», т. к. Он может быть только с Богом Отцом и Святым Духом в едином завершении. «Настоящая (апокалиптическая) Церковь — Церковь такого завершения».¹⁴ Цель всего исторического развития вселенной — это конец человечества и мира в их прежней форме через Второе Пришествие Христа как Трех в Одним. Он объединит человечество в любви и гармонии, как одну семью. В духовной эволюции человечества наступит время апокалиптической Церкви не как храма, а как нового, внутреннего переживания Бога в человеческом сознании и в человеческой душе. Во имя ускорения этого процесса Церковь Трех Апостолов — Петра, Павла и Иоанна — должна соединиться для «оживления» существующей Церкви. Новая, живая и жизнеспособная Церковь, в основании которой будет заключено внутреннее переживание человеком Иисуса Христа, будет единой настоящей, вселенской Церковью.

Гиппиус дает более полное определение своей концепции христианства в статье «Великий путь», где выражает мнение, что историческая христианская религия представляет собою лишь одну часть истинного христианства. «Настоящее, общечеловеческое христианство связано органически со Святой Троицей в Одним».¹⁵ Христианство начинается, развивается и завершается в процессе течения промежутков времени, связанных друг с другом и следующих один за другим в логическом порядке — «в отдельном и волсовом» развитии человека. Бог дал человеку свободу выбора — погибнуть или спастись. Завершится ли этот процесс абсолютным отрицанием, ничто или достижением высшей ступени человеческого Бытия — абсолютным утверждением — зависит от силы и интенсивности человеческой воли и от ее связи с всеобщей, Божественной волей. В дневнике **Выбор?** находится следующая запись «Не д л я о т к а з а от чего бы то ни было выбирается путь христианства, а д л я п о л у ч е н и я чего-то, что тебе дороже всего, от чего приходится попутно отказаться. Вопрос Выбора — вопрос **положительных ценностей**».

Всю свою жизнь Гиппиус живо интересовалась католической верой. В дневнике **Несколько комментариев к комментариям**,¹⁶ например, она признается в своем сочувствии католическому мистицизму: «Католической мистике я сочувствую, лозанскому движению тоже, конечно. Храмовое благочестие тоже неплохая вещь, но мне более чужда. Что касается обучения христианской жизни примером, то я не могу, т. к. сама не чувствую себя ведущей такую примерную христианскую жизнь». Гиппиус считала, что ее назначение в религиозной жизни состоит в создании Главного,¹⁷ «Церкви как евангельской, христианской религии Плоти и Крови», которая должна

включить в себя и католическую Церковь. В свою бытность в Париже, в 1906-1908 гг., Гиппиус и Д. С. Мережковский общались с католическим духовенством, в частности с Abbé Portal, ректором Парижской семинарии, и Abbé Loisy, принадлежавшими к движению, которое Гиппиус обозначала как «борьбу за христианство с исторической церковью»,¹⁸ с такими представителями модернистского движения, как Père Labertonnière и его секретарем Louis Canet, оба из Annales de philosophie chrétienne, и с Бергсоном. Анатолий Франс тоже был собеседником Мережковских в Париже. Религиозные вопросы и метафизические концепции обсуждались на этих встречах католического духовенства и модернистского движения, но Зинаиде Гиппиус и Мережковскому не удалось приобрести среди них новых сподвижников для Главного. Гиппиус приходит к выводу, что Католичество и Русское Православие не могут еще слиться и что если бы они и могли соединиться, их союз не мог бы создать «нового религиозного сознания», Главного, необходимого для рождения новой, вселенской Церкви. Но даже после этого открытия Гиппиус не утратила своего интереса к католической религии.

В ожидании Царства Третьего Завета на земле Гиппиус вместе с Мережковским создала Религиозно-Философские собрания в Скт-Петербурге, журнал **Новый путь** (Скт-Петербург, 1903-1905) и Главное, которые сыграли исключительную роль в духовной и художественной жизни русской северной столицы в начале века. В процессе развития Главного Гиппиус и Мережковский привлекали к себе представителей русского духовенства, выдающихся художников и писателей, философов и политических деятелей. Епископ Сергей и Митрополит Антоний из Александро-Невской Лавры, А. В. Карташов и В. В. Успенский из Санкт-Петербургской Духовной академии; Андрей Белый, Александр Блок, Мариетта Шагинян, Н. М. Минский-Виленкин, А. Л. Волынский-Флексер, Д. В. Филосовов, В. В. Гиппиус, В. Ф. Нувель, Лев Бакст и Александр Бенуа примкнули к деятельности Гиппиус в Главном. Бердяев, В. В. Розанов и В. А. Тернавцев разделяли многие из взглядов и действий Мережковских. Среди их политически-мыслящих сподвижников находились Б. В. Савинков, И. И. Бунakov-Фондаминский и Г. В. Плеханов. Все они, в той или иной степени, способствовали развитию Главного — на пути к Человечеству Третьего Завета.¹⁹

Для Зинаиды Гиппиус годы 1900-1917, годы Главного, были самыми значительными во всей ее творческой жизни. После революции 1917 г. она перестала относиться критически к существующей Русской Православной Церкви, видя в ней «страдающую» Церковь всех русских. «Я с ними [со всеми русскими верующими]», — писала она в 1922 г. «Я совершаю Евхаристию с ними в моих мыслях. Я знаю, что они сохраняют свою верность, как я сохраняю мою веру». «Я сливаюсь, вливаюсь в главное течение Церкви с е г о д н я, и если что-нибудь во мне, сегодняшней, не сливаемо с ним — я это от себя отре-

заю»,²⁰ — сообщала она в письме к Бердяеву. Тем не менее, она сохранила свою твердую веру, что воплощение Главного произойдет в будущем: «Воплощение этого мирозерцания в словах и, главное, в жизни — необходимо, и оно будет. Не под силу нам — сделают другие. Это все равно — лишь бы было». К этому заключению Гиппиус приходит под конец жизни, как об этом повествуют вышеназванные дневники-записи ее собственных религиозных размышлений. Письма Зинаиды Гиппиус в Клозон следует читать в свете ее философских исканий.

Письма ее, кроме того, проливают свет на яркую индивидуальность поэта, ее внимательное отношение к близким ей по духу людям, желание им во всем помочь, беспокойство по поводу многочисленных русских религиозных группировок в Париже, искажающих лик Русской Православной Церкви; ее патриотизм, нетерпимость по отношению к большевикам, глубину ее метафизических воззрений и лояльное отношение к России — «без большевиков». Письма в Клозон также передают зоркое внимание поэта ко всему, происходящему в русской эмиграции в Париже, включая пассивность, нужду и безденежье русских эмигрантов. Художественное достоинство этих писем заключается в точной, выразительной речи Гиппиус и ее многочисленных коротких характеристиках людей, которые предстают перед глазами читателя как «живые лица». Ее изображение той части русской интеллигенции, которая сыграла большую роль в истории России, имеет немалое историко-литературное значение, т. к. они дают возможность непосвященному читателю увидеть некоторые «как?» и «почему?» русской революции 1917 г.

В подготовке писем к печати я не сделала никаких поправок в стиле, орфографии и системе пунктуации Зинаиды Гиппиус. Комментарии о более известных писателях, как, например, И. А. Бунин, гораздо короче, чем о менее известных. Но и тут я не имела в виду дать исчерпывающие био-библиографические сведения. Цель этих комментариев — облегчение чтения и понимания писем Гиппиус для читателя, которому недостаточно известны атмосфера и события в жизни русской эмиграции в Париже в 1920-1939 гг.

Письма Зинаиды Гиппиус к Д. В. Filosoфoвy, Б. В. Савинкову, Н. А. Бердяеву, П. Н. Милокову, В. А. Злобину, Г. В. Адамовичу, В. А. Мамченко, Т. И. Манухиной, А. Н. Гиппиус, Грете Герелль, как и письма А. В. Карташова к Гиппиус и Мережковском, напечатаны в моей книге *Intellect and Ideas in Action: Selected Correspondence of Zinaida Hippus*.²¹

Книга «Зинаида Гиппиус: письма к Берберовой и Ходасевичу», под ред. Erika Freiburger-Sheikholeslami,²² вышла в 1978 г., а письма к М. В. Вишняку, «З. Н. Гиппиус в письмах», были опубликованы адресатом в «Новом журнале»²³ в 1954 г. Письма Гиппиус в Клозон для напечатания были мне любезно предоставлены библиотекой Иллинойского университета.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. *Возрождение*. №№ 217-220. Публикация Т. Пахмусс.
 2. Там же, № 221.
 3. Там же, № 222.
 4. *Выбор? Возрождение*, № 222 (1970), стр. 51. Публикация Т. Пахмусс.
 5. Там же, стр. 52.
 6. Там же, стр. 52.
 7. Там же, стр. 53.
 8. Там же, стр. 54.
 9. Андрей Белый, *Четвертая симфония: Кубок метелей* (Москва, Скорпион, 1908), стр. 3.
 10. *Contes d'amour, Возрождение*, № 210 (1969), стр. 58. Публикация Т. Пахмусс.
 11. Антон Крайний (З. Гиппиус), «Вечный жид», *Литературный дневник: 1899-1907* (Санкт-Петербург: М. В. Пирожков, 1908), стр. 151-152.
 12. Там же, стр. 152.
 13. З. Гиппиус, «Вопросы жизни. Сборник», М., 1906. *Весы* (Москва, 1907), № 1, стр. 64.
 14. Там же.
 15. «Великий путь», *Голос жизни* (Петроград, 1914), № 7, стр. 13.
 16. *Возрождение*, № 223 (1970), стр. 73-84. Публикация Т. Пахмусс.
 17. См. «Дневник Зинаиды Николаевны Гиппиус — О Бывшем», *Возрождение*, № 217 (1970), стр. 56-78. Публикация Т. Пахмусс.
 18. З. Н. Гиппиус-Мережковская, *Дмитрий Мережковский* (Париж, YMCA, 1951), стр. 165.
 19. См. З. Н. Гиппиус, «О Бывшем», *Возрождение*, №№ 217-220.
 20. Из писем к Н. А. Бердяеву, Temira Pachmuss, *Intellect and Ideas in Action: Selected Correspondence of Zinaida Hippus* (München: Wilhelm Fink Verlag, 1972), стр. 153.
 21. Там же, стр. 784.
 22. Ann Arbor, Michigan, Ardis.
 23. Нью-Йорк, № 37, стр. 181-210.
-

le 10 Dec. 24

11 bis, Avenue du Colonel Bonnet
Paris 16

Милая Катя.

Очень думала о вас в день вашего Ангела, будьте покойны! И только ничего, кроме думанья, сделать не могла из за самого поганого гриппа. Он и до сих пор во мне сидит, — даже не знаю где, очевидно в ушах, т. к. совсем, еще на одну ступень, оглохла. Писать тоже не могу, а папироску никому не позволяю в третьей комнате закурить. Надеюсь на Тат. Ив.,¹ может быть она меня опять выучит курить.

Ольгу Львовну² целую крепко за письмо. Вас, милая Катя, целую вообще и в частности, и за будущее письмо, и за то, что вы — вы. Это очень важно!

А как ваш «Володя»^{2А} В каком положении? До каких пор написан? Иван Алексеевич,³ из боязни заразиться гриппом, изредка лишь показывает нос к нам. И все мечтает о Ривьере... Оттуда, кстати, и «легче бежать», как он говорит, а бежать — это «когда большевики возьмут Париж». Они уж почти берут... не во гнев вам будь сказано. Мпрочем, я-то не знаю, что уверяют все парижские газеты, буквально все, не исключая принадлежащих самому Эррио.⁴

Французы-то не верят... впрочем, и русские не верили в свое время.

А есть хорошие люди (и довольно серьезные), обещающие нам хорошие вещи между январем и апрелем... Будем надеяться.

Анна Ник.⁵ на фабрике не осталась и дня. Постоянной работы не нашла. Случайный массаж. Да и то — я не могу согласиться, чтобы неизвестные массируемые ходили для этого в мою квартиру, а она обижается. (Она была у в а ш е й Макл., католички, а не сестре Базиля.) Комнату найти с приемом — тоже нельзя. Нашла, было, одну за 300 fr., но в нее не пускали даже меня приходить!

Напишите, милая Катя, вспомните, что мы тут живем в холоде, в гриппе и в большевиках, а вы наслаждаетесь в тишине и солнце, так что будьте благодетельны и сострадательны.

Скажите О.Л., что Франсуаза⁶ ей шлет всяческие приветы, пристаёт ко мне с этим невероятно, т. е. чтобы я все о ней подробно написала. Очевидно, ждет поощрения и даже его жаждет.

Она его достойна, — недостойна я, не достаточно за ней смотрящая! В гриппе уж совсем я все запустила. Даже самой стыдно.

Много еще чего напишу, когда ответите (если). А какие у вас вести из Москвы?

Приветы, поцелуй и любовная память!

Зин. Гиппиус

9 Янв. 25

Париж

Милая моя Катя.

Целую вас за письмо. Огорчалась немножко, что вы так наспех писали, и я не могла, сквозь наши строки, уловить конкретность вашей жизни; и должна вам ставить кучу вопросов. Первое — как вам пишется? С «Володей»⁷ и Сеной⁸ *où en êtes vous au juste?* Я очень подумываю написать о Сене, — ведь ее точно все сразу забыли! — да только все еще как-то не очень легко. А вы о Соловьеве еще осенью начали писать, неужели не подвинулось к концу с тех пор?

Не поняла я также, как у вас с Альбой. Неужели до сих пор нет ни электричества, но локатеров? Как вы справляетесь там? Дочь О. Л. с семьей — у вас ли еще, или они все уехали? *Mère* живет в Булурсе — неправда ли? Я даже предполагаю, где именно, если в Булурсе. Это самое упоминательное место на всей Ривьере, знаю его давно, летом мы туда ездили специально, на горе, в сосновой роще. Там был когда-то английский тихий отель, теперь — *les Soeurs*, мы в роще даже встретили двух, таких приветливых. Напишите, были ли у нее.

Мы живем очень трудно; все гриппы, у меня увеличивающие глухоту, дороговизна растет, а денег меньше. Д.С. сплошь работает, мы почти нигде не бываем, никого не видим. Я бросила свои романы, старалась что-то царапать в газеты, но такие выходят все гроши — даже стыдно. Немного у Милюкова⁹ настукаешь, да еще с гриппами. А нас пять ртов, и уж не знаю, что выгоднее: литературой ли мне, или хозяйством заниматься? Подумать, ничего в Россию еще не могла послать! У Аси есть один маленький массаж, рано утром, а потом она целый день уже ничего не делает. Впрочем, она очень много бывает в церкви, ей нужно свободное время, и не все предложения работы ей, ввиду

этого, подходят. На праздниках она ездила, как вы знаете, в Камбре. Говорит, что там, без *mère*, довольно уныло.

Манухины¹⁰ тоже очень замкнуто живут. Т. Ив. так усиленно работает над своим романом,¹¹ что даже стала себя плохо чувствовать. Но кто работает, и кто бледен — это Вера Николаевна.¹² Ведь у них даже *de ménage* нет, и очень плохи дела. На них смотреть к своему чужого еще прибавлять, просто беда. В. Н. почти ничего не ест, одну простоквашу, только Ив. А-ча кормит. (Я бы, между нами говоря, тоже с радостью не ела, кормила бы Дм. С-ча, но не есть, чтобы кормить и Володю еще с Асей — уж как-то не хочу... Впрочем, обо мне не речь, а Вера-то Николаевна с ее малокровием... Они, конечно, об этом вам не пишут, смотрите, не выдавайте меня!)

Ну вот, все одна печаль, и вы, пожалуй, посетуете на меня за ясное — но грустное письмо. За то я посылаю вам и Ольге Львовне стихи, которые я вдруг, в печальную минуту поздней ночи, написала... «маленькой Терезе!»¹³ Милая Ольга Львовна, которая Терезочку так любит, почувствует, что эти р у с с к и е слова к ней — искренны. Да и вы, моя Катя, в этом не усумнитесь, неправда ли?

Целую сердечно вас обеих, и вместе — и отдельно. Горячий привет от Дм. Сер-ча.

Ваша Зин Гиппиус

Франсуаза шлет à Mme de Mont Fleuri et à la Soeur Catherine mille bonnes choses и т. д.

29-1-26

Paris

Милая моя Катя! Получила ваше письмо, очень меня обрадовавшее (видела сегодня и Амалию,¹⁴ все про вас говорили) — отвечаю кратко, ибо у меня новая беда: что-то случилось с глазом, — *mouche volante* и молнии, так что пошла к доктору, он мне прописал глазные ванны, капли (сказал, что это не скоро — но пройдет). Теперь могу чуть-чуть писать лишь на темном и в темноте читать почти совсем не могу, — вот жизнь веселая. Кроме того, насчет моей косины, доктор сказал, что мои глаза «font un mauvais ménage», не желают работать вместе, хоть ты что! И прописал мне совсем одноглазый лорнет или — *монокль*! И ни за что — очки. Впрочем, для писания дал двойное *pince-nez*, слабое, т. к. глаза только в д а л ь не желают ра-

ботать вместе! А в общем сказал, что у меня глаза «совсем не плохие»; ссора же меж ними давняя и так! Но сейчас очень скучно. И вы не рассердитесь, моя драгоценная, что я не продолжаю. Я хотела вам только сказать, что я и не думала «писать о Сол. [овьеве]»,¹⁵ с чего вы взяли? Я лишь в п и с а л а в статью об Ильине,¹⁶ когда она нашлась, о в о й н е, при чем воспользовалась тем томом Соловьева, который, помните, вы мне дали в Альбе уже п о с л е того, как я отправила статью, еще я жалела, что раньше не видела. Оттуда я взяла несколько цитат о войне и казни, и c'est tout. Книгу достала у Цетлиных.

Спешу кончить, целую вас без счета, страшно радуюсь, что вы сами прекрасно поняли, что я вам от себя писала. Именно, именно **не то!** И нет греха это видеть, скорее грех не видеть или из ложного «смирения» себе не сознаться.

Евлогий* говорил, что мат. Вера — совсем «недуховная» водительница. Однако, он хочет вам еще какую-то — схимницу — подсыпать. Говорю со слов Тани. Ждите.

Т. И. и И. И. уехали в Шартр. Но завтра должны вернуться. Мы только с ними и видимся.

Целую еще раз моих родных и прошу написать, ввиду моей немощи, extra!

Любящая Зина Г.

27 Апр. 26 Вторник Страстной
Париж

Милые, дорогие, неоцененные
Ольга Львовна и Катенька!

Поздравляю вас с наступающим Светлым Праздником, а только что он наступит вспомните, что я вам обеим говорю Христос Воскрес и тут же вас троекратно лобызаю. Я так поняла, что вы проведете праздник на Альбе, в подземельи — и в церкви Каннской, — неправда ли?

Но я тоже поняла, увы, что прежняя наша прелестная жизнь на Альбе не повторится. Вы, дай Бог, чтобы изредка покидали ваш Клозонский трудовой рай, и той тихой, светско-монашеской, созерцательной жизни у нас с вами, Катенька, не будет. И Ольги Львовниной, невидимо-реальной, нежности не будет, и живого

* Митрополит Евлогий.

примера ее деятельной мужественности, и мудрых ее слов и умных разговоров — тоже. Но что-нибудь из всего этого, хоть чуточкой, хоть тенью, будет, — ну, значит, и дай Бог, и за эту надежду спасибо. За вас радуюсь, что дело у вас пошло. Вот что значит терпение и воля!

Насчет печального обстоятельства с Мари, не такая уж беда, хотя и жалко очень вашу выученицу. Но мы привезем Франсуазу, я с ней уже говорила. Спать она может там, где спала Мари с девочкой (которой нет). Мы все равно привезли бы Франсуазу и надеялись на нее и на Мари вместе. Но, конечно, надеялись и на присмотр Ольги Львовны, кроме же того — Франсуаза в июле-августе должна быть у родителей (а, пожалуй, и в сентябре). Тогда мы и думали взять Мадлену. Словом — таково положение дел, и я еще в них не разберусь. Перспективы для меня лично неутешительные, ибо здесь с Франсуазой я кое-как справляюсь, хотя она меня явно обдувает, и уж день мне стоит редко 30 fr., а 40 и 47 зачастую. А ведь здесь дешевле, чем у вас, и вообще *train* Альбы таков, что нужны два зорких глаза, у меня же — ни одного. Что касается Анны Антоновны — то О. Л. сама знает, какой у нее «размах», да с Франсуазой они, в конце концов, поссорятся. А когда Фр. уедет, тогда что? Простите мою беспомощность, но я должна долго думать, чтобы иметь в перспективе какой-нибудь план. Я надеюсь, конечно, что все посылно устроится и надеюсь на совет, и соображение, и вообще на всестороннюю гениальность О. Л.-ны. Франсуаза не плохая девушка, и характер у нее стал недурной, но О. Л. ей была бы весьма полезна, ибо у нее есть нюх ко всем людским слабостям, кои она тотчас волшебю исправляет. Не могу поклясться, например, но подозреваю, что Фр. имеет слабость к рюмочке. Что, впрочем, соображенья больше Володи...¹⁷

Володя у нас совсем закис, — со своим носом, во-первых, вот два месяца, как жжется, и в грандиозном, каком-то нечеловеческом, насморке; во-вторых — обнищал и оборвался, все это в самом буквальном смысле. Наши же дела идут туго, все дорожает по часам (знакомая картина!), гонораров же не прибавляют, и я, хотя пишу не прерывая работу н и н а о д и н д е н ь, едва могу выстукать 500 fr. в месяц, из коих 360 идут немедленно в Спб.,¹⁸ а остальные 140 — и сама не знаю, куда, но только не на меня. Вообразите, у меня пополам развалилась ширма у постели; на ней еще цела этикетка — 15 fr 75. А когда я спросила там же, точно такую же, — на ней этикетка 225 fr!!

Три утра я вышивала шелком, на дырах старой ширмы, не все зашила, а склеить ее до сих пор не могу!

Пишу вам пустяки, и спешу, подождите, скоро напишу длинно и толково. Бунин поправился, завтра должен был уехать из больницы — к Цетлиным¹⁹ пока, но сегодня я узнала, что у Цетлиных больные, и не знаю, что дальше. Я очень рада, что Бунин сделал операцию, он все время болел, и вид у него был очень плохой.

Родные, целую, обнимаю, очень много имею еще сказать вам, даже делового, но еслиб Катенька хоть поцелуй мне прислала своей ручкой, я бы знала, что она на меня не сердится за мое подневольное черканье!

Низкий поклон от Д.С. Приедем в м а е, как только будет возможно.

Ваша Зин. Г.

(Без окончания)

5 Августа, канун
Преображения 26 г.

v. Alba.

Дорогая моя Катенька. Во-первых — простите меня, что я не сообразила, как вам и О. Л. будет неприятно, что Ася оставилась в вашей комнате. По правде сказать, я не придавала ни малейшего значения тому, что Володя поместил ее туда, а не в Франсуазину; тем более, что предполагалось это на две-три ночи, а в Ф-ной ее вещи и Маделена гладила. Беспорядок тоже не пришел мне в голову, да я, там бывая, заметила его лишь в последний день, когда Ася уже перешла в Фр., т. е. не Аси, а у Стар., что вполне естественно и неизбежно с ребенком. И я только после записки О. Л. сообразила, какого я дала маху, да и Володя, не поместив Асю сразу в прислужью, а в вашу, чего О. Л. даже и вообразить не могла, — и вы, очевидно. Эта несообразительность — моя вина, а в этом вы меня, милая Катя, простите.

Что касается остального, то я с первого слова сказала, что ни в чем этом не разбираюсь, действительно никак не вхожу, и определенно желаю ограничиться своим мнением абсолютно сторонним, т. е. как бы «литературным» и вполне «деташированным». Только его я и могу вам высказать, и будет оно совершенно такое, как бы меня вообще не существовало на Альбе. Воло-

де я сказала, что никаких, ни в какую сторону, он советов от меня не получит, кроме одного: что бы он ни думал, что бы ни делал, нужно делать мягко, разумно и вежливо до нежности. Конечно, для этого нужно бы понимать О. Л.²⁰ так, как я ее понимаю, — во-первых, — а затем нужно еще иметь то положение личной незаинтересованности, какое имею я.

Теперь, милая Катя, если вы верите в мою «объективность», то я вам скажу, что я этими объективными глазами вижу.

Я вижу, что О. Л. начала большое, прекрасное дело, которое ей свойственно, которое никто, может быть, не сделал так хорошо, как она, ибо не обладает ни ее душевными качествами, ни ее энергией. Это воистину е е с в я т о е дело. (Помните, милая, что я все — и письмо, и литературу — пишу, стараясь найти слова **точные**, и никак не говорить даром. Если я говорю «**ее святое** дело» — значит так и думаю, такие слова из других выбрала.) Но это дело — **не** Никольская Община. Никольской Общины фактически нет, по каким причи

23 Авг. 26.

v. Alba.

Катя милая моя, хочу вам покаяться и признаться: получив ваше письмо, я все-таки подумала: да, да, а не случись этих неприятностей, я бы от Кати строчки не получила, а тут два длинных письма! Ведь какие они ни будь, — все же радость!

Это легкомысленно, но за то я поняла, что вы в моем сердце крепко поселились. А я — верная, и уж хоть вы от меня трижды три раза отречетесь, это нисколько на меня не повлияет.

Если я говорила, что Ник. Об. нет, то я говорила исключительно в плане реальности и данного момента. Мы же часто говорим теперь, и вы сами говорили, — «нет России». **Нет**, потому что СССР, потому что большевики, потому что мы, **реально**, не можем же с ней соединиться, и по многим, многим еще «потому». Но, говоря так, — и правильно говоря, — мы в то же время знаем: Россия есть и никогда не прерывала своего истинного б ы т и я, хотя, на некоторый период, и прервала его реально. Что же тут может быть обидного для России? И что обидного для Ник. Общины, если мы поставим ее тут в аналогию? И в чем, вы думаете, я вас не понимаю?

Что касается Володи, то я нисколько не одобряю ни его писем, ни того, что вы называете его грубостями; но я учитываю его н е у м е н ь е никогда ничего выразить, его косноязычие и бессилие; ничего не поделаешь, такой он есть. Он со мной также прикрыт, точно связан. Но я-то знаю это, и знаю его отношение к О. Л.; и без его недавнего, глухого, напоминания помню, что в прошлом году было, как он с собственной матерью навеки в н у т р е н н о расстался, потому что стал на сторону п р а в д ы, — на сторону Ольги Львовны. Я знаю, что все теперешнее ему тяжело достается, что он не спит целыми ночами, — но я с ним об этом не могу говорить, т. к. сразу решила, что будет лучше, если выяснится между вами все без меня. И повторяю: я его ни оправдываю, ни обвиняю, я только показываю, как оно есть, а судить не хочу.

Вот один факт, о котором я совсем не знала: в контракте Альбы, между прочим, сказано, что Володя «может сдавать дачу, с тем условием, чтобы в подвале жил кто-нибудь из х о з я е в дачи». И теперь В. думает, как сдать ему на зиму эту дачу, если подвал будет или вовсе заперт, чтó еще лучше (хотя я не понимаю, почему лучше, раз там отопление) или будет периодически населяем то приезжающими из Клозона, н о в ы м и, постояльцами, то уезжающими? Сдать же ему дачу вполне необходимо, так как это последний год, и если она не будет сдана, то и переехать с нее он не сможет, т. к. не сможет и заплатить. С матерью у него счета кончены.

Вот, Катюша, вы видите, я в этом ей-Богу не разбираюсь, за что купила, за то и продаю. И опять пишу вам просто, не входя в рассуждения.

Мне странно, что вы можете мне упоминать о «добрых словах» насчет О. Л. И опять я думаю, что не то что добрый человек никаких, кроме добрых, о ней не скажет, но и дурной тоже не сможет; разве несведущий или ослепленный. Многие и хорошие, не глядя в эту сторону, могут не видеть; а стоит увидеть... Вот, хотя бы, Ася (только это *entre nous*, пожалуйста): я приписывала два слова в ее письме Т. Ив., и письмо это (которое она не давала мне специально читать, но и не запрещала) — все такой дифирамб О. Л.-не, и притом такой трезвый и зрячий, — что я невольно порадовалась (за Асю, конечно).

Не сердитесь же на меня, моя Катенька, и не волнуйтесь, будьте, главное, здоровы. Опять не скрою: часто мне жаль, что вы теперь ничего не пишете: Соловьевы-то хорошо у вас, в кон-

це концов, вышли, о ч е н ь х о р о ш о. Самое интересное во всей книжке. Всем нравится, но я такая гордячка — ценю и то, что это м н е нравится.

Целую вас нежно и О. Л. Храни вас обеих Господь.

Ваша Зина

20 Дек. 26.

11 bis Av. du Colonel Bonnet
Paris 16^e

Родная моя Катя. Спасибо вам, душка моя, что несмотря на мое столь наглое, с виду, молчание — верите в мою память и любовь. Еслиб еще я могла обманывать себя и думать, что когда люди долго не общаются — они не о т в ы к а ю т друг от друга! Но они отвыкают, и, даже не забывая друг друга — ф и з и ч е с к и, как-то, отдаляются, уж такова природа человеческая. Я в этом отношении стойче других, но и я «покорна общему закону», а уж вы-то, наверно, от меня «отвыкли», хоть сами не замечаете.

Я ужасно этого не хочу, а потому решила вам часто писать и всячески от вас того же требовать, не взирая ни на что. Но вы-то, милая, как много мне написали, все дело, значит, за мной.

Сначала я вам поясню, в каком я была состоянии до последнего времени.

В первые же дни после Альбы — отчаянный грипп две недели (а два месяца, вот, его последствия: постоянный насморк, непроходящий, и кашель). Как только нашлась моя статья об Ильине, — помните? — я, не взирая на это скверное мое состояние, достала тот том Соловьева, который читала у вас в последнее время, и принялась статью со второй трети всю переписывать, включая туда предлинного Соловьева с войной. И даже завела ум-за-разум, пока не кончила. А кончила всего 2 дня тому назад, еще не знаю, что Вишняк²¹ теперь, начнет или не начнет кричиться...

Все за это время на меня переобижались, ибо я ни на одно письмо не отвечала и никого почти не видела. И столько скопилось н е д о д е л а н н о г о, нужного, что хоть рукой махни.

Тат. Ив., впрочем, видала. Она уж вам написала! Здесь о вашей матушке разные мнения. Я из вашего письма вижу, что она матушка как матушка, и вас, Катя, приструнила. Но я вижу,

сама уж по себе, что вам вовсе «не добро» быть инокиней. Кто во что вмещается. Не вы иночества вместить не можете, а оно — вас (какое оно сейчас есть), а если начнете насильно «вмещать» в него, то придется вас со всех краев обрезать, и обрежется такое ценное, что, может, и нельзя, греховно даже, отрезать от себя. Так мне кажется. Тат. Ив. думает (это она — не зная), что иночество, будто бы, ш к о л а, можно поступить в школу, пройти курс и выйти с дипломом закаленности, духовной выдержки и т. д. А в сущности это не так; иночество — **последний** подвиг, во всех случаях: **святой** для предуказанных (для вмещающихся) и не святой (потому что насильнический) для тех, кому надо ценное свое уничтожить, любовь ли действительную, то или другое Божье дарованье... Во всех случаях он труден, но для не предназначенного к нему — он еще источник фальшивой гордыни, в конце концов: вот, мол, как я силен, все сумел от себя оторвать, не рассуждал; чтож, если даже и другие мне Бог дары послал, а я, вот, сумел от них отказаться!

Это я вам по своему разумению пишу, а, может, конечно, и ошибаюсь.

Нисколько не подозревайте меня в «снисходительности» к вам (насчет Соловьева), — я этого н е у м е ю. Мы правда, наспех его тогда читали; (вы же виноваты), еслиб время — можно бы подумать о большей стройности и больше выкинуть; можно бы даже и так, что решить какого-нибудь вопроса в д а н н о й статье вовсе не касаться, например, его отношения к католич. (громадный слишком вопрос), но все-таки все, что я вам тогда говорила — остается, и мне жаль, что Илюша²² без толку требует выкидок. Напишите мне, в каком же виде вы его отдали, наконец.

Был у нас Ляцкий,²³ мы ему расхваливали Клозон, в конце концов он даже теперь туда хотел отправиться поглядеть. Но я то думаю, что ему там уж и места нет. Где же? «Монастыря» он не боится. Нынче был в Риме, общался с монсиньорами, в восторге от их «культурности» и библиотек. С одним раз до утра говорили. Они его соблазняли поступить в монахи и клялись (хитрые), что все оставят ему, что он любит, и книги, и литературу... Хотя, может, и не хитрые, может они как-то это понимают и могут... Но Ляцкий все-таки сказал, что раз его комната будет называться «кельей» — он из нее станет рваться вон... Впрочем, Ляцкий мне довольно понравился, на этот раз. И даже Бунину.

О Буниных вы, верно, все уж знаете от В. Н., больше, чем мы. Он в делах, в гостях, в болезнях, в **Возрождении**,²⁴ — к нам

заглядывал редко (вчера был). Да мы и здесь живем почти как на Альбе, только вечером — вы не приходите поговорить! Нет дня, когда бы мы вас и драгоценную Ольгу Львовну не помянули нежным словом. Я знаю, что она будет читать это письмо, и в этом месте целую ее изо всех сил, и Дм. Серг. кричит мне из другой комнаты, что и он тоже. Как она хорошо Альбу с постояльцами описала, так все в и д н о, словно на картинке. Ну, и вы, Катенька, — с вашими мечтами в голом саду — а тут, как снег на голову — аббесса! Признаться, я порадовалась, что она не летом приехала, а то бы я вас как ушей своих не увидала за чаем с леденцами, да еще порою — с Sourire!

Ольга Львовна, вы забыли маленькую Терезу, а как вышло странно со мной: мне было очень скучно и тревожно почему-то под католическое Рождество; я все думала о Терезе и даже опять стихи ей писались в эту ночь... Ну, и так прошло, а на другой день утром — вдруг Дм. С., вернувшись с прогулки, уже д о м а, нашел на полу, в коридоре, крошечную маленькую, точно детскую, медальку Терезы с а н г л и й с к о й надписью «I will spend my heaven»... и т. д. Он думал, что это моя, а у меня такой никогда не было, я даже и не видала английской. У Франсуазы тоже не было ничего подобного, и никто у нас ни в этот день, ни накануне, не был. Как-нибудь это физически объяснимо, конечно, однако мы объяснения не знаем, и в том, что не знаем и не можем знать — есть добрый смысл. Я вдела в медальку, такую скромную, шелковинку, и повесила ее на портрет Терезы. Стихи рождественские я, если хотите, вам пришлю, они начинаются так.

Сегодня имя твое я скрою,

И вслух — другим — не назову.

Но ты услышишь, что я с тобою,

Опять тобой — одной — живу...

и т. д.

Милая Катя, очень много написала, пора кончать, а десятой доли не сказала того, что нужно бы. Ну, до след. письма, я обещала писать часто, если буду здорова. А вы пришлите хоть открыточку. Что-то у вас? Что внук О. Л.? Бываете ли когда в милой Альбе? Что дети Оболенской? А о. Владимиру низкий поклон и просьба о благословении. Вас и О. Л. бесчисленно раз целую. Хр. с вами.

Зина

Завтра 8 Янв. — столько-то лет нашей свадьбе, уж даже не знаю — сколько, 38 или 36. Хоть бы еще столько же, и то ничего. Аня очень исправилась, по-моему.

Володя грустный, материнские долги платит до сих пор. Но хорошо, ничего.

Villa Tranquille

Le Cannet A. M.

18-7-27

Милая Катенька, что вы обо мне думаете? Я — думаю о вас огорчаясь, что вы так близко, а я никогда вас не вижу. Вы бываете в Каннах, вы бываете у Бунина даже, но у нас — никогда. Что изменилось? Не я, во всяком случае. Я отношусь и к вам и к О. Л. совершенно так же, как раньше, с тем же удивлением, уважением, нежностью, а главное — с пониманием обеих вас, очень разных и очень схожих в чем-то. Я совершенно не хочу, чтобы вы были такими, какими я хочу, а какими вы хотите быть, и есть; считаю, что это всегда самое лучшее. Если я жалею, что вы, Катя, бросили писать, то, ведь, как же не жалеть об этом? Но и тут я понимаю, что есть и *force majeure*, да ведь и будут еще другие времена, я надеюсь!

Сейчас и я ничего не пишу. В **Посл. Нов.**²⁵ совесть не позволяет, рука не подымается, а больше некуда; и сделалась я безработной. Перешла на иждивение Д. С-ча. Здоровье не важно, за зиму устала, похудела, как нитка, а здесь еще хуже, и есть ничего не могу. О настроении, при всех обстоятельствах, лучше и не говорить...

Но не стоит предаваться греху уныния, и за то, что есть — слава Богу. У вас, как я слышу, все идет хорошо; за то и дела, должно быть, по горло. Скоро именины О. Л. Поздравляю ее с наступающим днем Ангела. А вы, Катенька, если будете вблизи, неужели так и не заедете? Ася недавно писала мне. Она очень вас любит. Когда, в августе, приедет ко мне, — непременно, говорит, буду и в Клозоне. Наша дача удобнее Альбы, только очень уж вокруг неприглядно, ни травки, ни кустика, бурьян и камни.

Целую вас крепко-крепко, и О. Л. так же.

Ваша Зина

Вот, друг мой, как ни за что ручаться нельзя! Написала, что «завтра» кончу письмо, а какое там завтра! На завтра я и с постели не встала, — от гриппа, сразу меня схватившего. И так прошла почти неделя. А сегодня, как я ни хоронилась, и у Д.С. начался насморк, — я его заразила. У меня-то все бросилось на уши и на голову; горло прошло, но уши для меня хуже.

Вообще — должна вам сказать, что эта последняя неделя так тяжела была для нас во всех отношениях, что я лучше в рассказы вдаваться не буду. Т. к. выясняется, что Володя какие-то признания будто бы делал О. Л-не в Клозоне, то и не для чего мне эти ужасы повторять. Самое тяжелое — атмосфера его лжи,²⁶ которую я определенно чувствовала, осязала, предупреждала Дм. С-ча; но Д.С. очень доверчив вообще, моих догадок и слушать не хотел. Когда ложь и обман уж явно начинали вылезать, — я добивалась частичных признаний, и то лишь страхом. В эту неделю дошло уж и до предела; я несколько дней носила все одна, но пришлось, к сожалению, сказать Д. Серг., о чем жалею и волнуюсь за него, так это на него повлияло.

Я не знаю, впрочем, что говорил Володя Ольге Л-не, чего не говорил, и не хочу все это ворошить; — хотя нельзя, так как момент уж очень тяжелый; а сознание иметь около себя человека, которому 10 лет верил, и который тебя же...

Бросим, однако, есть и другие беды. Вы сами мне пишете о Милукове, — какой ужас, если вы читали его лекцию! А мы на другой день у Манух. его видели, и просто больны сделались. О лекции, конечно, не говорили ничего, но я почти смотреть не могла без содрогания на него. А тут он еще и распоясался, мол, ничего моего печатать не хочет (боится). Буду, мол, то печатать, где «ваша **личность не просачивается!**» Какое оскорбление писателю, художнику хорошему ли... И мы с Дм. С. решили было, что я подожду, ничего ему не дам пока, не стану приспособливаться, и сообщницей его советофильства пока не буду... Но теперь все повернулось, если я не выдумаю чего-нибудь для него, и сейчас же, — ведь 15 Апр. терм, и не хватит заплатить. Хорошо, что я сказала Д. С-чу о несчастье лишь тогда, когда он кончил ту часть книги, которую писал с Клозона (я ждала). Да и то он теперь опять завел разговор о том, что придется ее бросить... Я протестую, но для этого должна с косточками продать себя Милукову...

Видите, какое гадкое продолжение письма у меня вышло! И даже не продолжение, а окончание, так как я много в гриппе писать не могу. А он далеко не прошел: я, вот, неделю не только папиросы видеть не могу, но даже и чужого дыма не выношу совсем.

Дела и устройства здешние — ни одно не устроилось. Володя б о л е н (но не гриппом). Тат.Ив. давно не видала, Ив. Ив. не пускает ее в гриппозный дом.

Катенька-друг, родная моя, простите за гадкое письмо, помолитесь за нас, и чтоб следующее написала я вам не такое, а лучше. Мне — мало, что нужно; мне только нужно, чтоб другие, кругом... и те, вдалеке... Ну, вы понимаете.

Ася отошала, кормлю пока. По вторникам. По пятницам она у Т. Ив.

Обнимаю вас и Ольгу Львовну, обеих, крепко.

Христос с вами

Зина

28 Снт. 27 (?)

Paris

Милая моя, родная Катя! (Так давно не писала вам, а не только не отдалилась, но совершенно как бы с вами. Я знаю, что вы меня скоро и надолго возненавидите, будете по христиански бороться с этим чувством, и все-таки не поборете, ибо это чувство — естественное... А потом пройдет, ничего. Я сознательно приняла сей жребий от хитрых редакторов, которые решили умыть руки перед вами. Вишняк мне категорически объявил, принеся вашу рукопись: «или из нее должно выпустить лист (40 т. букв), или вещь с о в с е м не будет напечатана». Я две недели старалась хоть сама отвертеться (эгоистически, чтобы вы меня не возненавидели), но ничего нельзя было поделать: выходило так, что если я за эту ампутацию не возьмусь, то, в лучшем случае, они примутся за нее сами, притом «механически» и притом «на досуге», т. е. в ближайшую книжку она все-таки не попадет... Я рассудила, что во-1-х: вам лучше получить 600-700 фр., чем ничего; а во-2-х: я все-таки сделаю с любовью, скрепя сердце, но не «механически». Et voilà: ровно лист вычеркнула (по моему расчету) и принять на себя временное негодование автора

— готова. Я думаю, что весь остаток (как путешествие в Черногорию) можно переработать, и он не пропадет. Но это, конечно, потом, когда заживет авторская рана от вот этой операции.

Илюша требует присылки рукописи ему, что я и хотела сделать уже 3-4 дня тому назад (уже была готова), но через гие Vineuse, так как портфель большой, и почта — ихнее дело. Послала Володю с портфелем и с письмом к Вишняку, чтобы он уж нос не совал, а только техническое дело сделал — отправил рукопись в Грасс. А тут оказалось, что Вишняк уехал в Лигу Наций!!! И Володя принес рукопись обратно. Я подожду чуть-чуть, а если Вишняка из Лиги Наций не выпустят — пошлю рукопись Илюше собственными средствами. У меня была Татьянаушка, когда Володя принес портфель; я на свой страх решила дать ей почитать до завтра (она очень хотела), тем более, что в полноте лишь теперь может прочесть: я зачеркнула предназначенное к выпуску легко, карандашом. Когда вы поедете в Грасс (как Илюша предлагает), чтобы с ним вместе проглядеть, вы, может быть, что-нибудь еще и отстоите. Но я — вы знаете, Катенька, мою слабость ко всякой краткости! — должна прибавить, что по-моему вещь не так уж много потеряла; она не везде «сдвинута» (это может только автор сделать), кое где — «выгрызена»; но все-таки ничего, и остается (как все находят) у ж а с н о и н т е р е с н о й.

Вот вам точный и добросовестный отчет в моем преступлении против Ельцовой.²⁷ А там, уж когда она меня помилует, — дай Бог поскорее.

Теперь, дорогая, несколько слов о другом. Всего несколько слов, потому что с писанием у меня не важно: глаз гораздо лучше (хотя не вполне прошел), но сделалось что-то с правой рукой: Ив. Ив. говорит, что подагра, но Ася уверяет, что Ив. Ив. не специалист по подагре, а это я очень руку натрудила, оттого с мизинца вниз так и болит, до косточки. Советует писать — левой рукой! Точно это так просто! Я на всякий случай, принимаю подагрическое лекарство (Т. Ив. — тоже), а не писать никак нельзя! Вот и вертись.

Очень много бы хотелось рассказать, но больше хочется знать о вас: ничего давно не знаем, и владыка еще путем ничего не рассказал. Поэтому, Катенька, прошу вас и низко кланяюсь, пока вы еще не видели оперированную мной рукопись и не успели меня возненавидеть, напишите мне о б о в с е м, о вашей жизни и внешней, и внутренней, о чаяниях и надеждах, о дости-

жениях, мечтах, удачах и неудачах. Мои мечты и Д. С-ча, — опять как-нибудь поскорее удалиться к вам под сень струй. А то в Париже повернуться некогда, пишешь только по ночам. Я по воскресеньям собираю литературную молодежь, за мной и Цетлины²⁸ что-то хотят, а тут собрания в **Звене**,²⁹ а потом еще французы да шведы, да и всякого еще народа. Бунин совсем от нас отдалился, никогда не бывает, а на собраниях у Цетлина сидит надувшись на весь мир, потому что центром его себя не чувствует. Может, он знает что о вас (ведь скоро вы его в Клозоне увидите), но мы-то не знаем, а потому и повторяю свое умолянье написать мне поподробнее и поскорее. Т. Ив. ко мне присоединяется. И про дорогую нашу Ольгу Львовну до мелочей все напишите.

Я, пока что, обругала Ильина в **Посл. Нов.** и привела то, что слышала от вл. Евлогия³⁰ о нем: «военно-полевое богословие» и «палачество». Ильин же обозлился, в гордыне своей, и, понося меня (а мне наплевать!), говорит это «плоские шутки» (я Евлогия не назвала), за то «меня, в моем «христианстве», поддерживает Антоний Волинский,³¹ и еще какой-то Анастасий,^{31А} и еще кто-то»... Так что я владык даже поссорила...

Ася возится с подворьем,³² Вениамином³³ и «старцем», более ничего знать не хочет. Но молодец, работает, выкручивается, а порой и голодает. Как стало безумно дорого, даже страшно! А гонорара не прибавляют.

Целую, обнимаю, более далеким сердцу моему — привет.

Жду ответа.

Ваша всем сердцем

Зина

2-1-28

19-12-27 Paris

Дорогая моя, любимая Катенька!

Без конца вас целую, крепко обнимаю, а также милую Ольгу Львовну; поздравляю вас обоих с праздником рождения Света, Христа Спасителя. Будьте здоровы, — а бодры вы и так будете, знаю.

Ужасно я огорчилась, что мы с вами здесь не успели ни разочка увидеться. Приехав, я сразу впала в грипп; к вашим именинам

сделалось мне лучше, собралась к вам ехать днем, но пришла Ант. Вал. и сказала, что вы «скрываетесь». Лишь вечером увидела Володю, от которого вы и не думали «скрываться»! Словом, вышла чепуха, и я до сих пор в каком-то неприятном огорчении.

Если захотите очень меня обрадовать, напишите как-нибудь мне хоть немножко; я буду знать, что вы меня еще помните и верите, что я часто о вас думаю, и с громадной, притом, нежностью.

Живем мы тихо, — в газетном болоте только шумим, и так это надоело; по привычке отругиваешься, да и следует иногда, но хотелось бы что-нибудь по существу писать. О Сене, например, все больше подумываю. Как-то во сне ее видела.

Холодно ли у вас? Или солнышко греет? Ну, здесь, вы знаете, не очень то оно показывается...

Д.С. кланяется низко вам и Ольге Львовне. Поздравляет с праздником и с Нов. Годом. Я, и кончая, сызнова вас целую.

Всегда ваша

Зина Г.

[Без окончания]

11bis Av. du Col. Bonnet
Paris 16^e

11-3-28

Христос Воскрес, милая моя, бесценная Катенька! Целую вас трижды, а потом и еще, вообще. Также и дорогую Ольгу Львовну, обеим вам посылая мое сердечное радование о вас.

Катя, вы не будете сетовать на меня в сердце, что я не ответила вам на такое ваше дорогое для нас письмо, когда узнаете, что я не выхожу из болезней, а последнее время так, что даже у Ив. Ив., освещаюсь. И даже болезни какой-нибудь одной нет, но я незащищена от ряда всех разнообразных мелких, и как схватит грипп или жаба, так и не выпускает из когтей. Мое переутомление не меньше вашего, но совсем другого какого-то порядка; ваши дела и труды явные, а у меня мои (писания) просто словно и чепуха, по результатам, однако сил много берут. Ив. Ив. сердится на вечный «пост», на нелепый мой вес и худобу и грозит, что это плохо при «слабом сердце». Но и сердце-то мое слабо тоже по другому, чем у вас: у вас хоть «давление», а у

меня даже слишком его нет: 15! Ну да Бог с ними, с болезнями: кстати, вы уж поправились, а я тоже понемножку, а там посмотрим. Спасибо вам на добром слове, Д.С. радовался и просил меня тогда же вам ответить поскорее и поблагодарить. Здесь как-то все точно потеряли точку опоры, и когда осмелишься сказать им правду, самую простую, выходят из себя и заговариваются. Особенно ваш Ильин (что у вас осенью гостил), еслиб вы читали, какими «христианскими» ругательствами он осыпал меня и Д. С. в газете Керенского, **Днях!**³⁴ Он там услужает социалистам. Уверяет, это мы поем «против церкви», потому что не хотим вести «политику любви» митр. Сергия, т. е. признавать большевиков. Какая-то моральная аберрация! Надо сказать, что теперь это в «левых» церковных кругах такое уж течение. А мы уж за нашу политическую и р е л и г и о з н у ю непримиримость считаемся ныне «правыми» и еретиками сугубыми. Читали ли вы статью С-ча «Черта крови»? Если нет — вам пришлю. Его **все** были недовольны. А вы, я уверена, увидели бы там правду. Там (без имени) говорится и о знакомом вам Федотове.³⁵

С радостью за вас читала ваше письмо к Тат. Ив. Вот как вам благолепие дорого, и хоть много трудов, а ведь разве не радость, что так все удалось хорошо? Каков теперь

19-8-28

Château des 4 Tours

Thorenc (A.M.)

Несравненная моя Катенька!

Давным давно собираюсь писать вам, но столько имею сказать, и все больше каждый день, что уж, вижу, не справится, и решила отложить до свиданья, пока же просто перекинуться словечком и поцелуем.

Но первый поцелуй — Ольге Львовне, за сегодняшнее ее милое письмо. Затем — радость о преуспейнии Клозона (это вам обеим), а затем два деловых слова: очень благодарю за приют Аси, на которую я, вернувшись в Cannel, пришлю вам тотчас 300 fr., и вы держите ее столько, на сколько этих денег хватит, п о ж а л у й с т а н е б о л ь ш е. К беде моей я последние месяцы стала безработной, оттого и могу послать так мало (ведь другим сестрам в СПб надо!) За напечатание в **Нов. Корабле**³⁶

(без гонорара) п р а в д ы о Корниль,³⁷ Керенском и с-срах — **Совр. Зап.**³⁸ меня исключили (Амалия даже вообще со мной 20-летние отношения порвала), а **Возрожд.** такая поганая лавочка, что вот 4 месяца меня не печатает. Ну, авось все таки так навеки не будет, но сейчас такая полоса. Если раньше она кончится, чем я думаю, тогда я вам на продление Аси еще пришлю. Но пока я рассчитываю так, чтобы у меня было и чем оплатить ей обратную дорогу. Я Асе обо всем этом уже писала. Наконец, когда ее ресурсы у вас кончатся, она может спуститься к нам, — в том случае, если у нас никого не будет и мы не уедем в Белград.³⁹ Очень же ей засиживаться вообще невыгодно, в прошлом году, по словам Т. Ив., она «все ноги пропустила».

Затем — расскажу вам, где и как мы живем. Это и ужасно, и прекрасно. Наш замок, его «стильность» и степень разрушения притом — нельзя вообразить. Он — на скале и в скале высечен, в 1528 году. С этого года и по сей принадлежит тому же роду, Tanton d'Andon, которая в тесном родстве с родом Sartout. Но насколько тот замок прекрасен — настолько здешний находится в разрушении. Хотя они миллионеры и все вокруг ихнее — отпрыск фамилии брюхастый фермер, а старые барышни — предел провинциалок. Драгоценная кожа, которой обита их столовая, висит кусками, темные каменные лестницы — прохожены, стены мшистые, а пол — как улица Ренуар. А что у нас, в наших башнях, наверху! Клозон — да это просто Claridge парижский перед этой крепостной развалиной! Но стоит она прелестно, среди широких лугов, окруженная вековыми вязами. А отовсюду видны леса и разные кряжи и пики. Солнце горячее, — но какая свежесть! Мы из Cannelt выскочили, — как из духовой печки. Ни комаров, ни мушкетеров — в помине нет. А к той крайней pauvreté нашей квартиры, даже к тому, что сверху сыплется на нас какой-то «прах веков», к полному отсутствию малейших удобств, — мы, по правде сказать, уж и привыкли! За отсутствие жары я даже не сетую на чуть-чуть увеличившуюся мою глухоту (от высоты, ведь 1200 м!) Буннины были у нас. Даже он извелся от жары! И своими «словами» ругал ее, грасскую. Мы же ее и вообразить здесь не можем.

Заметьте еще, что Thorenc, это прелестнейшее место, нынче совершенно пустынен, и — благодаря римскому папе! Он купил за 3 миллиона Grand Hôtel и поселил туда белых монахов santé délicate. Французы испугались, что это санатория и решили не ездить в Thorenc, (где, кстати, нет ни малейшего казино). И

теперь на прелестных лесных дорожках мы встречаемся лишь с белыми задумчивыми бенедиктинцами; а в городе, вместо музыки, только вечерние колокола.

Но тут есть нечто, о чем именно вам, Клозонкам, хочу я рассказать. Если вы и Ольга Львовна это увидели — в какой бы ужас и грусть это вас погрузило! Я вижу это каждый день два раза, и непрестанно думаю о вас, о вашем Клозоне — об этом действительно рае, по сравнению с маленьким детским адом в этой благословенной природе! Вот, слушайте. Наш замок — в стороне, и чтобы пройти в местечко Thorenc — надо пересечь громадный луг, чуть-чуть подняться к склону кряжа и по склону уже выйти на дорогу. Так вот, на подъеме, на самом склоне, на крошечном выступе, стоит крошечный домик, на стене которого намазано: *La maison des petits*. Вообразите хибарку, с одной стороны прислоненную к горе, с другой же «плато», шириной с комнату Альбы, не больше; за ней — грязный обрыв, какие-то курятники, огород, прачешные — не знаю, что. Самое «плато», куда выходят двери хибарки, неизъяснимой грязи, и заплюсганности, и заваленности черепками, бумагами, лоханками; полно пелухами, цыплятами, котятками разных мастей, собаками. Тут же стоят мольки, шайки, где купают детей, и столы со всяческой посудой, где дети едят. Тут же и проход с замковой тропинки на дорогу в город. Какие-то барышни в очках и без очков — «смотрят» за детьми, т. е. равнодушно смотрят на это безобразие. Дети — от колыбельных до лет 10-ти; последние вылезают играть и пачкаться на прилегающую дорогу (не главную), где за хлипким заборчиком обрыв и все эти прачешные, и живут почтальоны. Теснота прохода такая, что мы, без преувеличения, *п р о д и р а е м с я* между мисками и колыбелями, когда их вынесено две. Естественно, что весь этот кусок, среди благоуханного воздуха Thorenc, лугового и соснового, исполнен зловонием. А мы исполнены изумлением, что это — может быть. Вот так *maison des petits*! кажется, что пахнет от всех земных детенышей: и курячих и кошачьих, и человеческих — вместе. Что это за «*petits*», какие дети и кто их так «призрел» — я даже узнавать не хочу. Уж очень жалко и досадно. Хоть бы самые демократические — ведь черепки и помои с дороги все же убрать бы можно, и мух из под колыбельного полога вымахать — тоже. А раз мы шли — тут же сидела, на проходе одна из барышен, в очках, а куафер ее стриг. Рядом младенец сидел у помойки. Tableau!

Вот, если мы идем в сторону города — мы тут и проходим. Тропинка есть другая, но гораздо длиннее. А тут все ходят. Подумайте, ну как не вспоминать ваш рай! И не в том дело, что у вас «аристократично», а тут, верно, бедные дети; представляю себе Ольгу Львовну и на этой приступочке, среди этой *rauvgré*, — что бы она сделала!

Милая Катенька, *s'est promis*, неправда ли? что вы приедете к нам в Cannel на 2 дня. Там мы с вами наговоримся. Ив. Ив. мне писал перед отъездом, что видел Евлогия; и прибавляет: «ясно почувствовал на нем тлетворное влияние сближенцев с М. Сергием»... Ну да, этого и следовало ожидать. М-ны теперь в Швейцарии, на каких-то неистовых высотах. Т. Ив. хотелось бы заехать на возвратном пути к нам, вот тогда мы вместе приедем в Клозон. Мне и вообще хочется у вас побывать, Дм. С-чу тоже. Авось к сентябрю прекратится это беспримерное пламя, — что за лето!

Встретили на дорожке Каннского батюшку с его Асей. Он, бедный, тоже изнемог внизу от жары. Говорит 39 лет ничего такого не было.

Целуем вас без конца, дорогие. Теперь, когда у вас есть и прокурор, и автомобиль, вы, в сущности, могли бы и сюда к нам приехать, глотнуть свежести. От Биота (наши замковые владельцы в Биоте зимой живут) всего 1 ч. 40 минут езды.

Еще поцелуи — с ожиданием отклика.

Ваша

Зин. Гип.

У нас была Нина Берберова,⁴⁰ 3 дня жила. Говорит, что вашу Нину (Виргинию) родители поместили к католическим монахиням, и неизвестно, что дальше с ней будет.

25 Октября

7 Ноября

Среда 1928

Милая моя Катенька, получила открытку (в закрытке) и тотчас вам отвечаю. Уж как жаль, что не видала еще отшельниц, столько бы рассказать, а теперь половину забыла. От моих сестер еще были вести о Кат. Ив., более подробные, т. к. Тата у нее была. И о Кате с мужем, — все вести полупечальные-полупротивные. Когда приедете — покажу вам открытку.

Я поправилась, ничего, несмотря на неровную погоду. Но в даче у нас тепло, а вот Бунины несчастные. Заливаются, даже Рошин⁴¹ стонет.

Именины мои, верно, 11/24-го, Дм. С-ча — завтра (Дм. Салунского, 26 Окт./8 Ноябр.) а рождение его 15-го, только Августа, по старому 2-го. Все это — не так важно, однако вообще для чисел подарю вам непременно календарь отрывной.

Целую обеих вас крепко-крепко и продолжаю ждать свиданья. Обидно, ведь, будет, если мы так и в Париж уедем!

Ваша Зина

Мои сестры еще пишут, что к митр. Сергию они попрежнему, что большевики его давят под башмаком, а он покоряется всему, — «тошнит смотреть на него». Здесь, однако, Евлогий, точно ударенный, свое зудит и к Сергию простирается.

23 Июля

Дорогой, любимый друг Катя, сегодня совершенно случайно на улице встретила Мар. Сер. В. которую давно не видала, пожалуй что несколько лет.

Сейчас же заговорили о кончине М. Ю. Начало болезни было положено давно, во время пожара в [неразб.], где был санаторий. Ему пришлось спуститься со второго или третьего этажа по трубе (лестница уже горела) и этим же путем уговаривать спускаться больных. Все были спасены, а в это время наверху горело имущество и среди него многолетний труд по психиатрии «Душа русского народа», почти законченный. Сгорели также и ценная библиотека, источники для работы. М. С. думает, что ее не удалось восстановить.

М. Ю. надорвался, помогая спускаться спасаемым, принимая их тяжесть на себя. У него сделалась болезнь мочевого пузыря, которая заставляла его страдать до конца дней. Ему сделали операцию, но облегчение было кратковременное. Сознание потерял только в последние минуты. Все дети и жена были при нем. Очень страдал. Последние годы стал бывать в церкви. Очень полюбил церковное пение.

М. С. с восхищением говорила о жене и всей семье. Одна дочь уже замужем и сын женатый, младшему сыну 18 лет. Все любили отца и обожают мать. На пожаре сгорело почти все иму-

шество. Жить было трудно. Последнее время принимал больных в страхкассе. Очень был любим рабочими. Один из них навзрыд плакал у гроба. Была кремация, впечатление было тяжелое, похороны гражданские, но после них близкие сошлись в церкви для заочного отпевания и это было хорошо.

Ну вот, кажется ничего не забыла. М. С. проводила меня до дому и зашла отдохнуть. Она постарела, существует уроками англ. яз., расспрашивала о вас. Мы с нею простились и может больше не увидимся. Вчера нам объявили, что нас переводят в Ленинград, тоже в дом ученых, а наш милый дом ликвидируется. В нем будет гостиница для приезжающих молодых ученых. На сбор дают две недели. Ума не приложу, как я справлюсь. Много вещей, и все нужно, и некуда ничего поставить, везде теснота. Обнимаю вас, дорогая. Все эти дни молюсь за М. Ю. Были у ваших. Они здоровы. Ал. Мих. мрачен. Оба Володи наняли дачу в Сокольниках.

Влад. Мих. был на кремации.

[Татьяна Гиппиус]

Le Cannet

29 Окт. 28

Спасибо за память, Катенька и Ольга Львовна, милые мои, дорогие. Давно уж мечтаю повидаться с вами, жажду рассказать вам много-много, и столько мы встретили абсолютно не похожего на наши ожидания.

Но еще в Загребе,⁴² на возвратном пути, мы заболели; так, больные, ехали, и я, даже по сию пору, не могу поправиться никак: инфлуэнца не проходит. А то бы я к вам приехала. Катенька, побывайте у нас, если можете; очень будем вам рады обоим, а если можно Катю бы на ночь конфисковать, то чего лучше!

Хоть и больна я, а что ездили — не раскаиваюсь. Тут никто ничего правды о Сербии и о положении там русских не знает. А это полродины.

Обнимаю крепко

Зина

Мои сестры пишут, что Нат. Ив. (Сенина) стала старая, капризная, и очень хороша с сов. властью. А что «Катя с ней намучилась».

19-8-20

Villa Tranquille, Le Cannet
А.М.

Катенька милая, как грустно, что мы близко живем, и все не видимся. Но мы совсем никуда из Канн не ездим, я до сих пор себя не чувствую вполне здоровой. А последние дни и совсем не важно, очень уже беда эта меня подкосила. Мы с Асей только на Божью помощь и можем надеяться. Мы получили известие, что сестра моя Тата сослана на 3 года в Соловки. И 7 Авг. туда отправлена. Приняла она это с громадной силой духа, она изумительной религиозной крепости человек. Оставшаяся сестра (они всю жизнь не расставались) пишет (иносказательно, но ясно), что в тюрьме, за 4 месяца «все Т. очень жалеют, полюбили, потому что она всех мирила и воспитывала». А теперь она в Солов. монастыре с соловецкими узниками.

Ася бедная очень страдает, но молитва дает ей бодрость духа. Она придет 1 Сентября к нам сначала, а потом хотела бы к вам, в Клозон; примите ее, если можно, вы, Катенька, помолитесь с ней за всех нас.

Милую Ольгу Львовну обнимаю, вас крепко-крепко тоже.

Ваша Зина

P.S. Ко всему этому у нас в доме полная анархия, и я не знаю, как мне — уж не себя — а Дм. С-ча покормить. Наша Мари венчается, и уезжает, Madeleine в Италии, и у нас только подозрительная 14 летняя девочка, которая даже подогреть супа не умеет. От Володи не жди помощи. А у меня ни один нерв не на месте.

Понедельник

18/5 Ноября 29

Катенька, друг милый! Рада была весточку от вас получить; так вы меня порадовали тогда вашим приездом! Ах, еслиб до нашего отъезда вы еще раз сумели выбраться к нам! Столько надо бы вам сказать еще. Мне вечером тогда только жалко было вас лишиться сна, а то бы я вас так скоро не отпустила!

Что до вашего романа — я его все поджидала, но не дождалась. Не думайте, я бы с любовью его просмотрела и во всем бы разобралась. Отчего вы не дали его переписать Грассу? У maître'a две дактило к его услугам, наверно одна из них вам бы

помогла! А что касается Маковского,⁴³ то вы знаете его, пишешь ему — пишешь, он и ухом не ведет, так «занят!» Я это время не меньше его была занята; до мигрени, по ночам даже, писала одну статью для брошюры (и без гонорара!) почти с ума сошла, пока кончила! А все-таки, посреди этого, написала ему дважды о вашей книге. Но определенного ответа до сих пор не имею. Поверьте, не поленюсь, еще раз напишу!

Но и вы, дорогая, не поленитесь мне ответить тотчас же на один д е л о в о й вопрос, касающийся вас обеих и Клозона. Меня сегодня спросили, не дадите ли вы приюта двум девочкам, и на каких условиях. Это — один Канский мастер по мозаике. Его покинула жена, никакой женщины он в дом брать не хочет, а девочки одна совсем маленькая, лет 5, кажется, а т. к. он целый день работает, то не знает, как ее воспитать. Другой девочке уж 15 лет, он хочет, чтобы она работала, но отнюдь не хочет отдать ее в какое-нибудь не верное место, где «по теперешним временам» она «развоспитается», т. е. вместо работы и приученья ко всему, ее будут «laisser sortir», и т. д. Кто-то говорил ему, что в Клозоне строгая и «ф а м и л ь н а я» обстановка. И вот он спрашивает, не согласитесь ли вы этих девочек взять, сколько это будет стоить (платить он будет аккуратно, сомневаюсь только, чтоб по 600 фр. в месяц! Не хватит этого у мастера-то мозаичного!) и какое детям нужно «приданое», нужно ли la literie и т. д. Т. к. это надолго, то я и подумала, — может эти девочки (притом не больные) вам и сгодятся, — старшая-то наверно может быть вам даже помощью. Во всяком случае ответьте мне что-нибудь к п я т н и ц е, когда я обещала дать ваш отклик. Пришлите проспект и, в письме, тот minimum, который возможен при всех данных условиях. Есть всякие asil'и и colledg'и, но отец их не хочет, ибо, говорит, там и хорошие дети портятся, и ничего они не «воспитывают», и к работе не приучают. У него есть еще мальчик, но этого он к своей работе (мозаике) уже приучает.

Больше я ничего не знаю и жду вашей или О. Л. строчки к пятнице (и проспекта общего).

Милая моя Катенька, не верю я, что вы не приедете еще. Приезжайте хоть на Архистратига Михаила и всего небесного воинства! Вот порадуете!! Тогда и ответ бы кстати привезли. И книжку я бы вам дала. (Грязно она напечатана! Да ничего.)

Обнимаю вас и милую Ольгу Львовну. Христос с вами.

Зина

18-4-30

Paris

Христос Воскрес,

дорогие сестры, милая Ольга Львовна и неоцененная Катенька. Все мы поздравляем вас с Великим Праздником, целуем и желаем всего, чего и себе.

Катя, скоро напишу вам письмо; я была 3 недели больна, теперь ничего. Итак — до письма, а это лишь объятия.

Зина

24.4.30

V. Tr.

Милая Катенька, мы уезжаем с некоторой внезапностью, ибо дачу сдали и новые жильцы требуют вселяться. Отчасти это хорошо, что дача непростоит, а с другой стороны — очень не хочется и грустно уезжать, особенно в такой спешке.

И, значит, мерку для престола вам надо уж прислать мне на Париж, — не замедлите, дорогая! Буду ждать.

На другой день после вашего отъезда получила еще письмо от Илюши, довольно обиженное, что я, мол, не понимаю «коллектива», и что если, мол, Руднев⁴⁴ или Вишняк накладывают veto, так он должен подчиняться, а на другие статьи он накладывает... Словом, чепуха, и я с ним там поговорю. Напишу вам, что он еще будет объяснять.

А теперь быстро кончаю, у меня уж голова кругом пошла от спешки. Целую вас без конца. Целую Ольгу Львовну — так я ее и не видала нынче!

Утешение, что погода испортилась эгоистическое мое утешение — какой нервирующий ветер! А что-то в России?

Христос с вами, родная.

Зина

(продолжение следует)

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Татьяна Ивановна Манухина (1885-1962, урожд. Крундышева, литературный псевдоним Ф. Тамарин), близкий друг Зинаиды Гиппиус и автор романа *Отечество* (Париж, 1933). См. о ней Temira Pachmuss, *Intellect and Ideas in Action: Selected Correspondence of Zinaida Hippus* (München: Wilhelm Fink Verlag, 1972), 461-518; Temira Pachmuss, «A Literary Quarrel: Zinaida Hippus versus Tatjana Manuxina», *The Estonian Learned Society in America Yearbook IV: 1964-1967*, 63-83.
2. Ольга Львовна Еремеева, подруга Екатерины Николаевны Лопатиной.
- 2а. Лопатина писала статьи о Владимире Соловьеве (под псевдонимом К. Ельцова), которого она лично знала в юности. См. К. Ельцова, «Сны нездешние: к 25-летию кончины Владимира Соловьева», *Современные записки*, № 26 (1928), 225-275.
3. Иван Алексеевич Бунин (1870-1953), поэт и писатель. Первый Нобелевский лауреат в истории русской литературы (1931).
4. Edouard Herriot (1872-1957), французский политический деятель, радикал-социалист, мэр города Лион, автор *La Russie nouvelle* (Paris, 1922), *Dans la Forêt Normande* (1925) и *La vie de Beethoven* (1929).
5. Анна Николаевна Гиппиус (1872-1942; литературный псевдоним Анна Гиз), сестра Зинаиды Гиппиус, автор книги *Святой Тихон Задонский* (Париж, 1927) и дневника «Обитель Соловецкая», *Возрождение*, № 83 (1958), 13-27. См. о ней в *Intellect and Ideas in Action*, *op. cit.*, 518-530.
6. Прислуга Мережковских.
7. Работа Лопатиной о Владимире Соловьеве.
8. Поликсена Сергеевна Соловьева (1867-1924; литературный псевдоним Аллегро), сестра Владимира Соловьева, близкий и многолетний друг Зинаиды Гиппиус, автор сборников стихотворений *Стихотворения* (Скт. Петербург, 1899), *Елка* (Скт. Петербург, 1907), *Плакун-трава*: стихи (Скт. Петербург, 1909) и т. д. См. о ней Temira Pachmuss, *Women Writers in Russian Modernism: An Anthology* (Urbana: University of Illinois Press, 1978), 175-190.
9. Павел Николаевич Милюков (1859-1943), лидер кадетской партии, историк, автор множества трудов по русской истории, ред. газеты *Последние новости* (Париж, 1920-1940). Между Милюковым и Зинаидой Гиппиус отношения были очень натянутыми. См. *Intellect and Ideas in Action*, *op. cit.*, 168-180.
10. Татьяна Ивановна и Иван Иванович Манухин, муж Татьяны Ивановны, врач, автор ряда статей в *Новом журнале*, например, № 54 (1958), № 73 (1963), № 86 (1967).
11. Роман *Отечество* (1933) Т. Таманина.
12. Иван Алексеевич Бунин, к которому Гиппиус очень хорошо относилась, называя себя шутливо его «верной подружкой».

13. Ste Thérèse (de Lisieux) de l'Enfant-Jesus, которую Гиппиус очень любила и посвятила ей цикл прекрасных стихов. См. Temira Pachmuss, Z. N. Hippus: *Collected Poetical Works*, Vol. I: 1899-1918' Vol. II: 1918-1945 (München: Wilhelm Fink Verlag, 1972).
14. Амалия Осиповна Бунакова-Фондаминская, жена Ильи Исидоровича Бунакова-Фондаминского; долголетний друг Зинаиды Гиппиус. См. З. Гиппиус «Единственная» в сборнике статей Памяти Амалии Осиповны Фондаминской (Париж, 1937), 47-49.
15. Евлогий (Георгиевский) митрополит Западно-Европейских русских церквей (1868-1946).
16. Философ Иван Алексеевич Ильин (1883-1954), автор трудов *О сопротивлении злу силою* (Берлин, 1925), *Религиозный смысл философии* (Берлин, 1925) и др. Член Религиозно-философской академии в Берлине (основанной в 1927 г.).
17. Владимир Ананьевич Злобин (1894-1965), поэт и секретарь Мережковских с 1916 г. См. о нем *Intellect and Ideas in Action*, 182-331.
18. Зинаида Гиппиус помогала своим двум сестрам, которые не успели выехать из России: Татьяне Николаевне Гиппиус (1877-1945 ?), художнице, другу Александра Блока и Поликсены Соловьевой, нередко иллюстрировавшей их сборники стихов; Наталье Николаевне Гиппиус (1880-1945 ?), скульптору в Скт. Петербурге. Обе сестры принимали активное участие в «Главном» Гиппиус. См. об этом в книгах Temira Pachmuss, *Hippus: An Intellectual Profile* (Carbondale: Southern Illinois University, 1971), 103-165 и *Between Paris and St. Petersburg: Selected Diaries of Zinaida Hippus* (Urbana: University of Illinois Press, 1975), 101-178.
19. Мария Самойловна и Михаил Осипович Цетлины. М. О. Цетлин (1882-1945; литературный псевдоним Амари). Ред. *Современных записок* (1920-1940) и альманаха *Окно* (Париж, 1923). Автор романов и сборников стихов. Основатель *Нового журнала* в Нью-Йорке.
20. Ольга Львовна Еремеева.
21. Марк Вениаминович Вишняк (1883-1971; литературный псевдоним Вен. Марков), ред. *Современных записок*, автор книг политического содержания и воспоминаний. Автор статьи «З. Н. Гиппиус в письмах», *Новый журнал*, № 37 (1954), 181-210. С 1945 г. консультант по русским делам в журнале *Time* (Нью-Йорк).
22. Илья Исидорович Бунаков-Фондаминский (1880-1944), ред. *Современных записок*, близкий, многолетний друг Мережковских, участник их «Главного». См. некролог Г. Федотова «И. И. Бунаков-Фондаминский», *Новый журнал*, № 13 (1948), 317-329.
23. Профессор Евгений Иванович Ляцкий (1868-1942), автор ряда трудов по истории русской литературы: *Очерки русской литературы* (Прага, 1922 ?), *Гончаров: жизнь, личность, творчество* (Стокгольм, 1920), *Слово о полку Игореве* (Прага, 1934) и др.
24. *Возрождение*, ежедневная газета в Париже (1925-1936) с 1925 по 1927 под редакцией П. Б. Струве. На приглашение П. Струве участвовать в газете Д. С. Мережковский ответил отказом; затем еженедельная газета (1936-1940); возобновлена в 1949 в виде двухмесячника; в годы 1955-1969 — ежемесячный журнал. 1949 редактор И. Тхоржевский; 1949-1954 — С. Мельгунов; 1954-1960 — ред. коллегия; 1960-1969 — С. С. Оболенский и Я. Н. Горбов.
25. Газета Милюкова *Последние новости*.

26. З. Н. Гиппиус часто жаловалась своей близкой подруге, шведской художнице Грете Герелль, что В. А. Злобин много глал. См. *Intellect and Ideas in Action*, 531-641.
27. К. Ельцова (Е. М. Лопатина).
28. М. С. и М. О. Цетлины.
29. Еженедельный литературный журнал *Звено* (1923-1927), редактор М. Винавер и П. Милоков. Ежемесячный журнал (1927-1928), ред. М. Кантор.
30. Митрополит Западно-Европейский Евлогий (1868-1945). См. *Путь моей жизни; воспоминания Митрополита Евлогия, изложенные по его рассказам Т. Манухиной* (Париж, 1947).
31. Антоний (Храповицкий), Митрополит (1863-1936), в эмиграции возглавлял Зарубежный Синод. Автор книг о Достоевском и Пушкине, *Пушкин, как нравственная личность и православный христианин* (Белград, 1929) и *Ф. М. Достоевский как проповедник возрождения* (Монреаль, 1965 — переизд.).
- 31а Анастасий (Грибановский) (1873-1965), Митрополит, преемник Митр. Антония, автор книг о Пушкине: *Пушкин и его отношение к религии и православной церкви* (Новый сад, 1939), *Нравственный облик Пушкина* (Jordanville, USA, 1956) и др.
32. Сергиевская духовная академия в Париже.
33. Вениамин, епископ Севастопольский (Федченко) (1882-1962), инспектор Сергиевской духовной академии в Париже до 1931 г. См. о нем книгу Н. М. Зернова, *На переломе — три поколения одной московской семьи (1812-1921)* (Париж, 1970), 456-458. В 1945 вернулся в Советский Союз.
34. Газета *Дни* (Париж, 1928-1933). Ред. А. Ф. Керенский.
35. Федотов, Георгий Петрович (1886-1951; литературный псевдоним Богданов, Е., и Ф-в, Г.). Ред. журнала *Новый град* (Париж, 1931-1940), автор ряда книг и многочисленных статей. Гиппиус называла его (Федотова) «подкольным ягненком».
36. *Новый корабль* (Париж, 1927-1928), литературно-художественный журнал. Ред. В. Злобин и Л. Энгельгардт.
37. Генерал Лавр Георгиевич Корнилов (1870-1918). Известен как инициатор «Корниловского восстания» против Временного правительства Керенского. После отречения от престола Николая II Корнилов произвел арест Императрицы Александры Федоровны и Императорских Детей в Царском Селе. См. *Письма Царской Семьи из заточения*, ред. Е. Е. Алферов (Джорданвилл, США: Свято-Троицкий Монастырь, 1974), стр. 36.
38. *Современные записки* (Париж, 1920-1940), ежемесячный литературный и общественно-политический журнал. Ред. коллегия Н. Авксентьев, И. Бунаков, М. Вишняк, А. Гукровский и В. Руднев.
39. Первый конгресс писателей и журналистов в эмиграции (Белград, 1928), организованный королем Александром, в котором приняли участие Мережковские, Куприн и другие русские писатели. Король вручил Орден Св. Савы первой степени нескольким русским писателям, в том числе Д. С. Мережковскому и З. Н. Гиппиус, за их вклад в сокровищницу русской литературы. После Конгресса Мережковские были приглашены в Загреб читать свои стихи и лекции по русской литературе. Профессор К. Ф. Тарановский (Гарвардский у-т) хорошо помнит эти вы-

ступления Мережковского и Гиппиус. См. *Zinaida Hippus: An Intellectual Profile*, *op. cit.*, 246-248.

40. Нина Николаевна Берберова (род. 1901 г.), поэт, писатель и литературный критик. См. ее автобиографию *Курсив мой* (München: Wilhelm Fink Verlag, 1972).
 41. Николай Яковлевич Федоров (1896-1956; литературный псевдоним Рощин, Николай). Писатель и близкий друг Буниных. Автор нескольких книг, например, *Белая сирень* (Париж, 1936), *Горнее солнце* (Париж, 1929), *Журавли* (Белград, 1930) и др. Сотрудник журнала *Иллюстрированная Россия* (Париж, 1924-1939). Вернулся в Советский Союз в 1946 г., где начал печататься в различных советских журналах и в *Журнале Московской патриархии*.
 42. См. о поездке в Югославию на Конгресс писателей в *Zinaida Hippus: An Intellectual Profile*, *op. cit.*, 246-248.
 43. Сергей Константинович Маковский (1877-1962), издатель «Аполлона», автор сборников стихов: *Вечер: вторая книга стихов 1913-1914* (Париж, 1924-1939), *Somnium breve* (Париж, 1946), *Год в усадьбе: сонеты* (Париж, 1949) и др. Большой друг Мережковских, которого они очень ценили.
 44. Вадим Васильевич Руднев (1874-1940), редактор *Современных Записок*, Городской голова Москвы с февраля по сентябрь 1917 г.
-

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА ЗЕРНОВА

1898-1980

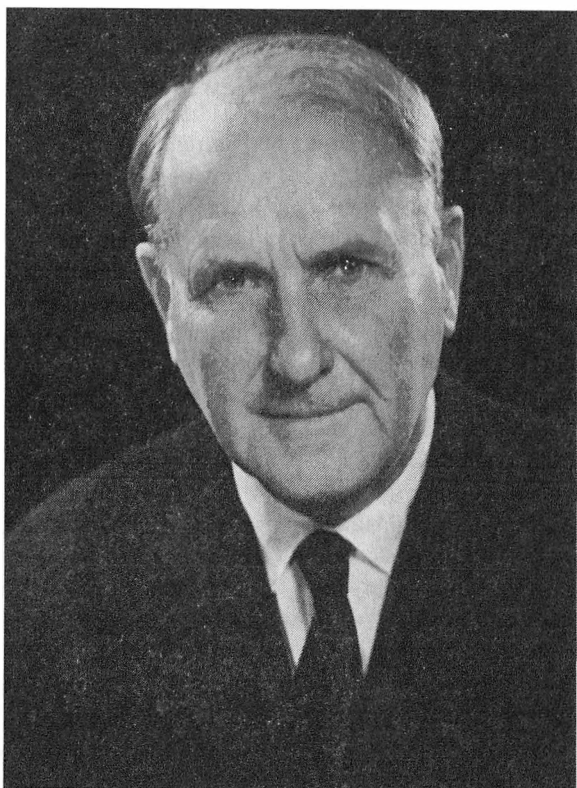
25 августа, на восемьдесят втором году жизни, скончался в Оксфорде Николай Михайлович Зернов — один из основателей Русского Студенческого Христианского Движения, богослов, историк Русской Церкви, деятельный участник экуменического движения, профессор истории Восточного Православия в Оксфордском Университете, автор многочисленных книг и бесчисленных статей.

Уже одно это перечисление показывает многогранность деятельности Н. М., богатство его даров, наполненность его жизни, широту его интересов. Каждое из этих его служений заслуживает особого разбора и оценки. Но и разбор и оценка останутся все же неполными, особенно для тех, кто не знал Н. М. лично, без свидетельства, прежде всего, о нем самом. Я убежден, что из всех даров, полученных нами от него, главным, лучшим даром был он сам, его живой, неповторимый человеческий образ. Я знал много людей, расходившихся с ним во взглядах и убеждениях, несогласных с ним часто по очень важным вопросам. Но я не знал и не знаю ни одного человека, который, зная его лично, не любил бы его. Потому в этой краткой памятке мне и хочется ответить на — для меня — главный вопрос: что вызвало эту любовь, чем привлекал он к себе столько самых разнообразных людей, почему весть об его кончине вызывает у всех, знавших его, ощущение уже ничем незаполнимой, горестной пустоты?

Сначала, однако, несколько слов об его жизни. В замечательной семейной автобиографии, написанной несколько лет тому назад, Н. М. совместно с братом, сестрой и женой* подробно рассказывал об истоках, определивших всю его жизнь, — о деде священнике, об отце — московском враче, о детстве и юности, неотрываемых от духовного, культурного и бытового аромата предреволюционной Москвы. Это московские корни сделали Н. М. навсегда, неистребимо, русским, хотя большую часть своей длинной жизни прожил он на Западе, преимущественно в любимой, и ставшей

* Том I: *На Переломе (Три поколения одной Московской Семьи, Париж, YMCA-PRESS, 1970. Том II. За Рубежом (Белград, Париж, Оксфорд). Париж, YMCA-PRESS, 1973.*

ему родной, Англии. В «русскости» же этой органически сочетались две традиции. От своего «левитского», священнического корня унаследовал Н. М. также неистребимую, кровную церковность, опыт православия как самоочевидной и всеобъемлющей основы всей жизни. А от отца — живого воплощения добротворной и милосердной традиции русского врача — понимание жизни как служение. Этому двуетному наследию остался Н. М. верным до последнего дня своей жизни.



Николай Зернов

Очутившись совсем еще молодым за рубежом России, Н. М. поступил на богословский факультет Белградского университета. В отличие, однако, от многих своих сверстников, окончив его, он не принял священства. Словно уже тогда, неким внутренним чутьем, он знал, что ему, да и не только ему, но и всей семье его,

надлежало явить и осуществить образ именно мирянского служения Церкви, мирянства как не просто «светской» части Церкви, свободной от той всецелой самоотдачи себя церковному служению, что требуется от «духовенства», а, напротив, как призвания к трудному и высокому подвигу **воцерковления** всей жизни: просветления в ней светом Христовой истины. Действительно, не только к одному Н. М., но и ко всей семье Зерновых можно отнести слова, сказанных когда-то Ю. Ф. Самариным о Хомякове: «все мы бываем в Церкви, Хомяков в Церкви жил...». Вот так — Церковью и в Церкви — жила и эта удивительная семья, как бы естественно и самоочевидно претворяя свою церковность в служение людям, в дело помощи обездоленным, просвещение, христианского свидетельства... Русский Париж тридцатых годов — золотого века первой русской эмиграции — невозможно представить себе без Зерновых. Без престарелого отца — бессменного председателя Московского Землячества, этого средоточия эмигрантской благотворительности, без брата Н. М. — Владимира Михайловича — присяжного врача сотен обездоленных русских беженцев, без сестры Софьи Михайловны, неутомимой в заботах о русских детях (приют в Монжероне), безработным (Центр Помощи), молодежи (курсы по истории России, Русской Церкви, русской культуры). И, наконец без **Коли Зернова**...

Во всем своем объеме его служение развернулось в Англии, куда переехал он в 1932 г. для работы в содружестве св. Албания и преп. Сергия (общества, созданного для взаимного — на глубине — ознакомления православных и англикан) и где позднее, в 1947 г., стал он профессором Оксфордского Университета. Об этих годах поистине лихорадочной деятельности — церковной, научной, экуменической* — подробно и живо рассказано в упомянутой выше семейной автобиографии. Скажу только, что Н. М. никогда не стал всего лишь «кабинетным» ученым, не удовлетворился академическим покоем и комфортом Оксфорда. *Mutatis mutandis* и дух и метод его служение можно назвать «апостольским». По призванию, по дарам своим, по убеждению, был он и

* Вот главный перечень книг Н. М. на английском языке: *Moscow the Third Rome* (1937), *St. Sergius Builder of Russia* (1939), *Three Russian Prophets (Khomiakov, Dostoevsky, Soloviev)* (1944), *The Russians and Their Church* (1945), *The Church of the Eastern Christians* (1942), *The Reintegration of the Church* (1952), *Eastern Christendom* (1961), *Orthodox Encounter* (1961), *The Russian Religious Renaissance of the 20 century* (1974) (есть и русский перевод). По-русски, кроме указанной автобиографии: *Вселенская Церковь и Русское православие* (1952).

до конца остался, проповедником, свидетелем, и, потому, как и апостолы, неутомимым п у т н и к о м. Он объездил весь мир, читал лекции, «свидетельствовал» — в Европе, Америке, Австралии, Индии. Неутолима была его жажда все новых и новых встреч — со странами, культурами, людьми. И, однако, проповедь и свидетельство его были всегда о том же, о тех трех, органически для него связанных, **реальностях**, которыми он не просто жил, а подлинно горел: о Православии, о христианском единстве, и о России: — об ее трагической судьбе и подлинном лике...

Такова внешняя канва его жизни. Жизни, которую в своем описании его последних дней и смерти, жена его, Милица Владимировна, назвала с ч а с т л и в о й. Назвала, думаю, мне, как бы произвольно, своей любовью к мужу услышав это верное, по отношению к нему, слово. Ибо, действительно, самым привлекательным, самым покоряющим в Н. М. было, по моему, именно это, неизменно изливавшееся из него, счастье. Счастье не внешнее — бытовое и самодовольное — от успешности и, в целом, благополучной жизни. А то — **детское** — счастье, которое огромное большинство людей так рано растрачивают и теряют. Счастье, прежде всего, от детской, никогда не дрогнувшей, никогда не поколебавшейся **веры**, от знания, что этой, самой главной и глубокой, радости никто не в силах отнять. И потому счастье от опять-таки детского — восхищенного и радостного — восприятие природы, «заморских стран», людей — всего того в мире, что так щедро вводил, ниспосылал в его жизнь Бог.

Я убежден, что именно это счастье, укорененное в религиозном опыте Н. М. и этим опытом светившемся, и было главным, что привлекало к нему людей. Оно было источником, в нем самом, его удивительного интереса к людям, к **каждому** человеку, встреченному на жизненном пути. Я говорю удивительного, потому что не было в этом интересе того, что так часто определяет отношение «учителей» и «профессоров» к людям: интереса к ним в ту меру, в какую люди эти **их** единомышленники и последователи. И потому и те, кто войдя в жизнь Н. М., не становились его единомышленниками, оставались навсегда его друзьями, «ближними» в полном, евангельском смысле этого слова, и общение с ним не переставало быть для них радостью, приобщением к той жизни, что так явственно и до самого конца **жительствовала** в нем.

Эта же «детскость» Н. М. была источником той **доброты** его,

что сказывалась больше всего, в отсутствии в нем обидчивости, злопамятства, обличительства, какой бы то ни было «партийности». В те годы среди православных шли горячие споры об «экуменизме», о целях и методах его, о степени «дозволенного» и «недозволенного» в отношениях православных с инославными. В этих спорах Н. М. занимал одну из крайних по своей широте позиций и потому сам был постоянным объектом всяческих обличений и часто очень резкой критики. Но я не знаю и не помню ни одного случая когда бы он обиделся лично, на резкость ответил бы резкостью, употребил бы тот злобно-обличительный тон, который в наше несчастное время церковных разделений кажется иным условием «истинного православия». Он не любил полемики, словно против самого естества его был всякий только отрицательный, только полемический подход, «суд и расправа», и влекло его к себе только положительное, то, о чем можно радоваться и благодарить Бога. И было это не от релятивизма и равнодушия к истине, как инсинуировали тогда иные из его противников. Напротив, при всей своей широте и мягкости, был Н. М. человеком **мужественным**, не боявшимся идти «против течения», иногда даже своего «течения», когда этого требовала его совесть...

И если я продолжаю считать некоторые из его «экуменических» идей ошибочными (например — об «общении в таинствах» с инославными), то хочу засвидетельствовать и вот о чем: он был одним из тех, очень немногих, православных участников экуменического движения, для которых разделение между христианами были постоянной **л и ч н о й** болью и страданием. Для многих других, думаю — для большинства — «экуменизм» был своего рода академической проблемой, учеными спорами ученых. Для Н. М. он был жизненной драмой; отсюда — его нетерпение, горячность...

Что-то в его трудах, в его идеях отсеется. Но навсегда останется образ его как носителя и проповедника православия светлого, радостного, любовного, может быть, нужно добавить: православия **русского**, православия не только «обличающего», но и **милующего**... В одном из рассказов Чехова старенький, опустившийся, запрещенный священник говорит самодовольному и горделивому «обличителю»: «...наказующие всегда найдутся, ты бы милующих поискал...». Вот таким милующим был и Н. М., таким останется и в нашей благодарной памяти и верю, в памяти России.

1. ВЕСТНИК ЧИТАЮТ В РОССИИ...

Держал в руках № 130. В целом он представляется очень удачным: высокий уровень статей и публикаций, и, что особенно отраднo, более или менее равномерное их распределение по всем разделам. Откровенных неудач, к счастью, нет (или почти нет), т. е. есть именно неудачи, а не вещи совершенно чуждые журналу (да и вообще христианству) по духу, в прежних выпусках такое бывало.

Наибольшая удача (и искренняя за это благодарность) — публикация дневников о. Сергия Булгакова, особенно после слов Розанова о нем: «не имеет беды в душе» (стр. 165).

Прекрасно «Таинство благодарения» о. А. Шмемана, «Евхаристия и соборность» о. Г. Флоровского, интересен «Узел II».

Очень порадовал Н. Шеметов («Пора надежд»): даже свойственные этому автору некоторая прямолинейность (иногда до упрощения) и императивность здесь отошли на задний план. Многие проблемы поставлены с остротой, которой очень недостает «Вестнику» в целом...

Свежо, искренне и беззлобно «Советский преподаватель и свобода совести» Т. Щипковой. К сожалению, остальное на эту тему разве только искреннее...

Чрезвычайно интересны, важны, необходимы для самого широкого знакомства с ними материалы Совета по делам религии... Но не «ограничения церковных кадров рамками закона» страшны, а то, что эти «кадры» слишком часто нуждаются в ограничениях и не способны ни на что кроме оформления псаломщика дворником. Эта трагедия, болезнь церкви замалчивается даже в своем кругу в попытках всю вину свалить на «злой безбожный Совет».

Здесь очень важен трезвый, направляющий голос самого журнала а слышно чаще всего «поддакивание» или «отнекивание». Основной недостаток даже лучших номеров: по-прежнему — приглаженность, бесконфликтность, запрограммированность выводов, одноплановость. О. Г. Флоровский призывает к «неопатристическому синтезу», ЖМП с восторгом подхватывает, «Вестник» молчит. Публикуется статья «Ушинский о воспитании»: на первом плане тривиальнейшая мысль «детей нужно воспитывать в вере», но что система Ушинского в сов. условиях конкретно неприме-

нима (и что применимо) ни слова. Зато по поводу нападок на Солженицына представителей «3-ей эмиграции» почти 20 страниц!

Не очень естественно выглядит опубликование только хвалебных писем из России в адрес журнала, причем выражения благодарности почти типа «без вас мы бы...» Кстати, призыв (на последних страницах) присылать книги — прекрасен, но проблемы «духовного голода» и «книжного голода» в последнее время все более расходятся, начинается какой-то новый этап. И эту проблему тоже стоит поднять по-новому.

Слабая статья о св. Филиппе Московском, тем более, что о нем очень много написано и самое основное всем известно. А вот о Л. Шестове — нет, и «Великий молчальник» В. Зелинского не удовлетворил, образ философа представляется подогнанным под идею автора статьи.

Во многих выпусках откровенно слабые стихи (на этот раз — Ю. Кублановского). Печатать непрофессиональных авторов нужно, но требования должны быть гораздо строже. И, к сожалению, самое неудачное в номере — статья «От редакции. К новому десятилетию». Опять насилие извне как основное препятствие; опять восторги по поводу Папы («соскальзывание в гуманизм» продолжается и при нем, а вот «папизм» он насаждает гораздо последовательней своих предшественников). Увеличение числа монахов на Афоне (во всяком случае, в русском монастыре) ни к какому возрождению не привело, кстати многие в свое время подавшие заявления, ехать отказались. Хорошо — о праздновании 1000-летия Руси без триумфализма, но полностью задачи на это 10-летие не раскрыты и не поставлены. Ждем изменений особенно в этой области.

(Москва)

2. ОТКЛИК ГОРЕЧИ

В одном из мимолетно побывавших у меня в руках номеров «Нового журнала» (129 или 130) С. А. Левицкий сообщал, что Р. Гальцева в своей статье «Бердяев», опубликованной в последнем издании БСЭ, назвала этого русского мыслителя «обскурантом». Прочитав это я крайне удивился. Вроде я знаком с тем, что пишет Гальцева, но именно ничего подобного (т. е. требуемых ругательных ярлыков) у нее, как мне помнится, никогда не встречал. Всё-таки, думаю, может быть чего-то не заметил, пропустил. Взял 3-й том БСЭ, читаю, однако никакого «обскуранта» не нахо-

жу. (Хотя на всякий случай хочу напомнить С. А. Левицкому и всем зарубежным читателям: у нас, по эту сторону занавеса, может случиться и такое, что автор сам впервые обнаружит в своей статье какого-нибудь «обскуранта» только после выхода её в свет.) Но в данном случае того, что цитирует Левицкий, нет, просто нет в статье.

Далее, пишет этот автор, (передаю общий смысл, увы, недоступного мне больше текста), вообще те новые тона, которые звучат в статье, нужно объяснить переменой, в 1956 году, официального советского курса в отношении русской религиозно-идеалистической философии, новым указанием сверху: не только, мол, ругать, но и знакомить с содержанием, излагать. Итак, услышали какую-то нестандартную тональность, встретились с самостоятельным философским анализом — ищите за этим соответствующее указание партии (как будто такое указание этой партии вообще мыслимо!) Имущему дастся, у неимущего отнимется. И так рассуждает не задавленный читатель России, а чтимый нами «философ свободы», знаток Бердяева и Шестова! Значит для нас Вы, Сергей Александрович, оставляете один детерминизм.

Нет, не зеленая улица инструкций открывается нам, не широкий простор партийных указаний, а узкая щель, которая вдруг появится в стене, чаще всего от битья об нее головой... Неужели там, за теплыми морями, на вольном воздухе, самая мысль о возможности личного усилия и самостояния полностью вывертывается!? (В то время, как здесь она изничтожается у широкой читательской массы на противоположных путях: безрадостного личного опыта жизни и статистического опыта чтения). Как странно, что ответственному и вдумчивому отношению к трудам соотечественников можно поучиться у некоторых иностранцев (напр., Helmut Dahm, Grundzüge russischen Denkens, München, Berchmans 1979), которым, казалось бы, должно быть гораздо меньше дела до российских реалий.

Была у нас надежда на молчаливое понимание... А между прочим, ответить в каком-либо закордонном издании для рядового подсоветского гражданина почти так же трудно, как и в «Лит. газете», — хотя, разумеется, и по другим причинам.

Простите за беспокойство.

С искренним уважением и восхищением

Ваш алчный читатель. К.Р. (Москва).

3. ВЕСТНИК ЧИТАЮТ НА ЗАПАДЕ

Получаемые номера «Вестника РХД» я, вот уже ряд лет, читаю всегда с большим интересом. Но некоторые из них мне кажутся заслуживающими особого интереса и особенно важными. К таким относится, безусловно, и последний номер — № 130. Самым интересным из напечатанного в нем кажется мне «Отчет совета по делам религии членам ЦК КПСС», освещающий весьма подробно положение Русской Православной Церкви, в особенности ее кадров, с точки зрения этого совета. Как раз этот отчет, предназначенный отнюдь не для широкой публики, а исключительно для «самых избранных», для вершины партийной иерархии, дает четкое понятие о том, как смотрит коммунистическая партия и управляемое ею государство, по поручению которых Совет по делам религии осуществляет свою деятельность, на Церковь, каковы их планы в дальнейшем и в каком положении находятся Церковь и ее иерархия на самом деле. Очень справедливую мысль высказала редакция журнала в своем кратком замечании, помещенном перед опубликованным отчетом: «Список епископов, разделенных согласно этому критерию (т. е. их активности или пассивности в деле сохранения веры и защиты интересов Церкви) многих удивит и заставит пересмотреть некоторые поспешные суждения и осуждения» (стр. 275).

Конечно, я сомневаюсь, чтобы те люди, которые подходят к этому вопросу с крайне предвзятым, уже заранее утвердившимся взглядом на этот вопрос и не желают ни за что от этого взгляда отступить, изменили бы этот взгляд и после прочтения отчета. Немало есть людей, считающих делом чести «рассудку вопреки, наперекор стихиям» утверждать то же самое, что они твердили и вчера, и позавчера, невзирая на противоречащие этому взгляду факты. Но из людей, стремящихся к объективности, к познанию подлинного положения вещей, найдется немало людей, которые вынуждены будут по прочтении этого отчета сильно изменить свои взгляды на положение Церкви в России.

Конечно, такие выводы следовало бы уже сделать значительно раньше. Отдельные моменты говорили в пользу этого: но, конечно, их нельзя сравнивать с тем богатым материалом, который предоставил для такой ревизии своих взглядов упоминаемый отчет. Я хочу сказать, что уже раньше можно было заметить, что, несмотря на всю свою лояльность по отношению к советской власти, несмотря на всю свою зависимость от нее, в вопросах

христианской веры или, выражаясь советским языком, «на идеологическом фронте», епископат Церкви Московского Патриархата не делает ей никаких уступок, хранит православные догматы в чистоте, что и подчеркивается в фуровском отчете, говорящем о неизменном пребывании Церкви на чуждых идеологических позициях (стр. 282). Можно было также уже раньше, имея правильную информацию, знать о том, что многие иерархи Церкви Московского Патриархата весьма активно, энергично и с большим усердием заботятся о сохранении церквей, о том, чтобы в ряды духовенства, особенно в ряды епископов, вошло возможно больше молодых, энергичных и искренне церковно настроенных людей; а также о том, чтобы активизировать верующих мирян. При этом они насколько возможно стремятся избегать всякого нарушения советского законодательства о религии, дабы не давать властям повода пресекать их такую деятельность на пользу Церкви. Все это, теперь официально подтвержденное Фуровым, и создало у него впечатление, что Церковь «живуча», что епископат отнюдь не дремлет, а делает все возможное для сохранения церквей. С уверенностью можно это утверждать теперь на основании отчета по крайней мере об иерархах, отнесенных им во 2-ю и 3-ю группу. Не исключено, конечно, что и в 1-й группе есть иерархи, не менее усердно, но более осторожно ведущие работу для сохранения Церкви. Из отчета видно, что Совет и первой группой не совсем доволен.

Фуровский отчет является как бы суммарным подтверждением — со многими дополнениями — того взгляда на Церковь в современной России, который по частицам, по крохам выработали различные исследователи современной Русской Церкви, т. е., конечно, те из них, которые действительно стремились к объективности, к изображению ее действительного положения.

В связи с этим, мне кажется, нужно было бы пересмотреть и взгляд на высказывания различных религиозных диссидентов как на почти единственный источник подлинной информации о положении религии в России. Признавая все их заслуги в деле собирания ценного материала о современной Русской Церкви, высоко ценя все проявленное ими мужество, все же нельзя не заметить у них нередко весьма пристрастного, слишком отрицательного отношения к тем или иным иерархам Русской Церкви или даже иногда — и это самое плохое — ко ВСЕМУ тамошнему епископату. Особенно прискорбно бывает читать те высказывания, в которых даже покойный патриарх Сергей оценивается яв-

но отрицательно. В связи с этим хочется вспомнить слова А. Э. Левитова-Краснова, также нередко резко критиковавшего патриархию, но в то же время проявившего полное понимание той роли, которую играл патр. Сергей в церковной жизни, и той ситуации, в которой он находился:

«Заслуги его, — пишет Левитин о патр. Сергии, — перед Церковью и народом поистине огромны. В тяжелую годину он сумел сберечь для народа Церковь. Что было бы с Церковью, если бы не было Сергия?» («Рук Твоих жар», Тель-Авив, 1979, стр. 78).

Из отчета следует также явно, что покойный митр. Никодим, которого было принято в иных публикациях изображать только в самых черных красках, в действительности очень старался принимать меры для оживления Церкви, для сохранения веры, даже для привлечения молодежи к Церкви. (стр. 283-284).

Конечно, для многих лиц, уже имевших сведения об усердной церковной деятельности митр. Никодима, это не было новостью. Но прочесть официальное подтверждение этого факта мы смогли только теперь, благодаря публикации этого отчета.

Самое важное для нас на Западе, для того, чтобы иметь возможность как-то помогать Церкви «там» и особенно, чтобы не повредить ей, это знание ее подлинного положения. Нужно иметь действительно верное представление об ней, об ее иерархии, о ее священнослужителях, о лицах, готовящихся к священству и т. п. Таковую возможность дает нам — конечно, совершенно вопреки намерению его составителя — этот отчет. Вряд ли человек, прочтя этот отчет, если он не крайне пристрастен, сможет продолжать считать иерархию патриаршей Церкви сборищем трусов и предателей, заботящихся только о своих интересах; а следовательно не сможет и считать возможным, как это иногда случается, что с нею нечего и считаться, что на нее не следует обращать внимания.

*
**

С большим интересом читал я также выдержки из дневника о. Сергия Булгакова, написанные им в 1923 г. в Константинополе. С интересом читал его переживания в период его временной, впоследствии полностью им преодоленной, склонности к католичеству. Интересы также его характеристики различных церковных деятелей. Но никак я не могу согласиться с оценкой личности

покойного о. Станислава Тышкевича. Я прожил с о. Станиславом под одной кровлей четыре года в Риме и знал его хорошо. Во многом я не разделял его взглядов. Но как раз в неискренности и в фальши его можно было меньше всего обвинить, скорее в слишком большой резкости суждений. Можно было сделать ему упрек, что он, хорошо знал православие теоретически, не умел находить общий язык с православными и имел с ними сравнительно мало контактов. Кроме того, он в начале знакомства производил довольно замкнутое впечатление, и лишь по прошествии известного времени становилось легко говорить с ним и общаться. Возможно, что все это вместе взятое и создало то невыгодное и неверное впечатление о нем у о. Сергия Булгакова, о котором он пишет в своем дневнике.

Архимандрит Хризостом.
(Нидеральтаих)

Русское Студенческое Христианское Движение за Рубежом имеет своей основной целью объединение верующей молодежи для служения Православной Церкви и привлечение к вере во Христа равнодушных к вере и неверующих. Оно стремится помочь своим членам выработать христианское мировоззрение и ставит своей задачей подготовить защитников Церкви и веры, способных вести борьбу с современным атеизмом и материализмом.

РСХД утверждает свою неразрывную связь с Россией. Наша принадлежность к русскому народу и к Русской Православной Церкви налагает на нас духовные обязательства, независимо от того, мыслим ли мы себя временными изгнанниками-эмигрантами или решили связать свою жизнь с другой страной. Подлинная русская культура неотделима от Православия: поэтому в хранении и продолжении ее мы видим наш долг. Мы видим наш долг также в свидетельстве перед миром о подлинном лике России, в напоминании о страданиях русского народа.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ

В 1980 году, из-за инфляции, нам удалось выпустить только две книги «Вестника». Чтобы возместить подписчикам убыток и наградить их за верность «Вестнику», мы предлагаем каждому из них выслать в подарок на выбор *одну* из книг по следующему списку:

-
- **ВЕСТНИК № 100** — юбилейный номер.
 - **ВСХСОН** — программа, суд, свидетельства.
 - **СОЦИАЛИЗМ КАК ЯВЛЕНИЕ МИРОВОЙ ИСТОРИИ** — И. Шафаревич.
 - **СЛУЧАЙ НА ДАЧЕ** — А. ГОРЛОВ.
 - **ПАМЯТИ АННЫ АХМАТОВОЙ** (стихи, письма, воспоминания).
 - **ЖИТЬ НЕ ПО ЛЖИ** — сборник документов вокруг высылки А. Солженицына.
 - **Н. В. ГОГОЛЬ** — В. Зеньковский.
 - **ИЗ-ПОД ГЛЫБ** — сборник статей А. Солженицына, И. Шафаревича, и др.
-

Сообщите нам, какую из них Вы хотели бы получить.

В 1981 году подписная плата повышается до 180 фр. в год (40 долларов), а цена отдельного номера до 60 фр.

Подписавшиеся по старой цене доплачивать не должны.

Чтобы «Вестник» продолжал существовать, нам необходимо иметь по крайней мере 1000 подписчиков.

- Подписывайте Ваших друзей и знакомых!
- Распространяйте «Вестник» среди изучающих русский язык!
- Не забудьте возобновить свою подписку!

СОДЕРЖАНИЕ

| | Стр. |
|--|------|
| От редакции. К столетию Блока — Никита Струве | 3 |
| БОГОСЛОВИЕ | |
| Св. Павлин Нольский — Жан Бесс (Париж) | 5 |
| Служба и акафист св. Павлину — † свящ. Г. Петров (СССР) | 7 |
| Таинство воспоминания — прот. А. Шмеман (США) | 24 |
| “Пути русского богословия” о. Г. Флоровского — Прот. И. Мейендорф (США) | 42 |
| ■ Христианство на Западе | |
| Смещение языков (продолжение) — А. Безансон (Париж) | 47 |
| ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ | |
| Стихи — Инна Лиснянская (Москва) | 66 |
| Из узла II, “Октябрь 16-го” — А. Солякеницын | 71 |
| ■ К столетию А. Блока | |
| <i>Coda</i> (последний год жизни Блока) — А. Пайман (Англия) | 115 |
| ■ Из литературного архива | |
| Воспоминания о Мандельштаме (публикация В. Швейцер) — Ида Ханцын | 140 |
| ■ В мире книг | |
| Крот истории — В.З. (СССР) | 145 |

СОДЕРЖАНИЕ

| | Стр. |
|---|------|
| СУДЬБЫ РОССИИ | |
| ■ У истоков духовного возрождения | |
| Епископ Павлин Крошечкин — аноним (СССР) | 157 |
| ■ Русская церковь сегодня | |
| Митрополит Пимен (ныне Патриарх) на допросах в Совете по делам религии | 197 |
| Впечатления очевидца — пером. Никон | 206 |
| Преследования верующих в СССР | 209 |
| Десять обращений — Самиздат | 212 |
| Что случилось с о. Димитрием Дудко — Никита Струве | 230 |
| ■ Вопросы общественности | |
| Иметь мужество видеть — А. Солженицын | 233 |
| О причинах русской революции: Интервью с Пьером Паскалем (по случаю его девяностолетия) — | 252 |
| Ответ Солженицыну — Б. Суварин | 264 |
| О фрагментах Б. Суварина — А. Солженицын | 266 |
| ■ История и проблемы русской эмиграции | |
| Письма З. Н. Гиппиус (публикация Т. Пахмус) | 268 |
| <i>In memoriam</i> : Н. Зернов (1898-1980) — прот. А. Шмеман | 306 |
| Письма в Редакцию | 311 |

SOMMAIRE

| | Pages |
|---|-------|
| A nos lecteurs : Pour le centenaire d'Alexandre Blok — Nikita Struve | 3 |
| SPIRITUALITE, THEOLOGIE | |
| Saint Paulin de Nole — Jean Besse | 5 |
| Office et acathiste à Saint Paulin de Nole — † P. Grégoire Pétrov (U.R.S.S.) | 7 |
| Le sacrement du Mémorial — P. Alexandre Schmemmann (U.S.A.) | 24 |
| Les voies de la théologie russe de G. Florovski — P. Jean Meyendorff (U.S.A.) | 42 |
| La confusion des langues (suite) — Alain Besançon (Paris) .. | 47 |
| LITTERATURE ET VIE | |
| Poèmes — Inna Lisnianskaïa (U.R.S.S.) | 66 |
| Nicolas II et l'Impératrice (extraits d'Octobre 16) — A. Soljénitsyne | 71 |
| Les dernières années de la vie d'Alexandre Blok — A. Pyman (Grande-Bretagne) | 115 |
| Souvenirs sur Mandelstam — Ida Khantsyn (U.R.S.S.) | 140 |
| La taupe de l'histoire — V. Z. (U.R.S.S.) | 145 |
| LES DESTINEES DE LA RUSSIE | |
| ■ Aux sources de la renaissance religieuse | |
| Evêque Paulin Krochetchkine, martyr — Anonyme (U.R.S.S.) .. | 157 |
| ■ L'Eglise russe aujourd'hui | |
| La « vraie » biographie du Patriarche Pimène (extrait du Rapport confidentiel du Conseil aux affaires religieuses) | 197 |
| Impressions sur l'Eglise en U.R.S.S. — P. Nikon (Paris) | 206 |
| « Dix conversions » — Recueil réuni par le Samizdat | 212 |
| Persécution des croyants en U.R.S.S. | 209 |
| Le cas du P. Dimitri Doudko — Nikita Struve | 230 |
| ■ Problèmes politiques et sociaux | |
| Le courage de voir — Alexandre Soljénitsyne | 233 |
| Les causes de la Révolution russe - Interview de Pierre Pascal à l'occasion de son 90^e anniversaire (Paris) | 252 |
| L'argent allemand et la Révolution — B. Souvarine et A. Soljénitsyne | 266 |
| ■ Histoire et problèmes de l'émigration russe | |
| Lettres de Zénaïde Hippis (présentées par Temira Pachmuss) | 268 |
| In memoriam: Nicolas Zernov — P.A. Schmemmann | 306 |
| Lettres à l'éditeur | 311 |



ИЗДАТЕЛЬСТВО

11, rue de la Montagne Ste Geneviève

НОВИНКА!

В. В. ЛЕОНТОВИЧ

ИСТОРИЯ ЛИБЕРАЛИЗМА В РОССИИ 1762 — 1914

Перевод с немецкого И. Иловайской

Предисловие А. Солженицына

Цена: 89 фр. или 20 долл.

«Читатель найдет здесь последовательное разворачивание ряда важнейших мыслей о сути либерализма, о шагах его в России и это открывает нашему взору существенные уточнения понятия либерализма ...

«... Этой книге присуще то изящество удавшихся произведений, когда помимо выяснения заданной темы автор попутно освещает другие вопросы, иногда и более важные. Так, в этой истории либерализма мы находим и глубокое высвещение некоторых ведущих причин, сделавших возможной революцию в России»

(Из предисловия А. Солженицына)

Книга выходит первым выпуском серии
«ИССЛЕДОВАНИЯ ПО НОВЕЙШЕЙ РУССКОЙ ИСТОРИИ»
под общей редакцией А. Солженицына.

«Наша страна в ее нынешнем духовном возрождении больно ощущает провал своей исторической памяти... Авторы серии... все объединены целью очистить русскую историю от наростов лжи, выяснить затоптанную истину о последних веках России».

(Из предисловия А. Солженицына)

Заказы направлять: LES EDITEURS RÉUNIS

Ymca - Press



75005 Paris, France - Tél. : 354-74-46

НОВИНКА!

Альбом составленный в Самиздате

Москва Златоглавая

730 старых и новых фотографий всех церквей Москвы

48 планов

Подробный объяснительный текст

Индекс на французском языке

Цена 150 фр. или 34 долл.

...«Не всегда легко узнать церковь в здании кинотеатра или магазина. Каждая церковь представлена, по крайней мере, двумя фотографиями: одна снята в конце 19 века, а другая, современная, показывает нынешнее состояние или, если церковь была разрушена, — то вид того места, где когда-то она возвышалась. Сами фотографии просты и безыскусны, а книга в целом напоминает милые альбомы «старого времени», где были любовно собраны семейные воспоминания. Эта книга, пришедшая из самиздата (где такие альбомы, по очевидным техническим причинам, очень редки), вносит свой вклад в борьбу русской интеллигенции за обретение своих корней, за восстановление связи времен.»

, rue de la Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris, France.

КОНТИНЕНТ

№ 25

Литературный,
общественно-
политический
и религиозный
журнал

Главный редактор : Владимир МАКСИМОВ

СОДЕРЖАНИЕ

Петр Равич — С похмелья, или Записки контрреволюционера (перевод с франц. Н. Кривошеина)

В. Голицын — Оттенки на холсте. Стихи

Н. Вильямс — Алкоголики с высшим образованием. Картины народной жизни

Зоя Афанасьева — Из книги "Метрополия". Стихи

Юз Алешковский — В крысином забое. Отрывок из романа "Кенгуру"

Стихи Э. Лимонова и Е. Шаповой

В. Некипелов — Хлеб и беженцы

Ир. Иловайская — Нетерпимость с обратным знаком

Атилла Ковари — Cui bono?

Ег. А. Гильбоа — Смысл свободы в современном мире

Лариса Богораз — Мамочки и малолетки

Кирилл Хенкин — Эмиграция или миграция

В. Тростников — Конец эпохи самоугождения

Ю. Мальцев — Промежуточная литература и критерий подлинности.

Ан. Якобсон — О стихотворении Бориса Пастернака "Рослый стрелок, осторожный охотник".

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Цена отдельного номера: 35 фр. фр.

С заказами обращаться в русский книжный магазин

LES EDITIONS REUNIS

11, rue de la Montagne Ste-Geneviève 75005 PARIS

"РУССКАЯ МЫСЛЬ" «LA PENSEE Russe»

РУССКАЯ МЫСЛЬ - самая большая русская еженедельная газета на Западе. Она выходит в Париже, каждый четверг на 16-ти страницах.

Главный Редактор: Ирина ИЛОВАЙСКАЯ

Адрес РЕДАКЦИИ и КОНТОРЫ:

«La Pensée Russe». 217, rue du Fg Saint-Honoré - 75008 Paris

Tél. 561-05-79, 563-21-83, 563-94-47

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: (во франц. франках)

| | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. |
|-----------------|--------|--------|---------|
| ФРАНЦИЯ | 45 | 85 | 150 |
| ЗАГРАНИЦА | 54 | 95 | 170 |

Почтовый счет: С.С.Р. 5883-44 К Paris

Цена отдельного номера 5 фр.

Новое Русское Слово

ЕДИНСТВЕННАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ РУССКАЯ ГАЗЕТА ЗА РУБЕЖОМ

66-й год издания. Выходит 6 раз в неделю в Нью-Йорке

Главный редактор: **АНДРЕЙ СЕДЫХ**

Свыше 200 сотрудников во всех странах мира. В Новом Русском Слове печатают свои произведения виднейшие эмигрантские писатели, поэты и публицисты.

Полная информация о жизни эмиграции.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: Воскресное и ежедневное издание:

один год — 70 амер. долларов

6 месяцев — 38 амер. доллара

Воскресное издание только:

один год — 30 амер. долларов

Подписку и объявления направлять по адресу:

NOVOE RUSSKOYE SLOVO

461 8th Avenue — New York, 1001, N.Y., USA.

или по адресу парижского представителя газеты,
с уплатой во франках:

Mr. Perepelovsky, 108, rue Michel Ange, 75016 Paris

БИ-БИ-СИ

ищет кандидатов на будущие вакансии в русской службе

От кандидатов требуется:

- безупречное владение русским языком;
- подходящие голосовые данные;
- хорошее знание английского;
- умение быстро, точно и гладко переводить с английского на русский, а после некоторой подготовки — писать радиозаметки и проводить интервью.

При отборе кандидатов принимается во внимание их опыт литературной или радиожурналистской работы, а также их знание русской и западной культуры.

Желающие получить более подробные сведения должны в ближайшие две недели обратиться с письмом на английском языке и со ссылкой на наш референтный номер 80X12 по адресу:

Recruitment Officer, BBC, P.O. Box 76, Bush House, Strand,
London WC2B 4PH, England.

К письму следует приложить конверт с обратным адресом для ответа.

† НАДЕЖДА ЯКОВЛЕВНА МАНДЕЛЬШТАМ

В ночь с 28 по 29 декабря 1980 г., в Москве, на 81 году жизни, тихо скончалась Надежда Яковлевна Мандельштам.

Вечная ей память!

В ближайшем номере «Вестника» будут помещены статьи и материалы, освещающие героический и творческий путь покойной. Надежда Яковлевна не только спасла от уничтожения поэтическое наследие Осипа Эмилевича, но и сама вошла в русскую литературу, оставив едва ли не лучшие воспоминания об эпохе.

ВЕСТНИК

Издание Русского Студенческого Христианского Движения

55-ый год издания

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЕСТНИКА

В Америке:

Mrs Ludmila Toman, 85, Tobey Road, Belmont, Mass. 02178, USA.

San Francisco:

Mrs Olga Raevsky-Hughes, P.O. Box 1207, Berkeley, Ca 94701, USA.

В Канаде:

« Parish News », 1175 Champlain St. Montreal P.Q. H2L 2R7,
Canada.

В Англии:

Aid to the Russian church (Miss Ellis) Schoolhouse, Heathfield Rd,
Keston, Kent.

В Израиле:

Michel Agoursky, ROB 7433, Jérusalem.

Directeur responsable : Nikita STRUVE.

Tous droits de traduction réservés.

